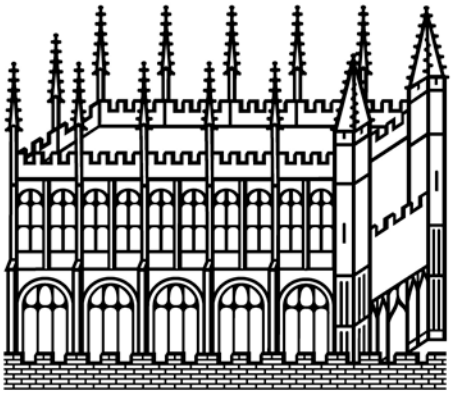


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

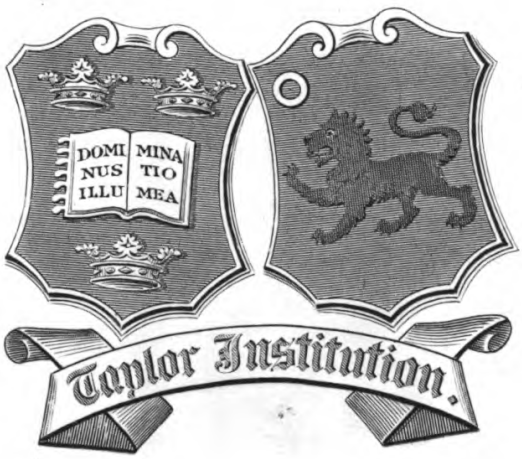
This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

300 JJ 12



PG3462.A1.1923 (12)
= Rep. Slav. 455

TAYLOR INSTITUTION
OXFORD
LIBRARY

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

«КНИГА» О-ВО С ОГР. ОТВ.
БЕРЛИН
1923

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПО РУСИ

VERLAG «KNIGA» G. m. b. H.
BERLIN
1923

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten.

Copyright by Kniga Verlag G. m. b. H. Berlin

Рождение человека.

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что наверное чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок,

полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе, точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необ'ятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все — несли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед красотою.

Ну, да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью, и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а — не удались людишки . . .

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново.

Над кустами, влево от меня качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечьи голоса — это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами, синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — об'елся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке

они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А — яй . . . экая землища . . .

— Прямо — прет из нее.

— Н-да-а . . . а, однако, — камень ведь . . .

— Неудобная земля, надобно сказать . . .

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокреньком — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов, и все памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке — уходила за барак и сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову в бок, пела, высоким и сердитым голосом:

За погостом . . .
во зелены-их куста-ах —
На песочку . . .
растелю я белый плат . . .
Не дождусь ли . . .
дружка милого мово . . .
Придет милый . . .
поклонюся яй ему . . .

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой-да, милый . . .
ой, миленок дорогой . . .
Не судьба мне . . .
боле видеться с табой . . .

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков . . .

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и не спеша двинулся во след ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа — качается густосинее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков — белая стружка шурша бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накренясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо — тише «чише» и «хыть», вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине — спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она извиваясь подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, — кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

. . . Тихий стон в кустах — человечий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиною о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно-страшно дышет, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые, волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней, — она

сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и болтая тяжелой головою хрипит:

— Уди-и . . . бесстыжий . . . ух-ходи . . .

Я понял в чем дело — это я уже видел однажды, — конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завыла, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно-надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник . . . дьявол . . .

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завыла судорожно, вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнув ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь . . .

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка — я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот . . .

Мы немножко ругали друг друга, — она сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней . . .

— Х-хосподи, — хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое на двое.

— Ух-ходи ты, бес . . .

Слабыми, вывихнутыми руками, она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди, знай, скорее . . .

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а . . . я-а . . .

Такой скользкий — того и гляди уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу — очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать . . .

— Режь . . . — тихо шепчет мать — глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком . . . перережь . . .

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается: я вижу как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ища карман и окровавленные, искусанные губы шелестят:

— Н-не . . . силушки . . . тесемочка кармани . . . перевязать пупочек . . .

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все ярче, так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его . . .

Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко . . . мотри-же . . .

Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним.

— Я-а . . . я-а . . .

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут . . .

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, все обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух . . .

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

— Дай . . . дай его . . .

— Подождет.

— Дай-ко . . .

И дрожащими неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплому ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

— Пресвятая, Пречистая, — вздрагивая вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка, подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка . . .

— Слава Те, Пречистая Матерь Божия . . . ох . . . слава Тебе . . .

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, паренек, котомку мою . . .

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто — чуть заметно — румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— Отойди-ка . . .

— Ты очень-то не возись . . .

— Ну, ну . . . отойди . . .

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо, поют какие-то славные птицы, и это — вместе с немолчным плеском моря — так хорошо, что можно-бы слушать год . . .

Где-то недалеко журчит ручей — точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем . . .

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

— Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно вылитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

— Гляди — как спит . . .

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев под кустом, — какие не ростут в орловской губернии.

— Ты-бы, мать, легла . . .

— Не-е, — сказала она, покачивая головою на развинченной шее, — мне прибираться надобно, да итти в энти самые . . .

— В Очемчиры?

— Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали . . .

— Да разве ты можешь итти?

— А Богородица-то? Пособит . . .

Ну, уж если она вместе с Борогодицей, — надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

— Сейчас я тебя, мать, чаем угощу . . .

— О? Напой-ка . . . ссохлось все в грудях-то у меня . . .

— Что-ж это земляки бросили тебя?

— Они не бросили — зачем? Я сама отстала, а они — вы-пимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

— Первый у тебя?

— Первенькой . . . А ты — кто?

— Вроде как-бы человек . . .

— Конешно, человек! Женатый?

— Не удостоился . . .

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

— А как-же ты бабьи дела знаешь?

Теперь — совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сын старшой студент, тоже на попа учится . . .

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой . . .

Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась — дышет-ли? — потом поглядела в сторону моря.

— Помыться-бы мне, а вода — незнакомая . . . Что это за вода? И солена, и горька . . .

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!

— Ой?

— Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь — как лед . . .

— Тебе — знать . . .

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец, маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом — фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

— Эки люди здесь несуразные, да страховидные, — тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина, беспокойно оглядываясь, ползет на коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарою . . .

— Ой, родимый! Как-же? В предбаннике надо-бы, под полом . . .

— Скоро ли здесь баню выстроют, подумай!

— Шутишь ты, а я — боюсь! Вдруг зверь с'ест . . . а ведь место надобно земле отдать . . .

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради, жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней . . .

Когда я воротился, то увидал, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

— Эка силища звериная!

Потом пили чай с медом и она тихонько спрашивала меня:

— Бросил ученье-то?

— Бросил.

— Пропился, что ли?

— Окончательно пропился, мать!

— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме приметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалося мне — видно, мол, пропоица, бесстрашный такой . . .

И вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она, оглядывая меня: — Помог ты мне — спасибо . . . а хорошо ли это для него и — не знаю уж . . .

Напилась чаю, поела, перекрестилась и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

— Неужто — идешь?

— Иду.

— Ой, мать, гляди!

— А — Богородица-то? . . Дай-ко мне его!

— Я его понесу . . .

Поспорили, она уступила и — пошли, плечо в плечо друг с другом.

— Кабы мне не трюхнуться, — сказала она, виновато усмехаясь и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды остановясь она сказала:

— Господи, Боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок — рос, да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя . . .

. . . . Море шумит, шумит . . .

Ледоход.

На реке против города семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году — юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден — да и то не каждый день — в небе, затканном тучами, являлось белое — по зимнему — солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница Страстной недели, а капѣль к ночи намерзала синими сосулями в поларшина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники — а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышет сырой, холодный ветер.

. . . . Староста Осип, чистенький и складный мужичек, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, — всегда и всюду заметный, староста Осип покрикивает:

— Шевелись поживей, курицыны дети!

И обращается ко мне, насмешливо внушая:

— Наблюдающий, — ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть — подобать тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот, для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дитё мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба, да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили . . . ты — командуй, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

— Не зевай! Лешие — надобно сегодня конец делу положить, али нет?

Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но — не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать все ладно и гладко, — Осип заводит журчащим голоском:

— А вот, братцы мои, был случай . . .

Две, три минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и чмокая от удовольствия нижет слово за словом...

— Поймал он этого линя, положил в пѐщер, идет лесом — думает: а и будет же уха у меня . . . Только вдруг — не знай откуда — кричит голос женской, тонкой: Елеся-я, Елеся-а . . .

Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец, — молодой парень с маленькими изумленными глазками, — опустил топор и стоит, открыв рот.

— А из пѐщера отвечают басищем, густо: Здеся-а! . . И в тую самую минуту в пѐщере — хло́бысь, линь оттедова — прыг и пошел, пошел назад, в омут свой . . .

Старик солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:

— Как это он, линь, пошел по суху, ежели он — рыба?

— А говорить рыбе назначено? — ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом — скулы

и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут — человек молчаливый и неприметный, не торопясь выпускает через нос три любимые свои слова:

— Это совсем верно . . .

Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, — он негромко — но непоколебимо уверенно отзывается:

— Это совсем верно . . .

И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком.

Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбье и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятою речью; он — божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и захлебываясь злой слюною кричит, на смех всем:

— Один — чего ни ври — принимают, а как я вам — правду — ржете, галманы, пострели вас в душу . . .

Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда — Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

— Будя, эй! Позвонили, отдохнули и — ладно!

— Сам завел, — хрипит солдат, поплевывая на ладони.

Осип пристает ко мне:

— Наблюдающий-й . . .

Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими росказнями, имея какую-то цель, но я не понимаю — хочет ли он болтовней прикрыть свою лень или дать людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно, — «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выкляньчить у него «на чаишко» для артели.

Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него не серьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос — что за человек Осип, сказал усмехаясь:

— Не знаю . . . пес его знает . . . так себе — ничего . . .

И подумав добавил:

— Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, —

так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «али — говорит — ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин — не родился, так говорит — ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке» . . . Вот это, поди-ка, верно про него . . .

И еще подумав, Мордвин беспокойно договорил:

— А так он ничего, добрый человек . . .

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком — записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, ни мало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лишний, неприятный. И — если кому нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду — они это делают очень умело.

Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, — Осип не торопясь подходит и спрашивает:

— Нарисовал? Ну-ко-сь, покажь . . .

Смотрит на запись прищуря глаза и говорит неопределенно:

— Мелко пишешь . . .

Он умеет писать только по печатному, пишет печатными буквами церковного устава — гражданская пропись непонятна ему.

— Это — корытцем то — какое слово?

— Добро.

— Добро-о! Ишь петля какая . . . А что написано строкой этой?

— Досок вершковых, девятиаршинных, пять.

— Шесть.

— Пять.

— Как же пять? Вот, солдат перерезал одну . . .

— Это он напрасно, надобности не было . . .

— Как же не было? Он половинку в кабак снес . . .

Спокойно глядя в лицо мне голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкою в них, он навивает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит:

— Рисуй шесть, право! Ты гляди, кукушкино яичко, —

мокро, холодно, работенка тяжелая — надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты — не строжись, Бога строгостью не подкупишь . . .

Говорит он долго, ласково, кудревато, слова сыплются на меня, точно опилки, я, как бы внутренно, слепну и молча показываю ему переправленную цифру.

— Ну, вот — это верно! И чифра — красивше, вон какой купчихой сидит, пузатенька, добренька . . .

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные серые мысли:

— Все это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропили доску?

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

— Слушай, — предупредил я Осипа, — я это запишу!

— Вали! — согласился он, играя седыми бровями. — Что, в самом деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминых детей . . .

И закричал ребятам:

— Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны! . .

Солдат угрюмо спросил:

— Почто?

— Проштрафились, стало быть, — спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю — так это будет хорошо.

— Уйду от подрядчика, — сказал я Осипу, — ну вас всех к чертям! С вами вором станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом, и сказал тихонько:

— Это — правильно!

— Что?

— Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяиново, как свою родную шкуру, мамино наследство . . . А ты для этого дела — молодпёс, ты не чувствуешь чего имущество требует. Если бы сказать

Василь Сергеичу как ты нам мирволишь — он бы те в тую самую одну минуту по шее, — вполне решительно! Потому ты для него — не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину — понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

— Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, крандаш, не такой совкий и спорный характер был — я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну, — характер у тебя для этого не подходящий, топорный характер, неотёс ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах — он на подобие галки, чье клюет — не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Все это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим — кукушкино яичко в не ее гнезде . . .

Снял шапку — он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное — поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

— Дела наши — воровские пред Господом и спасенья нам не буде от Него . . .

— Это совсем верно, — отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: — при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

— Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон — солдат гвозди жует, прорва . . .

А один на один со мною, он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно:

— Надо быть хорошим человеком, — сказал я однажды.

— А — конешно! — согласился он, но тотчас же усмехнувшись спрятал глаза, тихонько говоря:

— Однако — как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошесть, на праведность твою, ежели она — не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, побалуй людей, потешь . . . может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конечно — споров нету — очень приятное дело, будучи хорошим человеком на свою харю в зеркало глядеть . . . Ну, а людям — я вижу — все едино как: жулик ты, али святой — только до них будь сердечней, до них добрее будь . . . Вот оно, — что всем надо! . .

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

— Что такое человечья душа?

Мне кажется, что иные души построены как медные шары: — укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой — отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала, — это все равно, как будто нет их.

А в большинстве своем, человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал — они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять какова душа благообразного Осипа — неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей, точно тусклые звезды, плененные серењким небом, они — скучая — сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города; каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрей, сырые тени их становятся тяжелее и все потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города, точно груды грязного света, земля под ними черная, голая и деревья садов — как бугры земли, тусклый

блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется разымчивая грусть северной весны.

Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

— Она пришла к нему, но утром,
А он скончалси в тую ночь . . .

— Эй, ты, курвин сын! — кричит на него солдат. — Али забыл какой седни день?

Боев тоже сердится — грозит Дятлову кулаком и свистит:

— С-собачья душа!

— Народ у нас лесной, долголетний, жилистой, — говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос. — Выпусти конец бруса на вершок левей — так! . . А ежели просто сказать — дикой народ! Однова — едет алхирей, они — к нему, обкружили, пали на коленки, плачутся: заговори-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их — ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам! Очень разгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся . . .

Сажень на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнующий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую . . .

Кто-то орет простуженным голосом:

— Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат . . .

С берега откликаются:

— Где он?

— В кабаке, гляди-и . . .

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое как; всех тянет в город в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов,

такой же как брат белобрысый, точно в щелоке вареный, но — кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

— Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, по линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Потрескивает, — говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

— Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит! Работай знай, ведьмин сын! Наблюдающий — погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но — не угодили, вышло узко — полосы не входили в дерево.

— Мордва слепокурая, — кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке. — Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл:

— По-оше-ол . . . о-го-го-о!

И как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-подо льда и теперь метались взад-вперед, как галки, вспугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

— Собирай струмент! — крикнул Осип. — Живо, так вашу... на берег!

— Вот те и Светло Христово Воскресенье! — горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

— Беги, — крикнул Осип, толкнув меня, — чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, как-то сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними вьюгами — там уже валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип — шагал сзади, покрикивая:

— Не лай, Народец . . .

— Да ведь как же, дядя Осип . . .

— Также все, как было.

— Застряли мы тут суток на двое . . .

— И посидишь . . .

— А праздник?

— Без тебя отпразднуют в сем году . . .

Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:

— Струсили . . . три пятка сажен места до берегу, а вы — бежать, сломя голову . . .

— Ты первый побег, — сказал Мокей.

Но солдат продолжал:

— А чего испугались? Христос-Батюшко и то помер . . .

— Чать Он воскрес опосля того, — обиженно пробормотал Мордвин, а Боев заорал на него:

— Ты — молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес! Седни — Пятница, а не Воскресение!

В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над ними, Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

— Встала . . . Только это — ненадолго . . .

— Отрезало нас от праздника, — угрюмо проговорил Сашок.

Безбородое, безусое лицо Мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:

— Сиди тут . . . Ни хлеба, ни денег . . . У людей — радость, а мы . . . Жадностям служим; как собаки, все одно . . .

Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:

— Тут вовсе не жадности, а — надобности! Быки-ледорезы — для чего? Охранять ото льда баржи и все такое? Лед — глупый, он навалится на караван и — прощай имущество . . .

— А — наплевать . . . наше оно, что-ли?

— Толкуй с дураком . . .

— Чинили бы раньше . . .

Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул:

— Цыц, мордва народская!

— Встала, — повторил Осип. — М-да . . .

На караване орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился и все казалось измененным, полным напряженного ожидания.

Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:

— Дядя Осип — как же?

— Чего? — дремотно отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гнусаво заговорил:

— Отлучил Господь вас, ёрников, от святого праздника Своего что-о?

Солдат поддерживал товарища — вытянул руку с трубкой к реке и посмеиваясь бормотал:

— Охота в город? Идите! И лед пойдет. Авось утопнете, а то — в полицию возьмут . . . на праздник-то — хорошо! . .

— Это совсем верно, — сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней — молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла.

Мне было скучно и тяжко, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разно и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

— Ну-ко-сь, ребята, айда с Богом . . .

— В город? — воскликнул Сашок, вскакивая.

Солдат не двигаясь уверенно заявил:

— Потонем!

— Тогда — оставайся.

И оглянув всех, Осип крикнул:

— Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу; Боев, поправляя инструменты в пёщере, заныл:

— Сказано — иди, стало быть — надо идти! Кем приказано — того и ответ . . .

Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая развалистая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенно.

— Каждый бери по доске и держи ее поперек себя — в случае — не дай Бог — провалится кто, — концы доски на лед лягут — поддержка! И трещины переходить . . . Веревка — есть? Народец, дай-ко-сь мне ватерпас . . . Готовы? Ну — я вперед, а за мной — кто всех тяжеле? Ты, сóлдат! Потом — Мокей, Мордвин, Боев, Мишук, Сашок — Максимычь всех легче, он позади . . . Сымай шапки, молись Богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу нам . . .

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

— Айда! — сухо, новым голосом сказал Осип. — С Богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале — то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед и тотчас, за спиной у него, на берегу раздался отчаянный крик:

— Ку-уда, бараны, ма-а . . .

— Шагай, не оглядывайсь! — звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяволо-ы . . .

— Айда, ребята, Бога помня! В гости на праздник он нас не позовет . . .

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои, так вашу . . . Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию . . . Коли не утопнем — в часть, клопам нас . . . Я на себя ответ не беру . . .

Бодрый голос Осипа вел людей за собою, точно на веревке.

— Гляди под ноги зорче! . .

Шли наискось, против течения, и мне, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За

ним, гуськом, как-бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелятся по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись.

Сзади кричат все гуще — видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествие становится для меня механическим, скучной работой; я привык ходить быстро и теперь погружаюсь в то полусонное настроение, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя и в то же время все видишь особенно четко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый, свинцовый лед, из'еденный водою, его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбился, истерт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины холодно улыбаясь ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата — оба они, как две дудочки в одних устах.

— Я ответа не беру . . .

— Конешно, и я . . .

— Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу разов умнее . . .

— Разве умом живут у нас? У нас — глоткой живут все . . .

Осип заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых штанах солдатского сукна, шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним все время вертится кто-то, видимый только ему, вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто повертывает назад и так все время танцует, описывая по льду петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, певуче и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов . . .

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда вверху реки зашуршало зловещим шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня, я покачнулся и не устояв припал на колено, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе рас-

текался странный хруст — точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

— Разойдись . . . расходись — держись порознь, Божьи дети . . . Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот — пошла-а . . .

Он прыгал, словно на него осы напали и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него вздрагивая плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

— Куда? — замахнувшись ватерпасом крикнул он. — Стой, чорт!

Показалось, что это не Осип — лицо странно помолодело, все знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на поларшина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

— Ты — куда?

— Потонем, — тихонько сказал я.

— Цыц! Молчи . . .

Но оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты, вот, выберись . . . ты — вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег: часть его — ниже нас — неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке и скоро земля разорвется.

Это жуткое медленное движение лишало чувства связи с землею: все уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости и река, в мощном мясе земли, словно жила, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе, — на обиде, — ростет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

— Стой, пока я не дойду до тебя! . .

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но — я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещая Воскресение.

Дожить бы до этого звона! . .

. . . Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичек, похожий на Николая Чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

— Не зева-ай! . .

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките из Конька-Горбунка, и все чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки — мутная, холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце.

Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, надутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка . . .

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди Мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помога-ай! — завыл Осип. — Не толпись все, один, двое — помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил Мордвину и мне:

— Отойдите, парни . . . я сам . . . ничего . . .

Выбрался на лед и отряхаясь сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и, в сам деле, потопнешь . . .

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого, смирного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки —

поднял бледный обрубок, с посиневшим ногтем, и разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

— Сколько разов я его, чудашку, портил, прямо — счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь — схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

— А, б-батюшки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб Мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот, попал бы к чертям ко всенощной, — выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

— Не ори, Яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом. — Нашто пугаешь людей? Я-те задам! Распояшься, ребята, карманы вывороти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги: казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стали скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми, двигались тяжко, медленно и покорно.

Но Осип, словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, — скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и осматриваясь звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие, прочные льдины.

— Не падай духом, Божьи детки, э-эй!

— Ай-да дядя Осип! — тихо восторгался Мордвин. — Ну — человек!.. Это, действительно — человек...

Чем ближе к берегу, тем более измельчен, истерт лед и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него.

— Пожалуй — потонем, — тихонько сказал Мордвин, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг — точно пожалев нас, огромная чка уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя и встала.

— Беги-и! — яростно закричал Осип. — Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя — пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга, Мордвин и я остановились, желая помочь Осипу.

— Бегите, щенки свинячьи, ну! . .

Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

— Вставай, дядя . . .

Он опустил голову.

— Ногу я сломил, будто . . . не встать . . .

Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шеи нам, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы . . . ну, слава Те Богу, не попустил, Батюшко . . . Глядите — троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже . . . бросить бы вам меня! . .

Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил:

— А книжка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты, — одобрительно сказал Мордвин, — поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы на берегу, в толпе слободских мещан; Боев и солдат уже ругаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит:

— Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь . . .

Эта книжка, точно кирпич за пазухой у меня; незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку и она шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору — в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулаками и орут:

— Р-ря!

— Их ты-и! . .

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом:

— А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, анафемов, по мордам . . .

Боев переобуваясь кричит:

— Чем мы вас потревожили?

— Христиане тонут — ворчит солдат, еще более охрипший, — а вы что делали?

— А что нам делать?

Осип лежит на земле, вытянув ногу и щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тихонько:

— Ах, мать честная, как измочился . . . Спорчена одежа на нет . . . а — года не носил! . .

Стал он маленький, сморщился, и словно тает, лежа на земле, становясь все меньше.

Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорил:

— Понесли вас беси, дураков, — в баню, в церковь, вишь ты! Чертогоны! . . Туда же . . . Не проживет Бог без вас Свой праздник . . . На смерть наткнулись было . . . одежу всю спортили, чтоб вас рòзорвало . . .

Все переобувались, отжимали одежу, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал все горячее:

— На-ко, что удумали, окаянные! Баня им надобна . . . вот — полицию бы, она бы вам показала баню . . .

Кто-то из мещан услужливо сказал:

— За полицией послано . . .

— Ты — что? — закричал Боев Осипу. — Ты зачем притворяешься?

— Я?

— Ты!

— Стой! Это как же?

— Кто подбил народ, чтоб идти, а?

— Кто?

— Ты!

— Я?

Осип задергался, точно в судороге, и сорвавшимся голосом повторил:

— Я-а?

— Это совсем верно, — спокойно и внятно сказал Будырин. Мордвин тоже подтвердил, тихонько, печально:

— Ей-богу, ты, дядя Осип! . . Ты забыл . . .

— Конечно, ты заводчик делу, — угрюмо и веско крикнул солдат.

— За-абыл он! — яростно кричал Боев. — Как же, забыл! Нет, это он пробует нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал и прищурив глаза оглядел мокрых, полуодетых людей . . .

Потом, странно всхлипнув — смеясь или плача — дергая плечами и разводя руки стал бормотать:

— А ведь — верно . . . и впрямь — моя затея-то . . . скажи на милость!

— То-то! — победоносно крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую как просяная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал:

— Прямо — затмение . . . ах, ты, батюшки! И как не утонули? Даже понять нельзя . . . Фу ты, Господи! . . Ребята . . . вы — того . . . не сердитесь, праздника ради . . . простите уж! . . Помутилось в уме у меня, что ли-то . . . Верно: я подбил . . . экой старый дурак . . .

— Ага? — сказал Боев. — А как бы я — утоп, чего бы ты говорил?

Мне казалось, что Осип искренно поражен ненужностью и безумием сделанного им — скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головою, шаря руками по песку вокруг себя и не своим голосом все бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя.

Я смотрел на него, думая — где же тот воевода-человек, который идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел их за собою?

В душу наливалась неприятная пустота, я подсел к Осипу и, желая что-то сохранить, тихо сказал ему:

— Будет тебе . . .

Он искоса взглянул на меня и распутывая бороду пальцами так же тихо молвил:

— Видал? То-то, вот . . .

И снова заворчал громко, для всех:

— Какая штука — а? . .

. . . На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей, влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку — чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь, — грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук — хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладкозвучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катались Дятловы, с бутылками в руках, а на перерез им, — вдоль берега, — шел серый околодочный и двое черных полицейских.

— Ах, Ты, Господи! — стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидающе примолкли, а околодочный — сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку — подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

— Это вы, дьяволы . . .

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие . . .

— Как же ты старый чорт, — закричал околодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов:

— Квартера у нас здесь, в городу; на том берегу ничего нам нет и денег нет у нас на хлеб, а после завтрея, ваше благородие, велик Христов день, — в баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну — я и говорю: айдате, ребята, что Бог даст, не по худому делу пойдем и за продерзость наказан я, вот — ноженьку разбил вовсе . . .

— Да! — сурово крикнул околодочный. — Ну, а если б вы утопли — что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините . . .

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой — Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот, и конец всему, слава Тебе Господи! . .

— Стало быть, — изумленно и разочарованно загнусил Боев, — стало быть нога-то — цела? Не сломал, значит?

— А тебе надо, чтобы сломать?

— Ах, — комедьян! Петрушка ты несчастный . . .

— Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

. . . Я шел рядом с ним сзади всех; — он говорил мне, тихонько ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

— И что ни делай, как ни кружись, ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу . . . Ты бы на гору, а чорт за ногу . . .

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря:

— Сюда идите! . .

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

— Ловко, я полицию-то обошел! Вот как надобно дело делать — чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть — главная пружина, да . . . Пускай каждый думает, будто его душа — дело совершила . . .

Я слушаю его речь и — плохо понимаю ее. . . .

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю — нравится мне Осип или нет, но готов итти рядом с ним всюду, куда надобно — хоть снова через реку, по льду, ускользающему из под ног.

Гудят, поют колокола и радостно думается:

— Еще сколько раз я встречу весну! . .

Осип говорит, вздыхая:

— А душа человечья — крылата, — во сне она летает . . .

Крылата? Чудесно! . .

Губин.

. . . Впервые я увидел его в трактире; забившись в дымный угол и загородясь столом, он надорванным голосом кричал:

— Я вашу правду знаю . . . и всю здешнюю правду знаю!

Перед ним полукругом стояло человек пять солидных мещан, неохотно поддразнивая его насмешливыми междометиями. Один равнодушно выговорил:

— Как те правды не знать, коли ты всех оболгал . . .

Изношенный, издерганный Губин напоминал бездомную собаку: забежала она в чужую улицу, окружили ее сильные псы, она боится их, присела на задние ноги, метет хвостом пыль и оскалив зубы визжит, лает, не то пытаясь испугать врагов, не то желая поластиться к ним. А они, видя ее бессилие и ничтожество, относятся к ней спокойно — сердиться им лень, но чтобы поддержать свое достоинство, они скучно тявкают в морду чужой собаке.

— Кому ты нужен?

Мне давно и хорошо знакомы трактирные споры о правде, споры, нередко восходившие до жестокого боя, я и сам не однажды путался в этих беседах, как слепой среди кочек болота, но, незадолго до встречи с Губиным, смутно почувствовал, что все разноголосые состязания до бешенства и до крови, выражают собою только безысходную, бестолковую тоску русской жизни, разогнанной по глухим лесным уездам, покорно осевшей на топких берегах тусклых речек, в маленьких городах, забытых счастьем. Стало казаться, что люди ничего не ищут и не знают чего искать, а просто — криком кричат, чтобы избыть скуку жизни.

Окна трактира открыты, а над головами людей колеблется, не исчезая, облако сизого дыма. Огни ламп, точно желтые кув-

шинки на мертвой воде пруда. За окнами тихо плывет августовская ночь — ни шороха, ни шопота. Я смотрю на темное небо, на яркие звезды и деревенея, под тяжестью уныния, думаю:

— Неужели небо и звезды для того, чтоб прикрыть эту жизнь? Такую?

Кто-то говорит, уверенно и спокойно, точно читая написанное:

— Если кубасовские мужики свой лес оберечь не поспеют, завтра он обязательно займется с полуденной стороны, а тогда, конечно, и Биркиных леса на тло выгорят . . .

Спор на минуту затих и снова раз'едая тишину, слышен надломленный голос:

— А что значит — правило?

Тяжелые, неуклюжие слова сталкиваются одно с другим и давят мысли на смерть. Голоса звучат громче и злей, под шум их я почему-то вспоминаю нелепые стихи:

— Боги дали человеку
Воду, чтоб он пил и мылся, —
Он же взял, да утопился
В ней . . .

. . . Потом я сижу один на ступени крыльца трактира, глядя через площадь в тусклые пятна окон протопопова дома — за окнами мелькают черные тени, глухо и печально звучат басы гитары и высокий, раздраженный голос время от времени вскрикивает:

— Но — позвольте! Дайте же мне сказать . . .

А кто-то другой дробно сыплет в тишину, как в бездонный мешок:

— Нет — постойте, нет — постойте . . .

Дома, прижатые тьмою, кажутся низенькими, точно холмы могил. Черные деревья над крышами — как тучи. В глубине площади одиноко горит фонарь, его свет повис в воздухе неподвижным прозрачным шаром и напоминает одуванчик.

Тоска. Ничего не хочется.

Если кто-то подойдет сквозь тьму и ударит по голове — упадешь на землю и даже не посмотришь кто убил.

Все та же дума со мною — верная мне, как собака, она никогда не отстает от меня.

— Разве для этих людей дана прекрасная земля!

Из двери трактира с треском и громом бежит кто-то, катится

по ступеням мимо меня, падает в пыль и быстро вскочив, исчезает во тьме, угрожая:

— Я вас — оголю . . . я — раздену вас, будьте прокляты!

А в двери стоят темные люди, переговариваясь:

— Это он, гляди, поджечь грозит . . .

— Ку-уда ему, поджигать . . .

— Экая вредная сволочь . . .

. . . Вскинув котомку за спину, я иду вдоль улицы из одних заборов, сухой бурьян хватает меня за ноги и сердито шуршит. Ночь теплая, не стоит платить за ночлег; около кладбища есть удобные места для спанья, лес подошел почти вплоть к ограде, выслав вперед себя тесный ряд молодых сосен. Песок там усыпан сухой рыжей хвоей.

Из тьмы вынырнула и шарахнулась в сторону длинная человечья фигура.

— Кто идет? Кто? — пугливо раздается в мертвой тишине надорванный голос Губина.

. . . Он шагает рядом со мною, озабоченно выспрашивая откуда я пришел, зачем и — просто, как старому знакомому, предлагает:

— Спать иди ко мне, я здесь домовладелец! И насчет работы я тебе находка: как раз завтра мне человека надо, колодец чистить у Биркиных — желаешь? Ну, вот, то-то! У меня, брат, все сразу, всегда. Я и ночью людей насквозь вижу . . .

Дом его оказался старой баней; одноглазая, горбатая, с выпятившейся стеною, она прилегла на глинистом спуске в овраг, точно спряталась в кустах тальника и бузины.

Не зажигая огня, Губин растянулся на слежавшемся сене в предбаннике, тесном, как собачья конура, поучительно говоря:

— Ложись головой к двери на волю, а то здесь запах тяжелый...

Да — тошнотворно пахнет ягодами бузины, мылом, гарью и гнилым листом . . .

В небе неподвижно торчат черные деревья, закрывая золотой млечный путь. За Окою кричит сова и точно горох на меня непрерывно сыплются, возбуждающие любопытство речи:

— Ты не гляди, что я в овраге загнан — я противу всех здесь — первое лицо! . .

Темно, мне не видать лица хозяина, но я помню освещенный желтым огнем трактирной лампы, облезлый, истертый череп Губина; длинный, точно у дятла, нос и серые щеки, в рыжеватой

щетине. Под жесткими усами — тонкие губы, рот точно ножем прорезан, наполнен черными осколками зубов и кажется злым, уши острые, мышиные, должно быть — чуткие. Он бреет бороду, это очень не идет к его лицу, и всей фигуре, но — делает его заметным: сразу видно, что это не мужик, не мещанин, а кто-то особенный. Тело у него костлявое, руки и ноги — длинные, локти, колени — острые, весь он, как сучек — думается, что его легко изогнуть, даже завязать узлом.

Я плохо слушаю его и молчу, глядя в небо, где идут звезды, догоняя друг друга.

— Спишь?

— Нет . . . Зачем ты бреешься?

— А что?

— В бороде лицо у тебя приятнее было бы, пожалуй . . .

Он коротко рассмеялся, восклицая:

— В бо-ороде . . . ах, ты, нечисть! В бороде!

И строго заговорил:

— Петр Великий с Николай Павлычем несколько умней тебя были, так они — кто бороду носит — тому нос резать и сто целковых штрафу! Слыхал?

— Нет, не слыхал . . .

— А, между тем, из этого раскол церковный вышел, из-за бороды . . .

Говорит он быстро, шепеляво, слова, исходя из его уст, точно задевают за обломки зубов, рвутся, ломаются и выходят недоконченными.

— Все понимают — с бородой — легче жить, врать проще: соврал и в волосах спрятал. Значит, нужно, чтоб все жили с голым лицом — труднее врать! Чуть сыграл фальшиво — всякий это видит . . .

— А — бабы?

— Что — бабы? Баба врет мужу, а не городу, не всем людям — миру. Бабье дело курье, тихое — выводи цыплят . . . Ежели она и ложно покудахтает — какой вред? Она — не поп, не чиновник, не градской голова . . . власти ей не дано, законов не уставляет . . . Главное — чтобы в законах не врать! . . Закон должен содержать в себе настоящую правду . . . Надоело мне окружающее беззаконие!

Дверь предбанника была открыта, точно в церковь: деревья

во тьме стояли подобно колоннам, белые стволы берез, как серебряные подсвечники, над вершинами их мерцали тысячи огней, чьи-то сине-темные лики неясно смотрят сквозь черные ризы. Жуткая тишина в душе, хочется встать и идти во тьму, навстречу всем ночным страхам, но быстрая речь человека опутывает внимание и держит на месте.

— Отец мой был человек самоумный, характерный и за это его терпеть не могли в городе. Лет с двадцать он добивался выбора в головы градские и поил-кормил людей, и уговаривал — не одолел упрямства-глупости, так и скончался, не достигнув назначенного себе. Боялись его: он бы тут все разворотил, до корней вплоть! Он знал, что закон надобно вбивать в самое нутро человеку, вроде, как бы, гвоздь . . .

Под полом пищат мыши, за Окою стонет сова и все гуще слышен смолистый запах гари: леса горят. В темном небе порою вспыхивают красные пятна, скрадывая неясный блеск звезд.

— Помер в одночасье. А я, о ту пору, был семнадцати годов, училище городское в Рязани только что окончил. И, конечно, все, что отец против себя в людях накопил, на меня свалилось: весь в отца, говорят! А я — один! Мать, в уме помешавшись, тоже померла, года за два до отца. Дядя, отставной унтер-офицер, пьяница непробудная и герой: под Плевной сражался, там ему глаз вышибли и руку повредили левую так, что отсохла. Кресты у него, медали и он надо мной издевается — грамотей, дескать! Ученый! А что такое — «тиверсия»? Я говорю такого слова нету, а он меня за волосы . . . Совсем нелепое лицо! И все меня грамотой стыдят, по дикости своей . . . Стал я в городе на манер дурачка для всех и вроде блаженного . . .

Воспоминания приподняли его, он сел на пороге двери — черным пятном в синий квадрат, — закурил хрипучую трубку и, освещая свой длинный, смешной нос, продолжал быстро бегущими словами:

— Женился двадцати годов, на сиротке — больная попала и померла, не разродясь — опять один я! Без поддержки, без совета, без дружков . . . так то! Живу и вижу: все не так, как надобно . . .

— Что — не так?

— Все! Весь оборот жизни . . . глупость, дичь болотная! Даже собаки не в пору лают . . . Говорю: давайте, ремесленное

училище откроем и для девиц что-нибудь. А они — смеются: все, говорят, ремесленники горькие пьяницы, весьма довольно их. Девицы же, дескать, без наук часто до времени родят . . . Затеял я спичечную фабрику — сгорела в первый год . . . Чего делать? Тут и настигла меня одна женщина, завертелся я около нее, как стриж вокруг колокольни, закружился и так зажил . . . будто не здесь! Три года не чуял себя, а когда оклемался, вижу — нищий я и все мое — в ее руках белых! Было мне в то время двадцать восемь годов, а — нищий! Ну, — не жалею! Пожил, как редко живут . . . На, бери, возьми! Все едино: я сделать не мог бы ничего с отцовым большим добром, а она — она, вон как . . . н-да! Может — я в ту пору и не думал так, а — это теперь, когда все потеряно . . . Она говорит — ничего-де не потеряно. Ума, брат, у ней — на весь город . . .

— Она — кто?

— Купчиха. Бывало — распахнется и спросит: чего это тело стоит? А я говорю: нет ему цены! В три года — все ушло . . . вроде — дым! Конечно, меня — осмеяли, заторкали . . . Ну, я не поддаюсь им . . . Знаю я тут все житейские дела, вижу — все не так и не молчу об этом. Молчать я не согласен . . . У меня — кроме души да языка — ничего нет! За то — меня не любят и считаюсь я дурачком . . .

— А как надобно жить по твоему?

Он долго молчал, посапывая трубкой, красным пятном вспыхивал во тьме его нос.

— Этого никто не знает подробно — как надо жить, — тихо и медленно выговорил он. — Я думал, думал . . .

Я представил себе, как он, всем чужой, осмеянный, прожил в этом городе никому ненужную жизнь — ненужное бытие угрожало и мне, сердце щемила тоска, не давая уснуть.

. . . Русь изобилует неудавшимися людьми, я уже не мало встречал их и они всегда, с таинственной силой магнита, притягивали к себе мое внимание. Они казались интереснее, лучше густой массы обычных уездных людей, которые живут для работы и ради еды, отталкивая от себя все, что может огорчить кусок хлеба, все, что мешает вырвать его из некрепких рук ближнего. Угрюмо замкнутые, с одеревеневшим сердцем и со взглядом, всегда обращенным в прошлое или фальшиво добродушные, нарочито болтливые и, — будто бы, — веселые, но холодные

изнутри, серые люди, они поражали своей жестокостью, жадностью, волчьим отношением ко всему в жизни.

Было в них что-то непобедимо зимнее — казалось, что и весною, и летом, они живут для зимы, с ее теснотой в домах, с ее длинными ночами и холодом, который понуждает много есть.

В плотной, скучной и жуткой массе этих зимних людей, неудавшийся человек очень резко бросался в глаза: он — вдумчивей, живее, у него более острое зрение, он — умел заглянуть за скучные пределы обычного и привычного, у него ёмкая душа и всегда она хочет быть полной. В нем есть стремление к простору, он любит светлое и сам как будто светится . . .

Да, светит, но чаще всего — обманчивым светом гнилушки: присмотревшись к нему, понимаешь — с досадой и горькой печалью — что это лентяй, хвастун, человек мелкий, слабый, ослепленный самолюбием, искаженный завистью, а расстояние между словом и делом у него еще глубже и шире, чем у зимнего человека, который, хотя и медленно, как улитка, но все же ползет куда-то по земле, тогда как неудачник вертится на одном месте, точно бесплодная старая дева перед зеркалом . . .

Я слушаю Губина и вспоминаю подобных ему.

— Я всю жизнь насквозь просмотрел, — ворчит он, подремывая, опустив голову на грудь.

Как-то внезапно я уснул — на несколько минут, показалось мне. Губин, разбудил меня, дергая за ногу.

— Ну, вставай, идем . . .

Он смотрит в лицо мое серыми глазами — что-то умное чудится мне в этом невеселом взгляде. На измятых щеках, сквозь давно небритые волосы светятся красные жилки, на висках у него тоже туго натянуты синие жилы, голые руки точно скручены из сыромятных ремней.

Мы идем по сонным улицам города, над нами мутно-желтое небо; еще заря не погасла, а воздух душен от запаха гари.

— Пятый день леса горят, — ворчит Губин, — не могут остановить . . . дурачье!

Вот мы на дворе купцов Биркиных: жилище их странно — это куча разнородных пристроек к одноэтажному с мезонином дому, в четыре окна на улицу. Пристройки подпирают его со всех сторон, даже на крышу влезли. Все они имеют вид прочный,

тяжелый, но — кажется, готовы разойтись по двору, за ворота, на улицу, в сад и огород. Как будто они украдены в разное время в разных местах и сложены кое-как за высоким забором с длинными гвоздями. Окна маленькие, стекла в них зеленые, смотрят они на свет подозрительно и пугливо. В трех окнах на двор толстые железные решетки, а на крышах, точно сторожа, грузно сидят кадки с водою — на случай пожара.

— Что глядишь? — бормочет Губин, заглядывая в колодец. — Звериное жилье, ну, да . . . Перестроить бы надо все, как можно шире, просторней, а они все пристраивают.

Шевеля губами, точно заклинания нашептывая, он сердито прищурясь обвел все постройки считающим взглядом и тихо сказал:

— Между прочим — дом этот мой . . .

— Как — твой?

— Как бывает, — сморщив лицо, точно у него зубы заболели, ответил он и тотчас начал командовать:

— Ну, я стану воду качать, а ты таскай ее на крышу, наливай кадки. Вот тебе ведра, вот лестница — действуй!

И принялся за работу, обнаруживая большую силу, а я стал, с ведрами в руках, лазить на крышу.

Кадки рассохлись, не держали воды, она стекала на двор — Губин ругался:

— Хозяева, туда-же . . . грош берегут, а целковый беззащитен . . . Вдруг бы — пожар? Ду-убье . . .

На двор вышли хозяева: толстый, лысый Петр Биркин, по глаза налитый густой кровью, так что она окрасила даже его выкатившиеся белки, а за ним тенью шел Иона, угрюмый, рыжий, с нависшими бровями и тяжелым взглядом мутных глаз.

— А-а, милостивый государь, господин Губин? — приподняв пухлой рукой суконный картуз, тонким голосом сказал Петр; Иона кивнул головой и покосившись на меня, спросил басом:

— Чей молодец?

Оба большие, важные, как павлины, они осторожно шагали по двору, залитому водой, боясь запачкать ярко начищенные сапоги; Петр говорил брату:

— Видал — как рассохлись кадки-то? Вот, Якимка твой, — давно надо было его в шею . . .

— Чей, говорю, парень? — строго повторил Иона.

— Своих отца-матери, — ответил Губин спокойно и не глядя на хозяев.

— А ты идем-ка, пора! Это все едино кто — чей, — растягивая гласныя пропел Петр.

Они медленно подкатились к воротам — Губин сморщившись посмотрел вслед им и, раньше чем братья вышли за калитку, сказал равнодушно:

— Бараны. Мачехиным умом живут . . . кабы не она — пропали бы . . . Мачеха у них . . . даже невозможно сказать как умна! . . Было их трое: Петр, Алексей, Иона, — Алексей в кулачном бою убит. Красавец был, весельчак . . . А эти — просто обжоры . . . Хоша и все здесь жрать мастера . . . Не зря в городском гербе нашем три калача . . . Ну-ка, начинай — давай, отдохнули!

На крыльце кухни появилась молодая, высокая, дородная женщина, в синей юбке и розовой кофте-распашенке; прикрыв ладонью голубые глаза, она осмотрела двор, крыши и несмело сказала:

— Здравствуй, Яков Васильич . . .

Губин открыл рот, окинул всю ее веселыми глазами и приветственно махнул рукой.

— С добрым утром, Надежда Ивановна! Как здоровьице?

Она почему-то закраснелась, прикрыв руками грудь, ее круглое и мягкое, очень русское лицо осветилось сконфуженной улыбкой. В этом лице не было ни одной черты, которая могла бы остаться в памяти — пустое лицо, природа точно забыла отметить на нем свои желания. И улыбалась она неуверенно, как будто не зная — можно улыбнуться или нет.

— Как Наталья Васильевна?

— Все так же, — негромко ответила женщина.

Потом она, покачиваясь и опустив глаза, осторожно пошла по двору и когда проходила мимо меня, я почувствовал, что от нее пахнет ягодами — малиной и черной смородиной.

Она скрылась за маленькой, окованной железом дверью в серой мгле, через минуту вышла оттуда с решетом в руках, села на пороге, поставив решето на колени себе, в нем шевелились и пищали золотые, пуховые цыплята; женщина брала их большими ладонями, прикладывая к щекам своим, к красным губам и певуче говорила:

— Милые мои-и . . . о-о, милые . . .

Что-то хмельное, пьяное послышалось мне в ее голосе. Через забор, нагревая длинные, острые гвозди, смотрело мутное, красноватое солнце, по двору, у ног женщины, бежал тонкий ручей воды, стекавшей с крыши, солнечный луч мылся в нем и трепетал, точно желая попасть на колени женщины, в решето, к мягким, золотым цыплятам и чтоб она тоже приласкала его белой, до плеча голой рукою.

— О-о, живенькие . . . деточки . . .

Губин, перестав вытягивать бадью, повис на веревке, вцепившись в нее поднятыми вверх руками, и торопливо говорил:

— Э-эх, Надежда Ивановна, детей бы тебе, детей . . . человек бы шесть! . . .

Она не ответила и не взглянула на него.

Солнце запуталось в серовато-желтых дымных тучах, за серебряною рекой, над тихой полосой воды сонно клубится кисейный туман; поднялся в мутное небо синий лес, весь окурен душистым, едким дымом.

Тихий город Мямлин еще спит, приютясь в полукольце леса — лес, как туча за ним; он обнял город, пододвинулся к смирной Оке и отразился в ней, отемнив и бесконечно углубляя светлую воду.

Утро, а — грустно. День ничего не обещает, лицо у него печальное и какое-то незрячее. Не родился еще, а уже будто устал.

Я лежу рядом с Губиным на куче примятой соломы, в сторожке большого плодового сада Биркиных. Сад раскинут по горе, через вершины яблонь, слив и груш, в росе, тяжелой, как ртуть, мне видно весь город, с его пестрыми церквами, желтой, недавно окрашенной тюрьмой и желтым казначейством.

Эти желтые четыреугольники, как бубновые тузы на спине арестанта, серые полосы улиц, точно глубокие складки в пестрых лохмотьях изношенной, пыльной, выцветшей одежды. В это утро сравнения рождаются печальные — должно быть потому, что всю ночь в душе моей неуёмно пела грусть о другой жизни.

Но с чем сравнить церкви. Их много, некоторые очень красивы и когда смотришь на них — весь город принимает иные, более приятные и ласковые очертания. Если бы люди строили каждый дом, как церковь . . .

. . . Одна из них, старая, приземистая, со слепыми окнами в гладких стенах, называется «княжой»: в ней лежат мощи благоверных князей города, мужа и жены; в житии сказано, что они всю жизнь прожили «в добросердечной, нерушимой любви».

Ночью я с Губиным видел, как рослая, белая, робкая жена Петра Биркина шла по саду в баню, на свидание со своим любовником, регентом княжой церкви. Шла она снизу вверх, по тропинке между яблонь в одной рубахе, босая, накинув на широкие плечи что-то золотистое — кофту или шаль; шла не спеша, осторожно, точно кошка по двору после дождя, когда попав на сырое место, она брезгливо отряхает мягкие лапки. Вероятно, сухой лист и мелкие сучья щекотали и кололи подошвы женщины — ноги ее дрожали и шаг был неуверен, не тверд.

Над садом, в теплом небе наклонилось добродушное лицо старой луны, она была уже на ущербе, но еще яркая, и когда женщина выходила из тени дерева, я хорошо видел на ее лице темные пятна глаз, приоткрытый, круглый рот и толстую косу на груди. В лунном свете рубаха казалась синеватой, женщина — прозрачной. Двигалась она бесшумно, точно по воздуху и когда вступала в тень дерева — тень светлела.

Было это около полуночи, мы еще не спали. Губин интересно рассказывал мне о городе — истории разных семей и людей; когда он увидал женщину, поднимавшуюся вверх точно облако, он смешно вскочил, сел на соломе и в судорогах, точно его огнем пекло, начал торопливо креститься:

— Господи Исусе, Господи . . . как это? Что это?

— Тише, — сказал я.

Он покачнулся, толкнул меня плечом.

— Фу-ф . . . Прямо — как сон . . . Ах, Господи! . . Вот эдак же, этим же местом свекровь ее, Петрушкина мачеха . . . вот совсем так же! . .

Он вдруг бессильно упал вниз лицом и залился, захлебнулся тихим, злорадным смехом, хватая меня за руку, дергая, и всхлипывающим голосом нашептывая:

— А Петрушка — спит . . . вчера надрызгался на смотринах у Базановых — спит! Ионка к Варьке Клочихе отправился — это на всю ночь, до утра . . . гуляй, Надежда! А?

Я слушал его и смотрел, как идет женщина к своему делу: это было красиво, точно сон, и мне чудилось, что оглядываясь во-

круг голубыми глазами, она жарко шепчет всему живому, что спит и что бодрствует в ночи:

— Милое мое-о . . . милое ты мое-о! . .

А нескладное, изломанное живое рядом со мною, присвистывая, шепчет:

— Она — третья у Петрушки, из Мурома взята, тоже купецкой семьи. Есть в городе слушок, будто Ионка тоже владает ею — обоим братьям, дескать, она женой служит, оттого и детей нет! А еще сказывали, что в Троицын день видели ее постыдно бабы у исправника в саду: сидела-де она на коленях у него и плакала. Я этому не верил: исправник — старичек, еле ноги передвигает... Ионка? . . Ну, Ионка, конечно, скот, однако — он мачехи боится . . .

Упало яблоко, подточенное червем, женщина на секунду остановилась и, наклонив голову упрямей, пошла вперед быстрее.

Губин говорил непрерывно и все более беззлобно, точно он летопись читает и скучно ему.

— Думай: кичится богатством человек, живет в почете — князь городу Петр Биркин! А чорт смеется за плечом у него — вот!

Он надолго замолчал, извиваясь в странных судорогах, тяжко вздыхая, потом вдруг, странным шепотом сказал:

— Лет пятнадцать тому назад . . . нет — больше, — свекровь ее, Надькина, вот так же к любовнику ходила . . . Это был конь! . .

Было грустно смотреть, как женщина крадется, точно воровать идет и мерещилось, что со двора в сад тяжело ползут по черной земле толстые братья Биркины, с веревкой, с палками в красных, не знающих жалости руках. Я не слушал шопот Губина, глядя вниз к стене амбара, откуда явилась женщина и на черную дыру в стене бани, куда она, согнувшись, спряталась. Наконец, он уснул, сказав сквозь сон последние слова:

— Вся жизнь — на обмане . . . жены — мужей, дети — отцов . . . лживость везде . . .

Небо на востоке багровое и то светлее, то темнее; порою видны черные клубы дыма и огонь раскаленными ножами врезается в густую ткань. Лес высок и плотен, точно гора; на вершине ее извиваясь ползет огненный змей, машет красными крыльями и тонет, поглощенный дымом. Мне кажется, что я слышу злой, кипучий треск, и шум яростной борьбы черного и красного, вижу, как белые испуганные зайцы, осыпаемые дождем искр, мечутся

между корней, а в ветвях бьются, задыхаясь дымом, опаленные птицы. Все шире и победоносней простирает крылья красный Змей, пожирая тьму, истребляя смолистый лес.

. . . Из черной дыры в стене бани выкатилась белая фигура и быстро замелькала между деревьями, а вслед ей кто-то наказывал внятным шепотом:

— Не забудь же! Обязательно пришли!

— Ладно . . .

— Утром хромая зайдет — слышишь?

Женщина исчезла, потом кто-то не торопясь прошел вверх по саду и тяжело царапая доски перелез через забор.

Не спалось; до рассвета вплоть лежал я, глядя, как горит лес. Скатилась с неба усталая луна, а над крестами княжой церкви вспыхнула Венера, холодная и зеленая, как изумруд, — здесь ей и гореть, если князь с княгиней всю жизнь прожили «в ненарушимой любви». Одна для одного и один для одной на всю жизнь . . .

Роса смыла с деревьев ночную тьму и в зелени, седой от росы, стали улыбаться розовые яблоки анис, засверкала золотом пахучая антоновка. Прилетели щеглята в алых колпаках. Осыпались, падали на землю желтые листья, похожие на птиц, и порою нельзя было понять — лист или щегленок мелькнул.

Тяжело вздохнув — проснулся Губин, продрал кривыми пальцами запухшие глаза, встал на четвереньки и — весь измятый сном — вылез из сторожки, обнюхивая воздух, как собака, смешно двигая острым носом. Встал на ноги, потряс большой сук яблони — зрелые плоды покатились по сухой земле, прячась в траву. Он поднял три, тщательно осмотрел их, вонзил изломанные зубы в сочный плод и чавкая стал разгонять пинками ноги упавшие на виду яблоки.

— Зачем ты яблоки зря погубил?

— Не спишь? — оборотился он ко мне, кивнув дынной головой. — Жалеть их не к чему, много их . . . Яблоки эти отец мой сажал . . .

И подмигивая мне зорким, приятным глазом, хихикая, сладко, он забормотал:

— Наденька-то, а? Надежда Иванна — ловко! Ну, я ж им устрою праздник. Я . . .

— Зачем?

Он нахмурился и сказал поучительно:

— Я, брат, людям доброжелатель . . . ежели я вижу где промежду них злобу или лживость какую — я всегда обязан это вскрыть — на голо! Людей надобно учить: живите правдой, дряни . . .

Из-за облаков вознеслось солнце — лицо у него было тусклое и печальное, как у нездорового ребенка; казалось оно чувствует себя виновато, что опоздало осветить землю, залежавшись на мягких тучах и в дыме лесного пожара. Сад облился теплыми лучами и густо вздохнул хмельным ароматом созревших плодов, — дыханием осени.

Но во след солнцу в небо поднимались тесною толпою сизые и белые, как снег, облака, их мягкие бугры отразились в тихой Оке, сотворив в ней иное небо, столь же глубокое и мягкое.

— Айда, Макар! — командует Губин.

. . . Я стою на дне глубокого, свыше трех сажен, колодца, по пояс в жидкой, холодной грязи; удушливо пахнет гнилым деревом и еще чем-то невыносимо противным. Черпая грязь ведром, сливаю в бадью и, наполнив ее, кричу:

— Готово!

Бадья качается, толкает меня, неохотно тянется вверх, с нее на голову, на плечи мне падают жидкие комья грязи, капает вода. Темный круг ее дна закрывает выгоревшее небо и чуть видимые мною звезды — так жутко и приятно — видеть звезды, зная, что в небе горит солнце.

Все время я смотрю вверх — ломит шею, ноют позвонки, затылок точно свинцом налит, а — хочется видеть эти дневные звезды и нельзя оторвать глаз от них: они показывают все небо новым и почему-то хорошо знать, что солнце не одиноко в нем.

Хочется думать о чем-то огромном, но мне мешает тупая, неотвязная тревога: вот, проснутся Биркины, вылезут на двор и Губин расскажет им о Надежде.

Сверху опускаются его слова, невнятные и точно распухшие от сырости.

— Еще крыса . . . Богатеи — х-ха! Десять лет колодец не чистили . . . Что пили, дьяволы? Берегись, там . . .

Скрипит блок; толкаясь о сруб и глухо постукивая, на меня опускается бадья, снова плюет грязью на плечи и голову мне. Заставить бы самих Биркиных делать эту работу . . .

— Сменяй!

— Что мало?

— Холодно! Терпенья нет . . .

— Н-но! — кричит Губин на старую лошадь, силою которой поднимается бадья; я сажусь верхом на край бадьи и еду вверх: на земле очень светло, тепло и, по новому, незнакомо приятно.

Теперь Губин на дне колодца. Из сырой, черной дыры вместе с запахом гнили поднимаются его ругательства, глухой плеск грязи, гулкие удары железного ведра о цепь бадьи.

— Скопидо-омы . . . Гляди там — еще что-то есть, не то собака, не то ребенок, что-ли . . . азиаты проклятые . . .

В бадье оказалась разбухшая шапка — Губин огорчился:

— Ребенка бы найти, да об'явить полиции, да под суд их, милых . . .

Пегая, опоёная лошадь, с бельмом во весь глаз, шевелит лысыми ушами, стряхивая синих мух. Мерным шагом старой богомолки, она ходит от колодца к воротам, вытягивая тяжелую бадью и каждый раз, дойдя до ворот, вздыхает, низко опуская костлявую голову.

В углу двора, покрытого ковром рыжей, выгоревшей, притоптанной травы, скрипнула дверь — вышла Надежда Биркина со связкой ключей в руках, а за нею круглая, как бочка, баба — старая, с черными усами на толстой, презрительно вздернутой губе. Они пошли к погребу — Биркина шла лениво, одетая в одну нижнюю юбку, в рубахе, с'езжавшей с плеч, в туфлях на босую ногу.

— Чего глаза пялишь? — крикнула мне баба, свирепо выкатив темные, мутные, точно слепые глаза, утонувшие в багровых щеках совсем не там, где надо.

— Свекровь, — подумал я.

У двери погреба Биркина отдала ей ключи и неспешно, колыхая полными грудями, оправляя рубаху, все сползавшую с круглых и крутых плеч, подошла ко мне, говоря:

— Подворотни надо вынуть, пусть грязь на улицу текет. Весь двор залили. Запах-то какой . . . Крыса, никак? Ой, батюшки, сколько пакости! . .

Лицо у нее было усталое, в глазницах темные пятна, а глаза горят сухо, как у человека, не спавшего всю ночь. Было еще свежо, но на висках ее блестел пот. И плечи у нее были тяжелые,

сырые, как недопеченый хлеб, чуть прихваченный жаром, покрытый тонкою, румяной коркою.

— Калитку отопри! Тут . . . нищая, старушка хромая придет . . . кликни меня . . . меня — Надежду Ивановну, слышишь?

Из колодца донеслось.

— Кто говорит?

— Хозяйка . . .

— Надежда — э-эх-ма! Мне бы с ней пару словечек . . .

— Что он кричит? — спросила женщина, с усилием приподнимая темные, чуть намеченные брови и хотела наклониться к срубу, но я неожиданно для себя сказал:

— Видел он, как ты ночью шла . . .

— Что-о?

Она выпрямилась, побагровев до плеч, быстро прижав полные руки ко грудям, широко открыв потемневшие глаза и вдруг спутанно, торопливо зашептала, бледнея и странно умаляясь, оседая к земле, точно перекисшее тесто.

— Что он видел-то, Господи? — Нет . . . Голубчик — придет хромая, не пускай! Скажи — не надо, не могу, нельзя — я тебе целковенький . . . Господи!

Снизу все громче и сердитей поползли крики Губина, но я слышал только захлебывающийся шопот женщины, видя, как ее лицо — полное и розовое — осунулось, посерело, темные губы вздрагивая мешают говорить, а в глазах застыл жалостный собачий страх.

Но вдруг она приподняла плечи, подобралась вся и смигнув страх, тихо и внятно сказала:

— Ничего не надо . . . Пускай . . .

Покачнулась и пошла прочь, шагая мелко точно ноги у нее были связаны — шла она раздражающе тихо, покорно и точно слепая.

— Тащи! — выл Губин.

Когда я вытащил его, он — мокрый, синий от холода, стал прыгать по двору, ругаясь и размахивая руками.

— Это — как же? Я кричу, кричу . . .

— Сказал я Надежде, что ты видел ее.

Он подпрыгнул ко мне, злой.

— Кто тебе велел?

— Сказал, что тебе приснилось, будто она садом в баню шла...

— Что-о? Что такое?

Голоногий, тающий грязью, он смотрел на меня, хлопая глазами, его неприятное лицо стало смешно, глупо.

— Смотри — если ты мужу ее скажешь, то я так и буду говорить, что ты во сне видел все это . . .

— Зачем? — растерянно воскликнул Губин, но — вдруг пришел в себя и, широко улыбаясь, тихонько спросил:

— Сколько дала?

Я стал об'яснять ему, что мне жалко женщину, боюсь, что братья изувечат ее и что не следует ее выдавать — Губин сначала не верил мне, но потом задумался и сказал:

— Неправильно все это: лучше взять деньги за правду, чем за обман. Сбиваешь ты меня, парень . . . Наняли они меня колодец чистить, а я бы им в ту же цену — все вычистил . . . это мне удовольствие!

Он снова разозлился, греясь бегает вокруг сруба и бормочет:

— Как ты можешь мешаться в чужие дела? Али ты здешний?

Разыгрался сухой, жаркий день, но — небо мутное, точно пропылилось летней пылью до самых глубин и на багровый, без лучей шар солнца можно смотреть не мигая, как на луну.

— Я тебя ввел к делу, работой обрадовал, а ты мне . . .

За воротами, играя селезенкой, тяжело скачет лошадь, вот она поравнялась с домом Биркиных и кто-то хрипло кричит:

— Лес занялся — эй!

Хлопнула рама окна и тотчас же двор наполнился шумной, бестолковой суетой: из кухни выкатилась усатая баба, за нею — встрепанный, полуодетый Иона, из окна высунулась лысая, красивая голова Петра.

—Запрягайте скорей, батюшки!—кричал он плачущим голосом.

Губин уже вывел на двор жирную рыжую лошадь, Иона выкатил легкую бричку, Надежда — с крыльца — говорила ему:

— Иди, оденься сперва . . .

Баба распахнула ворота — прихрамывая и ведя на поводу взмыленную лошадь, во двор вошел маленький мужичек, в красной рубахе и веселым голосом заговорил:

— У двух местах началось, — от порубки и от могилы . . .

Все окружили его, охая и ахая, только Губин ловко и быстро запрягал лошадь, ни на кого не глядя, говоря мне сквозь зубы:

— Дождались . . . несчастный народ . . .

В воротах явилась нищая, воровато прищурила глаза и запела:

— Го-осподи Ису-усе . . .

— Бог подаст, Бог подаст! — испуганно махая руками крикнула Надежда побледнев. — Тут — несчастье, лес загорелся . . . после приходи!

Вдруг Петр, стоявший в окне, заполняя его, покачнулся назад в глубь комнаты и исчез, а на месте его явилась женщина, презрительно говоря:

— Что — настиг Господь? Обормоты, лентяи . . .

Ее волосы, седые на висках, были прикрыты шелковой головкой, шелк отливал на солнце и голова казалась железной. На ее лице, иконописном и точно закопченном дымом, двумя пятнами блестели никогда не виданные мною синие глаза без зрачков.

— Али вам не говорила, что просеку от могилы шире надо было вырубать, шайтаны . . .

Над маленьким острым носом женщины лежала глубокая, морщина и из нее к серебряным вискам расходились густые брови. Стало странно тихо, только лошадь шлепала копытом по грязи, а из окна непрерывно истекал густой, почти мужской голос, презрительно укоряя.

— Вот она — свекровь! — подумал я.

Губин кончил запрягать и сказал Ионе, тоном старшего:

— Ступай, оденься, чучело . . .

Когда Биркины с'ехали со двора, а за ними, взвалившись на потную лошадь, ускакал верховой, — женщина исчезла, но пустое окно стало как будто чернее, чем было прежде. Шлепая по лужам босыми ногами, Губин затворил ворота, мельком взглянул на меня и сказал:

— Ну, начнем . . . чего там!

— Яков! — густо позвали из дома.

Он вытянулся, как солдат.

— Поди-ко сюда . . .

Губин пошел ко крыльцу, четко топая ногами. Надежда, стоявшая на верхней ступени, повернулась боком к нему, неприятно сморщив лицо, а потом поманила меня к себе, тихонько кивая головою:

— Что он говорит, Яков-то?

— Ругает меня.

— За что?

— За то, что я сказал тебе . . .

Она тяжко вздохнула.

— Ах — смутьян! И чего ему надо?

Она обиженно надула губы и круглое, пустое лицо ее стало детским.

— О, Господи . . . чего людям надо?

По небу ширилась темно-серая туча, грозя бесконечным, осенним дождем. Из окна, ближайшего ко крыльцу, густой струей изливался голос свекрови, слов не слышно было, а только звук, как будто жужжало огромное веретено.

— Это — маменька, — тихонько молвила Надежда. — Она ему задаст! Она меня бережет . . .

Но я не слушал ее — меня поразили слова, сказанные за окном, спокойно, громко, с тяжелой уверенностью в их правде.

— А ты полно-ка, полно . . . Ведь это ты от безделья в праведники лезешь . . .

Я подвинулся ближе к окну — Надежда беспокойно сказала:

— Ты — куда? Тебе слушать не надобно . . .

А из окна доносилось:

— И бунтовство твое противу людей — от безделья, да со скуки, скушно тебе, ты и вздумал забаву, будто Богу служишь, будто правду любишь, а на деле ты — бесу работник . . .

Надежда дергала меня за рукав, стараясь отвести из-под окна — я сказал ей:

— Мне надо знать что он говорит . . .

Она усмехнулась, заглянув в лицо мне и доверчиво зашептала:

— Я ей покаялась: маменька, говорю, дошла до меня беда! У, ты, дура, говорит, да немножечко за косу меня потрепала, только и всего — она меня жалеет! . . Ей ничего, что я гуляю, ей ребеночка, внучка надо для имущества . . . наследника . . .

В комнате Губин крикнул:

— Если грех против закона, так . . .

Заглушая его, мерно потекли веские слова:

— Тут не везде грех, Яков Петрович, а иной раз просто ростет человек и тесно ему в законе. Бросаться друг на друга не надобы. Чего боимся? Все одинаково дураки перед Богом . . .

Она говорила скучновато или устало, очень медленно и внятно — Губин иногда бормотал что-то, но его слова не проникали сквозь ее мерную речь.

— Отсудить человека — не великое дело, Яков Петрович,

сударь мой, это всегда успеется — осудить! А ты — дай человеку развернуться до конца — ведь и во грехе польза бывает. Почитай-ко Минею: святые угодники Божии все до Господа сквозь грехи дошли, а — дошли таки! Это надобно помнить . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . А мы — торопимся осудить, да наказать . . .

— Выбила ты меня из жизни, Наталья Васильевна, — сказал Губин. — Как столкнусь я с тобой, да вспомню . . .

— Не надо вспоминать . . .

— Так и не вижу себя, и цены себе никакой не чувствую . . .

— Что было — прошло, а чему надо было быть — того не убежишь . . .

— И внутреннего состояния лишился я через тебя . . .

Надежда толкнула меня в бок и с веселым злорадством зашептала:

— Верно, значит говорили — видно, был он в любовниках у нее!

Но тотчас же опомнилась, испуганно прикрыла рот ладонью и сквозь пальцы говорит:

— Ой, Господи . . . что я? Ты — не верь . . . Злобятся на нее, очень умная она . . .

— Коли было злое — жалобой его не поправишь, — спокойно падают из окна слова женщины. — Кому что дадено, тот того и держись, а не удержал, значит — не по силам ноша.

— Все я на тебе потерял, оголила ты меня . . .

— Тобою — потеряно, а мной приумножено. Никогда ничего, Яков Петрович, в жизни не теряется, а просто переходит из рук в руки, от неумелого к умелому. Кость, собакой оглоданная, и та в дело идет.

— Вот я — кость! . .

— Зачем? Ты — человек еще . . .

— А что толку?

— Толк то есть, да не втолкан весь, Яков Петрович, сударь мой! На-ко, вот, возьми на гулянку себе, да иди с Богом . . . А женщину — не тронь, зря про нее не говори, чего не следует . . . это тебе во сне приснилось . . .

— Эх, — подавленно вскричал Губин. — Ну — ладно! Твой верх . . . не желаю я, не хочу огорчать тебя . . . а — все таки . . .

— Что — все таки?

— А то, что умнейшей твоей душе на том свете . . .

— Нам бы с тобой, Яков Петрович, на этом жизнь нашу с честью окончить, а на том, Бог даст, приспособимся . . .

— Ну . . . прощай!

За окном стало тихо. Потом тяжко вздохнула женщина.

— О, Господи . . .

Надежда мягко, точно кошка, отскочила ко крыльцу, а я — не успел. Губин, выйдя из двери, увидал, что я отхожу от окна. Он надул щеки, ощетинился рыжим волосом и красный, точно после драки, закричал, неожиданно высоким, злым криком:

— Ты — ты что? Долговязый чорт . . . Не желаю тебя, не хочу работать с тобой . . . иди прочь!

В окне явилось темное лицо, с большими синими глазами, — строгий, хозяйский голос спросил:

— Это что еще за шум?

— Не желаю я . . .

— Ты иди ругаться на улицу, а здесь нельзя!

— Да! — обиженно крикнула Надежда, топнув ногой. — Что это такое? Какие . . .

Выскочила кухарка, с ухватом в руках, воинственно встала рядом с Надеждой и закричала:

— Вот видите — что значит мужиков в доме нет! . .

Собираясь уходить я всматривался в лицо хозяйки: синие зрачки глаз были странно расширены, они почти прикрывали белки, оставляя вокруг себя только тонкий, синеватый же ободок. Эти странные, жгучие глаза были неподвижны, казались слепыми и выкатившимися из орбит, точно женщина подавилась чем-то и задыхается. Ее кадык выдавался вперед, как зоб. Шелк головки металлически блестел, и снова я невольно подумал:

— Железная голова . . .

Губин осел, обмяк, лениво переругивался с кухаркой и не смотрел на меня.

— Прощай, хозяйка, — сказал я, проходя мимо окна.

Женщина не сразу, но ласково откликнулась:

— Прощай, дружок, прощай . . .

И склонила голову, подобную молотку, высветленному многими ударами о твердое.

Нилушка.

Деревянный город Буев, не однажды до тла выгоравший, тесно сжался на угорье, над рекой Оберихой; дома с разноцветными ставнями, приникнув друг ко другу, запутанно кружатся около церквей и строгих присутственных мест; улицы, расторгая их темные кучи, лениво расползлись во все стороны и откидывают от себя узкие, как рукава, переулки; переулки слепо натыкаются на заборы огородов, стены амбаров и, когда смотришь на город сверху, с горы, кажется, — кто-то помешал его палкой и все в нем рассеял, на смех, и перепутал.

Только одна Большая Житная, тяжело поднимая от реки на гору каменные дома купцов, — в большинстве из немцев-колонистов, — режет, прямо и сурово, тесные груды деревянных построек, зеленые острова садов, отодвигает в сторону церкви и, проходя через Соборную площадь, тянется, — все так же неуклонно прямо, — в неплодное поле, покрытое дерном, к сосновому бору Михаил-Архангельского монастыря, — монастырь почти невидно скрыт за рыжею стеной старых сосен, подпирающих небо, и только в яркий солнечный день сквозь темную зелень хвои, приветно сияют золотые кресты, — желто-огненные птицы всегда немого, сказочного леса.

Домов за десять перед тем, как выйти Житной в поле, от нее налево потянулись к оврагу и спустились в него маленькие, в одно и два окна, присевшие к земле кельи слободы Толмачихи, основанной дворовыми людями именитого помещика Толмачева, который раскрепостил своих рабов за тринадцать лет до законной воли и за это был весьма горько обижен царем Николаем Павловичем . . . так что, с обиды, ушел в монастырь, где десять годов молчал и помер в тихой неизвестности, потому что богомолам и странникам не показывали его, — запрещено было вышней властью.

Как построились толмачи, приписавшись в мещане, полсотни лет тому назад, так и живут в девятнадцати хижинах и даже ни однажды не горели, хотя за это время, город, — исключая Житную — понемногу весь выгорел, — где в нем землю ни копай, всюду найдешь неистребимый уголь.

Стоит слобода, — как сказано, — на краю и по склону одного из рукавов глубокого ветвистого оврага, окнами к разинутому устью его; оно открывает вид на Мокрые луга за Оберихой и болотистый, еловый лес, куда опускается на ночь мутно-красное солнце.

Овраг растопырился по всему полю, обходя город со стороны заката; он вычурно изгрыз суглинистую землю и каждою весной все больше пожирает земли, сносит ее в реку, заваливая течение Оберихи, отводит мутную воду все дальше в луга — широкие луга становятся помаленьку болотом. Овраг зовут Великим, обрывистые бока его густо поросли тальником, ракитой и бурьяном, летом в нем прохладно, сыро и тогда он служит уютным местом свидания влюбленных бедняков города и слободы, местом их пирушек и, не редких, смертных драк, а зажиточные горожане сваливают в него мусор, трупы издохших кошек, собак, лошадей.

По дну оврага бежит, сладко звеня, Жандармский ключ, славный во всем Буеве вкусом кристальной студеной воды, такой студеной, что от нее и в знойный летний день зубы ломит; слобожане-толмачи считают эту воду своей целебной, гордятся ею, пьют только ее и оттого живут долго, — некоторые уже и не могут сосчитать свои года. Мужчины слободы занимаются рыбной ловлей, охотой, птицеводством, воровством; кроме сапожника Горькова, — чахоточного, худого, как скелет, и прозванного Чуланом, — в слободе нет ни одного ремесленника. Бабы — зимою шьют и чинят мешки на мельницу Зиммеля, щиплют паклю, летом — ходят в монастырский бор по грибы, по ягоды и в лес, за реку, по клюкву; есть две знаменитые гадалки, две — сводничают ловко и успешно. Город, конечно, всех мужчин-слобожан считает ворами, всех женщин и девиц — распутницами; город всячески старается стеснить, искоренить слободу, но все-таки немножко боится толмачей: подожгут, обокрадут, а могут и убить; толмачи презирают горожан за их скопидомство, черствость, жадность и болезненно завидуют их крепкой, сытой жизни.

Слобода так бедна, что и нищие не заходят в нее, — разве только в пьяном виде.

Тощие собаки, питаясь неведомо чем, воровато бродят со двора на двор, поджав хвосты в репьях, вывесив бескровные языки, завидя человека они стремительно бегут в овраг или покорно и раболепно ложатся на брюхо, ожидая неизбежной ругани, а то — пинка.

Из каждой щели, каждого дома, сквозь радужные стекла окон, с крыш, чиненых лубками, поросших бархатистым мохом, отовсюду, безнадежно и мертво, смотрит все подавляющая русская нищета.

На дворах толмачей растут ольха, бузина и всякие сорные травы, обильный репейник высовывается на улицу сквозь щели заборов, хватая проходящих за ноги, за подолы, под заборами густо жмется крапива, коварно обжигая малых ребят. Все дети — худенькие, голодные, все очень раздражительны, часто дерутся, подолгу плачут. Их немного, почти каждую весну в слободе бывает дифтерит; скарлатиной и корью болеют повально, как взрослые тифом.

Из всех звуков жизни в слободе чаще всего слышен плач и дикая ругань, но вообще в ней живется тихо, уныло и даже кошки весною мяукают негромко, подавленно.

Поет, когда она выпивши, одна Фелицата, баба озорница, хитрая и сводня; поет она каким-то особенно густым и словно шершавым голосом, с хрипотцой, с надрывом, закрыв глаза и далеко выгибая кадык.

Только бабы неугомонно суетливы, истерично шумны; целый день они, высоко подоткнув подолы, бегают вдоль улицы, выпрашивая друг у друга щепотку соли, мучки, ложку маслица; ругаются, ревут, бьют детей, тискают во рты маленьких иссосанные груди и снова — бегают, вертятся, орут, неустанно налаживая печальную жизнь. Все они истрепаны и грязны, у них дряблые щеки и на костлявых лицах — беспокойные глаза воровок, а если женщина полна, значит — больная, глаза ее тусклы и походка тяжела. Но почти все до сорока лет, каждую зиму беременеют и весною выходят на солнце с огромными животами и синевою истощения вокруг глаз, это не мешает им работать с тем же напряжением отчаяния, как работают они и порожние. Они — точно иголки и нитки: чья-то хлопотливая, упрямая рука

хочет заштопать их силой гнилую ткань, а она все расползается, рвется.

Первым человеком в слободе считается мой квартирохозяин Антипа Вологонов, маленький старичек, торговец «случайными вещами» и закладчик.

Он страдает застарелым ревматизмом, ноги в коленях выворочены у него, пальцы на руках кривые, опухли, не гнутся; он всегда держит руки в рукавах; кажется, что они не нужны ему, вынимает он их редко, осторожно, как бы боясь сломать.

Никогда не сердится, не горячится.

— Этого мне нельзя, — говорит он, — у меня сердце распухло и может лопнуть!

Скуластое лицо его, взрытое какими-то темно-красными шрамами, спокойно как у киргиза, на подбородке висят прямые нити серых, рыжих и желтых волос, они, почему-то, влажны. Косоватые изменчивые глаза прищурены, от густых разноцветных бровей на глазницы падают тени, на висках под редким волосом, бурно бьются синие жилы, и весь он вызывает впечатление чего-то пестрого, неуловимого.

Ходит раздражающе медленно, чему очень способствует странного покроя им самим придуманная одежда — смесь рясы, сарафана и поддевки, — полы ее связывают ему ноги, тогда он, остановясь, дрягает ногами, поэтому полы оборваны, обиты.

— Торопиться некуда, — об'ясняет он, — к своему месту на погосте всегда во время доспеешь!

Он говорит витиевато, очень любит церковные слова и всегда после них молчит немножко, как бы мысленно ставя за ними большую, тяжелую, черную точку; говорит он со всеми и много, явно стараясь утвердить за собою еще более крепко славу умного старика.

Хижина Вологонова, в три окна на улицу, разделена переборкой на две неровные комнаты; в большой, с русской печью, живет сам он, в маленькой — я. Сенями отделена клеть, где под тяжелым, старинным замком на двери, обитой кусками железа и жести, Антипа хранит заклады соседей: самовары, иконы, зимнюю одежду. Большой фигурный ключ от этой кладовой он носит на ремне суконных брюк за спиною и когда приходит полиция, посмотреть, нет ли у него краденых вещей, он долго,

больными руками, передвигает ключ со спины на живот, долго отвязывает его и солидно говорит околодочному или помощнику пристава:

— Никогда керминальных предметов я не держу. Ваши благородия, помнится мне, неоднократно удостоверялись в этой правде обидной . . .

Когда он садится, ключ стучит о спинку или сиденье стула и Вологонов, с трудом загибая руку за спину, щупает: не отвязался ли ключ? Мне, сквозь переборку, слышен каждый вздох старика, понятно каждое движение его.

Вечерами, когда мутное солнце опускается за рекою в сердитую щетину елей и даль, открытая мохнатым устьем оврага, дымится лиловатым туманом, — Вологонов садится у окна за стол, перед кургузым самоваром, с помятыми боками и злой, зеленой окисью вокруг решетки, крана, ручек.

То и дело раздаются в тишине вечера властные вопросы, уверенно ожидающие точных ответов.

— Дарька, — куда?

— На клю-уч, по воду-у, — жалобно поет тонкий голосок.

— А как сестра?

— Мучиится все ище . . .

— Ну, иди . . .

Старик легонько кашляет, очищая горло и потом поет дрожащим фальцетом:

— Сладкою стрелою
Быв уязвлена,
Страстью огневою
Я воспалена . . .

Шипит и булькает самовар; на улице — тяжелые шаги и мрачный голос говорит:

— Он думает, что ежели он городской, так непременно умный..

— Зазнаются очень люди . . .

— А я всем его мозгом сапога себе не помажу.

Прошли, и снова вьется фальцет старика:

— «Нищих людей озлобление» . . . Минька, стой! Подь сюда, сахару дам. Что отец, — пьяный?

— Отрезвел, давеча капусты с квасом нахлебался.

— Чего делает?

— Сидит за столом, думает . . .

— Бил мать-то?
— Нет еще.
— А она что?
— Спряталась . . .
— Ну, ступай, бегай . . .

Под окном неслышно является Фелицата, сорокалетняя женщина, с ястребиным взглядом холодно-веселых глаз и плотно сложенными в незаметную улыбочку яркими губами красивого рта. Она тоже знаменита в слободе; — сын ее, Нилушка — блаженный; знаменита она еще знанием всяких обрядов и великим уменьем вопить по усопшим, по рекрутам. У нее перебито бедро и ходит она сильно припадая на левый бок.

Бабы говорят, что Фелицата носит в себе «барскую кровинку» — вероятно это внушено холодной ласковостью, с которой Фелицата относится ко всем людям. Но и кроме этого в ней есть что-то особенное. У нее узкие, с длинными пальцами ладони, величавая посадка головы и в голосе ее всегда звучит нота металлическая, хотя и ржавая, тусклая. Говорит она обо всем — и о себе самой — грубо, откровенно, и в то же время так просто, что хотя и тяжело слушать ее речи, но назвать их грязными — не решаешься.

Однажды я слышал, как Вологонов упрекал ее за то, что она не умеет жить.

— Потерпела бы немножко, ан, глядишь и барыня! Госпожа своей жизни . . .

— Бывала я, друг, госпожей-то, — отвечала она, — это мною очень испытано! Животу моему такие ли орлы кланялись, бывалочка . . . уж и не знай, как я не ослепла от жару-полымя бесстыжих зенок ихних! А уж оцелована — как есть вся! Баба в любой раз госпожей быть может, — всего и дела только — рубаху сбросить, если Господь телом одарил. Нет, друг, на своей воле — лучше! Я себя по земле несу вроде ковша браги — пей, кому хочется, покуда есть чего пить . . .

— Ну, и бесстыже говоришь ты, — вздохнув сказал Вологонов.

Она засмеялась.

— Глядите-ко, непорочный какой!

Антипа говорит с нею в полголоса, осторожно, она отвечает громко и немножко вызывающе:

— Заходи чайку попить, — приглашает он, высовываясь в окно.

— Не хочу. Ой, чево я про тебя узнала . . .

— Не зевай! Чего это?

— Да уж узнала таки . . .

— Нечего про меня узнать . . .

— Все дознала!

— Все знает токмо един Господь, создавый от сущих всяческая.

Они долго шепчутся, потом Фелицата исчезает так же неслышно, как явилась, а старик долго сидит, не двигаясь и наконец вздыхает тяжко, ворчит:

— Охо-хо! Излия змии яд во слухи Евины . . . Помилуй мя, Боже, помилуй мя . . .

Но сердечного сокрушения не слышно в этих словах; мне всегда кажется, что старик любит их не за смысл, а только за то, что они особенные, — не обычные, слободские.

Иногда он стучит в переборку обмызганным аршином, в котором не более пятнадцати вершков, стучит и зовет:

— Стоялец! Чайку испить компанейски, — не хочешь-ли?

В первые дни знакомства он относился ко мне очень подозрительно, видимо считая меня полицейским сыщиком, потом стал смотреть в лицо мое с насмешливым любопытством. И всегда поучает:

— А читывал ты «Потерянный и развращенный рай?»

— Возвращенный.

Он отрицательно мотает разноцветной бородою:

— Рай был потерян Адамом, потому что развращен Евою, а возвратить его Господь не мог; — кто достоин возвратиться в сени райские? Никто!

Спорить с ним — бесполезно: молча выслушав возражение, он никогда не пытается опровергнуть его, а просто еще раз тем же тоном и буквально повторяет свои слова:

— Рай был потерян Адамом, потому что развращен Евою . . .

Чаще всего он говорил мне о женщинах:

— Как ты есть молодой человек, то керминальный предмет этот стоит для тебя поперек всего, ибо «род человечь порабощен мучительным грехолюбием» — сиречь — Змием. Женщина —

первая помеха всякому делу в жизни сей, как утверждается всеми историями; от нее же главное беспокойство: «ядом исполненна, Змии зубы в тя вонзе», — Змий же суть плотское вожделение. Змием возбуждены, греки разрушали даже города целые: Трою, Картагену и Египет; из-за любовной страсти к сестре Александра Павловича Наполеон на Русь приходил. Мухамеданские нации, — а также и жиды — понимают это издревле, они женщину держат в полном затмении, на заднем дворе. А у нас — безобразная распущенность, под руку с бабами ходим и даже дозволено им лекарихами быть, зубы дергают и прочее, тогда как следовало бы пускать их не дале повивальных бабок. Женщина должна служить для приплода, почему и дано ей зазорное имя: «неискусобрачная невесто».

Около печи, на грязной стене, оклеенной «обязательными постановлениями» и рыжими листами каких-то рукописей, толчется, щелкает маятник небольших часов; на одной гире привешен молоток и подкова, на другой — медный пест. Множество икон в углу, поблескивает серебро «аплике» и золоченые венчики над черными кружками лиц. Чело тяжелой печи скучно смотрит в окно на зеленые сады Житной, за оврагом, там светло и красочно, а в конуре Вологонова стоит пыльный сумрак, запах сушеных грибов, листового табаку, конопляного масла.

Спокойно помешав истертой ложечкой очень крепкий, перепареный чай, он нюхает ложечку и говорит, вздохнув:

— Я всякую жизнь испытал, я все знаю, меня надобно слушать со вниманием и все слушают, кто — живая душа, а о прочих сказано: «В дому Давидовом страшная совершаются: огонь бо там попаляя всяк срамной ум».

Слова его точно кирпичи и холодно возводят все выше вокруг меня тяжкие, темные стены каких-то странных, ненужных событий, непонятных драм.

— Полуконов, Митрий Ермолаев, бывший градским головой, отчего преждесрочно помер? От неподобающих затей: отправил старшего сына в Казань, якобы для науки, а тот, на второе лето жидовочку кудрявую привез с собой и говорит: «жить без нее не могу в ней вся душа моя и вся моя сила!» Вот оно! С того и началась разруха: Яшка — пить, жидовка — плакать, а Митрий ходит по городу сам не свой и приглашает всех: «Глядите, людие и братия, до чего я дожил!» И хоша оная

жидовка, сделавши неправильно выкидыш, с того издохла, потеряв всю кровь, но — прежнее не взыграло: Яшка окончательно пропал — спился, а отец — «смерти преждесрочной жертва нощная». Разрушилась жизнь, а причина тому «терноносный еврейский сонм». Но, однако, и еврей — своей судьбы человек, судьбу же палкой не погонишь, судьба наша ленивая, идет она тихо, — тихо идет, а перегнать нельзя!

Глаза его все время меняют цвет; то они мутно-серые, усталые, то голубеют и печальны, — чаще всего в них сверкают зеленые искры равнодушного злорадства.

— И Капустины, семья крепкая, разбилась в прах, в ничтожество. Все хотели перемен, располагались по новому, рояль завели. Только Валентин еще на ногах, да и тот синий пьяница, хоша и доктор. Отек весь, хрипит, глаза рачьи, страшные — выворотило, а сорока годов еще не прожил! Так и Капустиных «мертвыми показа!»

Он говорит с непоколебимой уверенностью, что иначе не может, не могло быть — бестолковые, нелепые явления жизни неизбежно законны.

— То же будет и Осьмухиным: не дружи с немцами, не заводи дела никчемного! Вона, — пивной завод строить измыслили. У нас тут всякая баба пиво может варить, а народ-то наш не пьет его, к вину привык. Народ у нас сразу хочет достичь желаемого: шкалик водки действительней пяти кружек пива ошеломит . . . У нас народ любит простоту во всем: родился человек слеп, а вдруг — прозрел! Это — перемена! Илья Муромской тридцать три года сиднем сидел, выждал время, да — пошел! А которые не умеют ожидать в окружении скромности . . .

За окнами, по красному небу белыми лебедями плывут в даль облака; овраг лежит на земле медвежьей шубой: кто-то сказочно огромный сбросил ее с широких плеч и, должно быть, — ушел, убежал за луга, за леса. Многое вокруг напоминает старинную, жуткую сказку, больше всего сам Антипа Вологонов, человек, который страшно много знает о неудачах жизни людской и любит рассказывать о них.

На минуту замолчит, со свистом схлебывая сложенными бантиком губами рыжий чай с блюдца, прочно поставленного на растопыренные пальцы правой руки, потом, обсосав мокрые

усы, снова, ровным голосом начинает размеренную речь, точно читая Псалтирь.

— Видал на Житной, лавочку Асеева, старика? Было у него десятеро сыновей, шестеро до возраста примерли: старшой, — певчий хороший, — был сумасброд, книгочей — и будучи в солдатах денщиком, в Ташкенте начальника своего с женою прирезал, а сам пристрелился. Есть слушок, что он с женой-то начальниковой любовь крутил, а она ему отказала, снова к мужу прилежа. Григорий в вышних училищах учился, в Петербурге и — с ума сошел. Лексей, тоже по воинской части пошел, по коннице, а теперь в цырках ездит и — пьянствует наверно. А самый младший, Николай, бежал из дому в молодых еще годах и, неведомыми путями, оказался в Норвежской земле, в холодных морях рыбу, какую-то, ловит. Извратился, забыл, что у нас своей рыбы предостаточно — довольно! А тем временем отец все свое имение в монастырь отписал, — вот те и рыба холодных морей!

Он понижает голос и как-то по собачьи сердито ворчит:

— Тоже вот и у меня дети были. Один убит в сражении при Кушке, — я об этом бумагу имею; другой в пьяном состоянии потонул, трое померли во младенчестве. Двое — живы: об одном знаю, что швейцарцем служит в Смоленске при гостиннице, другой, Мелентий, пошел по духовной части, в семинарии учился, еще куда-то понесло и — пропал! В Сибирь заслали. Вот как. Русский человек — легкий, ежели он себя не забьет куда-нибудь в одно место по самую голову, то обязательно летит, ветром гоним, подобно куриному перу. Семиверы все мы и будоражные. Я-де рыболов, ан, просто — безголов. Не понимает молодость низости своей. Ждать не умеет . . .

Речь старика течет как вода из водосточной трубы в непогожий, холодный день осени; покачивая серой бородою он говорит, говорит и постепенно я начинаю думать, что именно он злой колдун и хозяин этой, от всего далекой земли, болотистой, изгрызанной оврагами, неплодной. Это он нарочито неуютно сунул город в глинистую лощину, смешал, сбил в кучи дома, спутал улицы; он равнодушно творит непонятно грубую и жестокую, убийственно скучную жизнь; он набивает головы людей бессвязной жуткой чепухой, сушит их сердца страхом перед жизнью. В долгую, шестимесячную зиму, гонит с поля

на город злые вьюги, сжимает дома морозами так, что бревна трещат и жгучий холод на смерть бьет птицу; летом почти ежегодно насылает страшные ночные пожары и они слизывают кучи домов.

Он молчит, двигая зубастыми челюстями, борода его трясется, в глазах — синеватый, угарный огонь, кривые пальцы шевелятся точно черви.

Теперь он и внешне похож на злого колдуна.

Однажды я спросил:

— Чего же людям ждать-то?

Он долго дергал себя за бороду, щурил глаза, приглядываясь к чему-то сзади меня и, наконец, тихо, внушительно ответил:

— Приидет некогда человек странний и возгласит мирови собезначальное слово. Кто знает, когда приидет он? Никто. Кому ведомы чудеса творящее слово его? Никому же . . .

Мимо окна моей комнаты плывет, подпрыгивая, прекрасная, в золотых кудрях, голова дурачка Нилушки, как будто сама земля любовно подбрасывает его. Он похож на ангела древнего письма с южных или северных врат старенькой церкви; его смуглое лицо закопчено дымом воска и масла, васильковые глаза светятся неземною, холодной улыбкой. Он в розовой — ниже колен — рубахе, ступни ног у него черные, в цыпках, тонкие икры стройны, белы, как у женщины, и покрыты золотым пухом.

Прыгая на одной ноге и улыбаясь, он взмахивает руками, — широкие рукава и полы рубахи взлетают на воздух, — Нилушка точно теплым облаком окутан и поет детским голосом, пришептывая, заикаясь:

— О-осподи, помилуй!
Во-олоки б'егут,
Шоба-баки б'егут,
Ок'отники стоят
Волоков стелегут! . .
Осподи помилуй . . .

Поет и — весь светится теплым светом всему чужого веселья, легкий такой, приятный, внутренно чистый, легко вызывающий добрые улыбки, мягкие чувства. Когда он на улице, — слобода живет тише, кажется благообразнее, люди смотрят на безумца более ласково, чем на своих детей, кажется, что

даже самым злым он близок и мил. Летя в золотисто-пыльном воздухе, его тонкая, стройная фигурка, должно быть, всем одинаково напоминает церковь, ангелов, Бога, рай; все смотрят на него каким-то общим взглядом: задумчиво, немножко испытующе, немножко боязливо.

Но вот он увидал лживый блеск осколка стекла, наглое сверкание меди, отражающей солнце — он сразу останавливается, сквозь кожу его лица проступает серый мертвый пепел, улыбка исчезла, помутившиеся глаза отупели, неестественно выкатившись. Он весь изгибается, смотрит, торопливо крестясь худенькой ручкой, ноги его мелко дрожат, а рубаха точно струится вдоль тонкого, некрепкого тела. Немой ужас делает каменным его круглое лицо. Он может стоять так час и более, полумертвый, до поры, пока кто-нибудь не отведет его домой.

Говорят, что он и родился «придурковатым», а окончательно обезумел пять лет тому назад, во время большого пожара и с той поры все, что похоже на огонь, — все, кроме солнца — вызывает у Нилушки оцепенение тихого ужаса. Слобожане часто толкуют о нем:

— Вот дурачек, а — помрет, — может святой будет и все припадем к нему и поклонимся . . .

Но, иногда, над ним жестоко шутят: он идет, подскакивая и напевая детским голоском, а кто-нибудь скучающий вдруг крикнет из окна или в щель забора:

— Нилушка — горим!

Ангелоподобный дурачек, как подрубленный под колени, падает грудью на землю и, в судорогах, охватив золотистую голову всегда грязными руками, катится по земле к забору, к дому, в тень, обнажая и пачкая в пыли отроческое тело свое.

А испугавший, посмеиваясь, сожалительно восклицает:

— Ах ты, Господи . . . до чего глуп парнишка!

Спросишь:

— Зачем вы его пугаете?

— Забавно все-таки! Он, ведь, по человечьи не чувствует, людям же — охота пошутить.

Все понимающий Антипа Вологонов внушительно поясняет:

— И Христа пугали, и Христос был гоним. А — чего ради? Ради испытания в прямоте и силе. Людям обязательно надобно

знать, что есть настоящее и что — не есть настоящее. Очень много на земле греха-горя оттого исходит, что часто за настоящее принимается предстоящее и люди торопятся поспешно, тогда как надо тихо ожидать, испытуя.

Он относится к Нилушке внимательно и часто беседует с ним.

— Богу молись, — говорит он, указывая кривым пальцем в небо, а другою рукой дергая свою трепаную, пеструю бороду.

Нилушка, боязливо глядя на темный палец, быстро тыкает себя щепотью в лоб, плечи, живот и тоненько, жалобно поет:

— Оче нас неси . . .

— Иже еси! . . .

— Неси на небеси . . .

— Ну, ладно, Бог поймет, он блаженьким близок.

Нилушку интересует все шарообразное и он очень любит щупать черепа детей: подойдет тихонько сзади к ребятишкам и вдруг, с тихой, светлой улыбкой положит на чью-нибудь гладко остриженную голову свои тонкие, костяные пальцы.

Дети не терпят этих прикосновений, пугаются их, бегут прочь и дразнят издали дурачка, показывая ему язык и натягивая носа:

— Нилка, бутылка, башка без затылка!

Он не боится их и они его не бьют, разве иногда бросят в него стоптанным башмаком, чуркой, но и бросают, не целясь не желая попасть.

Круглое — колеса игрушек, блюдечки — тоже возбуждает внимание Нилушки, но мячи и шары он любит, гладит, ласкает их, а круглый предмет, видимо, волнует его: он быстро вертит его в руках, щупает плоскости и бормочет:

— А — другое?

— Понять бы, что значит — другое? — озабоченно говорит Антипа и, притягивая к себе дурачка допытывается:

— Зачем тебе другое?

Нилушка боится, дрожит, пытается сказать что-то непослушным языком, пальцы его быстро вертят круг:

— Нету . . .

— Чего нет?

— Тут — нету . . .

— Н-да, глуп достаточно, — вздыхая говорит Вологонов и глаза его задумчиво синеют.

— Дурак, а позавидуешь . . .

— Чему?

— Вообще. Проживет без заботы, в сытости и даже в почете у всех. Понять его нельзя и все пред ним ходят в страхе, — всем известно, что безумные, да блаженные любезны Господу превыше умников. Дело — премудрое, особенно, ежели вспомнить, что блаженные — во святых, а дерзновенные — где? Вот оно . . .

И Вологонов, вдумчиво хмуря густые, с чужого лица брови, прячет руки глубоко в рукава, не отводя от Нилушки испытующего взгляда неуловимых глаз.

Фелицата нетвердо помнила, кто именно был отцом ее сына; я знал, что она называла двоих: какого-то «межевого студента» и купца Выпороткова, всему городу известного силача, буяна и гуляку. Но однажды, когда она с Антипом и со мною сидела у ворот, балагуря, и я спросил ее жив ли Нилушкин отец — она пренебрежительно сказала:

— Жив, да пёс ли в нем!

— А кто он?

Как всегда облизывая кончиком языка сухие, красивые губы, она ответила:

— Монашек один . . .

— Это — всего проще! — вдруг живо воскликнул Вологонов. — Это самое бы доступное уму.

Он долго и ни мало не стесняясь подробностями об'яснял, почему именно монашек мог быть родителем Нилушки предпочтительно пред купцом и «межевым», говорил и, несвойственно для него, горячился; даже всплеснул руками, но тотчас же охнул от боли, сморщился и уже с упреком сказал женщине:

— Что же это ты раньше-то болтала? . . Эх, зря!

Фелицата, улыбаясь, присматривалась к старику, в карих зрачках ее горел насмешливый и наглый огонек.

— Я была тогда хорошая, всем желанная, сердца доброго, нрава веселого, — пела она, жмурясь и притворно вздыхая.

— Монашек — это бо-ольшое обстоятельство! — задумчиво сказал Антипа.

— Очень меня мущины изыскивали для радостей своих, — вспоминала Фелицата.

Вологонов приподнялся, покрякивая, дернул ее за рукав сатиновой кофты цвета бордо и строго сказал:

— Пойдем-ка ко мне, дело есть некакое!

Она усмехнулась, подмигнув мне, и — пошли: старик — бережно передвигая изуродованные ноги, женщина — точно примеряясь как бы удобнее ей свалиться на левый бок.

С этого вечера почти ежедневно Фелицата приходила к Вологонову, часа по два они пили чай, и я слышал сквозь переборку неутомимый, поучащий мерный голос старика:

— А слушочки, слушки эти надобно пускать осторожно, с сомнением: говорит-де невразумительно, а кое-какой смысел — есть, и, будто, — прорицает . . .

— Разумею . . .

— Потом, сон какой-нибудь, к делу подходящий, надобно тебе увидать. Например: исходит из претемного леса старец некий, глаголет; «Фелицата, раба Божия, грешница душесмрадная . . .»

— Ну, заскрипел . . .

— Помолчи, неразумие! Бывает — и хула над собою выгоднеполезней хвалы. Да, так значит, видишь-слышишь ты: «Фелицата, повелеваю тебе, — иди прямо и сделай то, о чем тебя встречный попросит!» Ну, ты и пошла бы, а он — тут и есть, монашек-то . . .

— А-а-а, — догадливо тянет женщина . . .

— То-то! Дуреха . . .

— Вот как, значит . . .

— Али я худу научил кого?

— Ну-ну-ну . . .

— У меня тут ума на тыщу человек да еще с гаком . . .

— Это — известно, — согласилась Фелицата.

В другой раз Антипа сожалительно ворчал:

— Не хорошо, что слова у него все простые! Не подходят они в эдаком деле, тут нужны слова темные, многозначные, — многозначность слов скорее внушит людям почтение-внимание к ним.

— Это — зачем? — спросила Фелицата.

Вологонов сердито об'яснил:

— Зачем, зачем! Почитать-то надо кого-нибудь, али нет? Он почету достоин, будучи вовсе безвредным для людей, да безвредные-то не заметны. И тебе надо заняться этим — учить его словам иных красок, помудреней, позвончей . . .

— Да я не знаю никаких эдаких-то . . .

— Я те скажу, а ты, когда он спать ложится, внушай ему. Например «адом исполнены — покайтесь!» Слова тут нужны церковные, строгие: «душеубийцы, пожалейте Бога, окаяннии!» Гляди, — не «окаянные», а «окаяннии!» Хоша . . . это пожалуй крутенько, не годно . . . Ну, да я сам займусь этим исподволь . . .

— Уж ты лучше сам . . .

Вологонов начал все чаще останавливать Нилушку на улице, ласково внушая ему что-то, а иногда брал за руку, вел к себе в комнату и там, угощая дурачка чем-то, просил сладко:

— Ну-ко-ся, скажи: не торопитесь, людие! Ну?

— Фонарик, — кротко говорил Нилушка.

— Фонарик, говоришь? Н-да. Ну, ладно; скажи: фонарик я вам . . .

— Петь надо.

— Это ничего, пой, это очень подходяще! Однако и говорить надо тоже. Скажи-ка: круговращение Велиалово! Говори, ну?

— О-осподи помилуй, — тихонько, задумчиво поет дурачек и вдруг говорит ласковым голоском ребенка:

— Помирать надо . . .

— На-ко, вот! — огорченно восклицает Вологонов. — Бухнул чего! Это и без тебя, дружок, известно, поспеем, помрем. Во-истину, глуп ты свыше всякой надобности в этом! Пустодействие выходит у нас. Ну-ко, выговори: пустодействие?

— Шобабаки . . .

— Собаки? Годится. Ах, ты, цыпленок!

— Шобабаки цыпленками бегут туда-туда — ух! — овраг . . . — бормочет Нилушка, точно трехлетний.

— Это можно принять иносказательно, это ничего, многозначно! А теперь скажи: «разверзнется пропасть на пути поспешающего», — ну-ко?

— Петь надо . . .

Тяжело и шипуче вздыхая, Вологонов говорит:

— Трудно с тобою, все-таки!

Он осторожно шаркает по полу больными ногами, а тоненький голосок дурачка выводит:

— Осподи, поми-илуй . . .

Красавец Нилушка был необходим в грязной, нищенской и больной жизни слободы, он оттенял и завершал собою ее ненужность, бессмыслие, безобразие.

Был он подобен яблоку, забытому на старой, кривой яблоне, сплошь покрытой лишаями, — с нее уже сняты все плоды, она сбросила все листья и дрожит на осеннем ветре: был он похож на картинку, единственную в истрепанной, запачканной книге без начала и конца, книге, которую уже нельзя и не стоит читать — ничего не поймешь в ней.

И когда он, улыбаясь ласково, шел мимо приплюснутых, гнилых домов, мимо щелявых заборов и буйных зарослей крапивы, такой сказочный и жалобный, в памяти вставали со страшной быстротою, сменяя друг друга, образы лучших и любимых людей русской земли: бесконечной вереницей мимо сердца шли житийные люди, в страхе за душу свою удалявшиеся от жизни в леса и трущобы, от людей к зверям. Вспоминались стихи слепых и нищих, песнь об Алексие, Божьем человеке и множество красивых, но безжизненных образов, в которые Русь вложила свою напуганную, печальную душу, свое покорное, певучее горе. Было очень тяжело, почти до безумия.

Но однажды я как будто забыл, что Нилушка — дурачек, — непобедимо захотелось говорить с ним, читать ему хорошие стихи, рассказывать о юных надеждах мира, и о своих думах.

Я сидел на обрыве оврага, свесив ноги вниз, а он, точно плывя по воздуху, шел ко мне с широким листом лопуха в тонких, как у девочки, пальцах, шел он и, весь какой-то голубой, улыбался, ясными глазами, глядя на лист.

— Куда ты, Нилушка?

Он вздрогнул, поднял голову, взглянул в небо и — боязливо — в синеватый сумрак оврага, а затем уже протянул мне лопух: Божия коровка ползала по морщинам лопуха.

— Букан.

— Куда ты несешь его?

— Помирать надо. Хоронить.

— Он — живой. Живых не хоронят.

Нилушка дважды медленно закрыл и открыл глаза.

— Надо петь . . .

— Ты скажи мне что-нибудь!

Он заглянул одним глазом в овраг, розовые ноздри его вздрогнули, расширились; вздохнув, он скучно выговорил похабное слово. На шее у него, ниже правого уха, крупная родинка, густо покрытая золотисто-бархатным волосом, она похожа на пчелу; около нее слабо бьется жила и странно оживляет ее.

Божия коровка приподняла надкрылия, собираясь лететь. Нилушка хотел придержать ее пальцем и выронил лист, а пока лопух падал, насекомое отделилось от него и полетело низко над землей. Согнувшись, вытянув руки, дурачек тихо пошел вслед за ним, точно направляя ленивый его полет. Шагах в десяти от меня, он остановился, поднял лицо в небо и долго стоял так, опустив руки вдоль тела, вытянув ладони горизонтально, как-бы опираясь ими на что-то невидимое мне.

Из оврага тянутся к солнцу зеленые прутья вербы, какие-то скучно-желтые цветы и серая полынь; сырые трещины в глине обрыва покрыты круглым листом «мать-мачехи». Перепархивают серенькие пичужки; из кустов, со дна оврага тянет влажным запахом гнили. Небо — чисто; одинокое солнце опускается в темные болота заречья. Над крышами Житной неохотно порхают белые голуби, под ними качается черное помело, сметая их из пустоты. Издали течет сердитая воркотня города, — звук невеселый, темный.

В слободе, старчески взвизгивая, плачет ребенок, этот плач напоминает чтение дьячка за вечерней, в пустой церкви.

Не спеша, задумчиво опустив лохматую голову, мимо меня идет рыжая собака, с красными мокрыми глазами пьяницы.

А за последним домом слободы, на краю оврага, лицом к солнцу, спиною к городу, стоит, словно собираясь улететь, стройный, тоненький мальчик, всему чужой, все ласкающий неизменно-неразумной улыбкой ангельских глаз. Мне кажется, что я вижу его золотистую родинку, так похожую на пчелу.

Через две недели после этого, в полдень воскресенья, он неожиданно и странно помер: пришел домой от поздней обедни, отдал матери поданные ему милостыней две просфоры и сказал ей:

— Постели на сундуке, помирать лягу . . .

Фелицату не удивили эти слова, он и раньше, ложась спать, часто говорил:

— Помирать надо.

Ложился и, до времени, пока не заснет, — пел тихонько свою песню и бесконечное, всегдашнее:

— Осподи помилуй!

Так и теперь он спокойно лег вверх лицом, сложил руки на груди, закрыл глаза, но не пел, а тотчас заснул.

Мать, пообедав, ушла к своим делам, воротилась домой перед вечером и когда, удивленная долгим сном сына, подошла к нему, то увидала, что он мертвый.

— Гляжу я, — певуче рассказывала она слобожанам, сбежавшимся к ее двору, — а и ноготки у него синие; ручки-то я ему перед обедней вымыла чистехонько, с мыльцем, так мне и видно — ноготки-то не белые! Тронула за ручку его, а ручка окостенела уж.

Лицо у нее было испуганное, побуревшее, но сквозь слезы в ласковых глазах блестело умиление, почти радость.

— Тут я вникла, пала перед ним на коленки, завопила: батюшка, куда ты? Господи, кого ты у меня отнял?

Склонив голову к левому плечу, заведя шельмоватые глаза под лоб и прижав руки ко грудям, она принялась вопить:

— Ой, да погас голубой мой, ясный месяц,
Сокатилася моя тихая звездушка,
Во темное она пала окиян-море
Сокатилась звезда, ой, да-погасла,
А и до веку она, душа, не вспыхнет
До второго-то Христосова сошествия не воспылает!

— Да постой! погоди! — с досадой кричал Вологонов.

Я только что пришел из леса и, стоя под окном Фелицатиной хижины, не узнавал озорниковатых слобожан: тихонько, подавленно гудя, перешептываясь, они приподнимались на носки, вытягивали шеи и, наваливаясь друг на друга, заглядывали в черную дыру окна, точно пчелы в леток улья и почти на всех лицах, во всех глазах трепетало напряженное, пугливое ожидание чего-то.

Только Вологонов громко и властно говорил, толкая Фелицату плечом:

— Успеешь вопить, допрежде надо запомнить обстоятельства . . .

Женщина вытерла рукавом кофты мокрые глаза, облизала

губы и длительно вздохнув, уставилась в красное изжеванное лицо Антипы счастливым, сияющим взглядом хмельного человека. Из-под белого платка на виски и на правую щеку ее выбились золотистые пряди волос; она казалась в этот час моложе своих лет, вся как-то выпрямилась, выше подняла голову и грудь ее, возбужденно напрягаясь, растягивала петли кофты. Все смотрели на нее внимательно, молча и, как будто, немножко завистливо.

Старик быстро и сухо спрашивал ее:

— На нездоровье не жаловался?

— Ничегошеньки не молвил, ни словечушка!

— Бит не был?

— Что ты, вековой, когда я его . . .

— Да — не ты!

— А этого — не ведаю. Тельце все чистенькое, я рубашечку подняла, поглядела, — ничего нет, только на ножках царапинки, разве — со спины . . .

Она говорила новым, окрепшим голосом и, томно прикрывая сияющие глаза, тихонько, как-то сладостно охала, шумно и глубоко вздыхала.

Кто-то проворчал:

— Накатывает . . .

— Чего?

— Ярится, мол . . .

После десятка хорошо обдуманных вопросов, Антипа с минуту внушительно помолчал и этим заставил онеметь всех людей, точно усыпил их. Потом заговорил, покашливая:

— Будемте думать, православные, что посетил нас Господь велией Его милостью, ибо, по всему видать, что блаженный, светлый отрок наш — близок бысть Преблагому устроителю живота нашего . . .

Я отошел прочь; великая скорбь бешено сдавила сердце и хотелось еще раз взглянуть на Нилушку.

Хижина Фелицаты задней половиной осела в землю, а передняя завалилась и единственное окно ее, с под'емной рамой, смотрело холодным стеклом далеко в небо. Я влез, согнувшись, в открытую дверь: Нилушка лежал близко к порогу, у стены, на узком сундуке; темная, кумачная наволока подушки хорошо выделяла его круглое, голубовато-бледное, простое лицо в

золотом венце кудрей. Глаза были закрыты крепко и губы тоже плотно сжаты, а, все-таки, казалось, что он тихо и радостно улыбается. Тонкие по локоть голые руки, сложенные на груди, и весь он длинненький и тонкий, босоногий, лежа на темном войлоке, теперь напоминал не ангела, а изображение святого отрока, — какую-то старинную, темную, с детства знакомую икону.

В синем сумраке совсем тихо, даже мухи не жужжали, только с улицы в стекло закрытого окна толкался сильный, шаршавый голос Фелицаты, легко выводя заунывный узор необычных слов:

— Соприткнуся я грудью белою да жаркою сырой земле.
Ты-ль, родимушка подавная сыра земля,
Тебя просит, сердцем молит мать бессчастная.
Да приими-ка ты усопшее дитя мое,
Моего-ль сердца кровинушку рубинову! . .

В двери встал, отирая глаза тылом ладони Антипа Васильев, и выговорил, глухо дрожащим голосом:

— Знаменито вопит, шкуреха! . . Только не того часа стих взяла, этот стих вопят на погосте, у могилы . . . Все надо знать . . . все надо знать!

Крестясь неверною рукой, он смерил труп Нилушки внимательным взглядом, остановил мокрые, красные собачьи глаза на милом лице и молвил угрюмо:

— Больше стал, увеличила смерть. Да . . . вон оно! И я скоро вот эдак-же окончательно выпрямлюсь. Мне — весьма даже пора бы!

Осторожно шевеля уродливыми пальцами, он стал оправлять складки рубахи усопшего, натягивал ее на ноги Нилушки и чмокал темными губами.

Я спросил:

— Чего вы хотели от него, зачем учили разным словам?

Он разогнулся, тускло посмотрел на меня:

— Чего хотел-то?

И смешно вздернул голову, ответил, — как будто, — искренно:

— Не знаю, браток, чего мне хотелось, ей-богу, не знаю! Коли правду сказать перед ликом смерти, так надо бы мне сказать просто: всю долгую жизнь мою не знал я, чего хотел лучше . . . Так, вообще . . . ожидал, что судьба подскажет.

А моя судьба — без'язычна оказалась, вовсе немая. Да и глуха, будто притом. Все ждал, а вдруг что и выйдет, чудесное, нежданное?

Усмехнувшись, он указал глазами на труп отрока и более решительно продолжал:

— А — тут хотеть мне нечего было. Хоти — не хоти, все едино, ничего не достигнешь. Как и вообще, во всем. Фелицате — бабенка хитрая, холодного сердца — ей, конечно, желается, чтобы сына блаженно-праведным признали; — это бы ей на старость — кусок!

— Да ведь это вы же сами внушали ей, ведь и вам этого хотелось!

— Мне?

Он спрятал руки в рукава и скучным голосом отрывисто сказал:

— Ну, и мне! А, — что же? Это, все-таки, утешеньишко людишкам-то . . . иной раз — жалко их, очень маятно живут, очень горько! А тут — жили-были стервы подлецы, а нажили праведника!

За окном пылало вечернее небо и разносился скорбный вопль:

— Как прикроется земля-то снегом белым,
Во чистое поле выйдут волки лютые,
Заскорбят они, завоют о весне-тепле, —
Тут и я с ними завою о милом сынке!

Вологонов прислушался и уверенно сказал:

— Вот это уж по настоящему, яростно накатило на нее! Это — истово-законно, да! Она, ведь, и в пенье, как в распутстве — безудержная! Накатит на нее бабьего сердца грызь, и, — нет Фелицатке нигде предела . . . Ее, однажды, молодые купцы по Житной везли в коляске вовсе голую: сидят двое, а она промежду их стоймя — стоит в неприкрытом естестве — на-тека, извольте! После, в части, едва не убили ее до смерти . . .

Я вышел в темные тесные сенцы; Антипа, держась за меня, шел сзади и ворчал:

— Все — от великой тоски.

Фелицата крепко стояла под окном, закрывая его спиною; прижав руки к грудям, она закинула в небо встрепанную; голову, платок сбился, вечерний ветер, тихо перебирал рыже-

ватые тонкие волосы, осыпавшие ее потемневшее, острое лицо, широко раскрытые глаза ее безумно выкатились и, необычная, жуткая, почти страшная, она неистощимо выла, еще более окрепшим струнным голосом:

— Ой, да ветры ледяные, злые, вьюжные!
Вы сожмите мое сердце крепко-накрепко,
Одолейте, заморозьте кровь кипучую,
Чтобы мне ее слезами всю не выплакать! . .

Тесной кучей стояли пред нею бабы, жадно глядя в безумное, скорбно-окаменевшее лицо и тихонько плакали. Через темное, мохнатое устье оврага видно солнце, оно опустилось ниже слободы, как будто навсегда хочет уйти в болотный лес. В красный диск его воткнулись острые, черные вершины елей, и все вокруг красно, — словно раненое солнце истекает кровью.

Кладбище.

В степном городе, где мне жилось очень скучно, всего лучше и красивее было кладбище, — я часто гулял на нем и однажды заснул в ложбине между двух могил, как в люльке, на густой и сочной, сладко пахучей траве.

Меня разбудили удары о землю близко моей головы, мягко отталкивая меня, земля вздрагивала, гудела, — я вскочил, сел, сон был крепок и глаза, ослепленные его бездонной тьмою, не сразу поняли в чем дело: в золотистом огне июньского солнца, жутко качалось темное пятно, прильнув к серому кресту, а крест тихонько скрипел.

Потом — неприятно быстро — это сверкающее пятно приняло формы человека: держась рукою за крыло креста, стоял небольшой старичек, остролицый, с густым клочком серебряных волос под нижней губою и воинственно закрученными вверх толстыми белыми усами.

Вытянув руку в воздух и покачивая ею, он сосредоточенно бил каблуком в землю, искоса бросая на меня сухие взгляды темных глаз.

— Что такое?

— Змея, — ответил он барским баском и указал длинным пальцем с перстнем на нем под ноги себе: — на узкой тропе, прикрытой травою, вздрагивал маленький ужик, судорожно поводя хвостом.

— Это — уж, — сказал я сердито.

Старик отшвырнул носком сапога тускло блестевший жгут, приподнял соломенную шляпу и, шагая твердо, пошел прочь.

— Благодарю вас, — сказал я; он, не оборачиваясь, отозвался:

— Если это — уж, тогда опасности не было . . .

И быстро исчез среди памятников.

Я взглянул в небо, — было около пяти часов.

Вздыхал над могилами степной ветер, тихонько покачивая стебли трав; в теплом воздухе плыл шелковый шелест берез, лип, ольхи и густых кустарников. В летнем шорохе кладбища слышна покорная грусть, — она вызывает какие-то особенно прямые и честные мысли о жизни, о людях.

Покрыв тяжелым шатром зелени холмы, белый и серый камень памятников, вытертые снегом, вымытые дождями кресты и решетки оград, — богатая растительность скрывает близость чумазого города, осыпанного черноземной пылью, жирной, как сажа, задерживает его мутный шум, пыль и злые запахи.

Шагаю по запутанным тропам среди бесчисленных могил; вижу сквозь просветы в зеленом пологе золоченый крест колокольни, высоко и серьезно поднятый в небо над всеми крестами могил. У подножий памятников в ризе кладбища пестреют скромные цветы, — над ними хлопотливо жужжат пчелы, осы; в молитвенный шорох трав, победоносно вторгается песня жизни, не мешая думать о смерти. Бесшумно перепархивают темные птицы, их полет всегда заставляет, вздрогнув, недоверчиво смотреть — птица-ли? . . .

Всюду трепещет золотой огонь солнца, тесно заселенное кладбище как будто колышется, бугры могил напоминают море после бури, когда ветер упал и зеленая равнина его покрыта гладкими, без пены, волнами.

За оградой, в голубой пустоте, торчат дымясь трубы маслобоек и мыловаренных заводов, пятна крыш лежат разноцветными заплатами на темном рубище города, жмурятся на солнце всевидящие очи — слуховые окна чердаков. Сейчас же по ту сторону ограды лежит зеленая полоса скудного дерна, на нем качаются какие-то бедные, сухие стебли. Дальше — пожарище, черная полоса земли, усеянной грудами закопченного мусора, рассыпавшихся печей, серой золы, угольной пыли. В небо разинулись черные вонючие ямы сгоревших погребов: мещане-домохозяева по ночам сливают в них — из экономии — содержимое выгребных ям. Из бурьяна торчат, лоснясь, большие головни, разноцветно блестит на солнце битое стекло и точно смеется. В двух местах этой чернобурой площади, полукольцом обнявшей кладбище, прорезались, как два зуба, новые,

желтые постройки, — маленькие, жалкие среди мусора и густых зарослей лопуха, конского щавеля, свинцовой полыни.

Лениво бродят пестрые куры, похожие на торговок, а солидные, рыжие петухи напоминают пожарных. В ямах подполий ютятся бездомные собаки с печальными глазами, в зарослях бурьяна чахлые, старые кошки подстерегают воробьев. Играют дети, — жалко видеть, как они прыгают по оскверненной земле и вдруг исчезают где-то в ее грязных морщинах.

А за пожарищем вытянулся длинный ряд дрянненьких, тесных домиков, они густо набиты скучными людьми, тупо и покорно вытаращили квадратные глаза на искрошенный, красный кирпич ограды кладбища и темную массу деревьев на нем. В одном из таких домиков я и живу, — моя крошечная конура пропитана запахом лампадного масла, и каждый вечер ко мне просачиваются благочестивые вздохи и возгласы домохозяина, Ираклия Вырубова, чиновника казенной палаты. Когда я смотрю из окна через мертвую полосу сожженной и загаженной земли на кладбище, оно кажется прекрасным и ласково манит к себе.

Между могил, точно следя за мною, мелькает темная фигура старика, разбудившего меня, — его соломенная шляпа, сильно отражая солнце, качается среди крестов, как цветок подсолнечника. Я тоже слежу за ним и думаю об Ираклие Вырубове: неделю тому назад жена его — женщина тощая, злая, с длинным носом и зелеными кошачьими глазами — ушла пешком в Киев на богомолье; он тотчас же привел откуда-то косоглазую, толстую девицу и назвал ее мне двоюродной племянницей.

— Святое имя — Евдокия, а я привык именовать — Диканька. Прошу любить, однако — предупреждаю — девица не допускающая . . .

Огромный, сутулый и бритый, как повар, Вырубов всегда озабоченно поддергивал штаны, сползающие с его живота, набитого, должно быть, арбузами. Его толстые губы жадно приоткрыты, в бесцветных глазах замерзло выражение неутолимого голода.

По вечерам я слышу:

— Диканька, поди-ка почеши-ка мне спину . . . Между крылец . . . О-о, во-от! Ишь ты, выростила сколько . . .

Диканька визгливо хохочет, я двигаю стулом или бросаю

книгу на пол, — визг и жадный шопот гаснут, слышен тяжкий вздох:

— О-о . . . Преподобный отче Николае, моли Бога о нас . . . Квасу на ночь припасла? . . .

Они переходят тихонько в кухню и там визжат, хрюкают, как свиньи.

Седоусый старик легким прыжком молодого человека перескочил тропу, встал перед большим памятником серого гранита и внимательно читает надпись. Лицо у него не русское, одет он в темно-синюю тужурку с отложным воротником, черный галстук завязан пышным бантом и очень оттеняет серебро плотной, точно литой бородки. Между задорными усами — длинный хрящеватый нос, на серой коже щек — сеть тонких красных жилок. Руку он поднял к шляпе, точно отдавая честь усопшему, читает черные слова надписи и одним глазом смотрит на меня. — Это мне неприятно, нахмурившись я прохожу дальше, продолжая думать о своей улице.

Как всегда, между могил шляется Пимаша, тихопьяненький, разорившийся купец Пимен Кропотов; спотыкаясь и падая он ищет могилу своей жены. Согбенный, с маленьким птичьим лицом в сером пухе, с глазами больного зайца, весь он точно изжеван острыми зубами. Третий год он ходит по кладбищу, слабые ноги едва держат его небольшое, разрушенное тело, — когда он, запнувшись, упадет, то долго не может встать, хрипит, шарит в траве руками, рвет ее, нюхает острым носом, красным, как будто кожа снята с него. Жена умерла и погребена почти за тысячу верст отсюда, в Новочеркасске, но Пимен не верит в это и, часто мигая мокрыми, погасшими глазами бормочет, задыхаясь:

— Наташа . . . да, Наташа-же . . .

Почти каждый день бывает госпожа Христофорова, высокая старуха в черных очках, в сером, простом, как саван, платье, отделанном черным бархатом, с палкой в костлявой руке, — у нее уродливо длинные пальцы. Щеки ее дряблого лица опустились, как тряпочки, из-под кружевной косынки начесаны на виски, закрывая уши, седые до зеленого волосы, — она идет очень медленно, очень уверенно и никогда, никому не уступает дорогу. Где-то тут у нее лежит сын, убитый во время кутежа.

С книгой в кармане парусиного пиджака, с сачком в красной руке и жестяной коробкой на ремне через плечо каждое воскресенье после обеда является на кладбище тонконогий, близорукий надворный советник Праотцев, бывший учитель; улыбаясь до ушей, острых и оттопыренных, точно у кролика, он прыгает между могил, машет над ними сачком, как белым флагом, — кажется, что он просит мира у смерти.

Пред вечерней он идет домой, — за оградою его поджидают мальчишки, прыгают, как щенята вокруг аиста и весело кричат разными голосами:

— Надворный, надворный! В Сухинину влюбился, в лужу повалился, — надворный!

Он сначала смущенно открывает большой рот и, крякнув голосом старого грача, притопывает ногою, как бы собираясь плясать под эти крики, а потом — сердится и, согнувши спину, держа сачок штыком, бегает за мальчишками с визгом:

— Отца-ам . . . матеря-ам . . .

Сухинина — нищая; она круглый год во всякую погоду сидит на маленькой скамейке у калитки кладбища, привалясь к ней камнем. Ее большое, кирпичное, многолетне пьяное лицо, все в темных пятнах, обморожено, вспухло от ветра и пьянства, сожжено солнцем, глаза у нее заплыли и гноятся. Когда мимо нее идут, она протягивает короткую руку с деревянной чашкой и басом возглашает, точно ругаясь:

— Христа ради . . . родителей поминаючи . . .

Однажды ветер со степи неожиданно принес сизую тучу, хлынул ливень, застиг старуху по дороге домой, со слепу она упала в лужу. Праотцев хотел помочь ей подняться, но тоже упал рядом; с той поры мальчишки всего города дразнят его.

Мелькают и еще темные, безмолвные фигуры завсегдатаев кладбища, людей, видимо, на всю жизнь связанных с ним крепкими цепями каких-то не ржавеющих воспоминаний; ходят они, точно не погребенные мертвецы в поисках удобных могил, жизнь оттолкнула их, смерть — не берет.

А порою из высоких трав высунется угрюмая, глазастая морда бездомной собаки, пугая умным взглядом, — в нем чувствуется печаль отчуждения и ждешь, что животное сейчас скажет человечьим голосом какой-то правдивый укор.

Иногда такая собака стоит на могиле, поджав хвост, тихонько

поводя шершавой, бесприютной головою, — она долго стоит так, о чем-то думая. Воет редко, а если начнет выть, — воет негромко и длительно . . . В густоте старых лип хлопочут грачи, галки, слышен тихий, голодный писк птенцов, уговаривающее карканье.

Осенью, когда ветер, сорвав листья, обнажит сучки, — черные гнезда будут похожи на истлевшие головы в мохнатых шапках, — кто-то оторвал их и воткнул на деревья вокруг белой, сахарной церковки во имя Великомученицы Варвары. Осенью на кладбище все плачет, судорожно мечется — стонет ветер, как обезумевший, ограбленный смертью любовник . . .

Старик неожиданно встал у меня на дороге, поднял руку и, строго указывая на белый камень памятника, громко прочитал:

— Под сим крестом погребено тело раба Божия почетного гражданина Диомида Петровича Усова. И — все!

Он поправил шляпу, сунул руки в карманы брюк и смерил меня строгим взглядом темных, не по стариковски ясных глаз.

— Ничего не умеют сказать о человеке, — раб Божий, только! Но — почему раб удостоен гражданами почета?

— Вероятно — жертвователь какой-нибудь . . .

Старик топнул ногой о землю, внушительно сказав:

— Напишите-с!

— Что — написать?

— Все! И — возможно подробней . . .

Шагая по солдатски широко, он пошел вперед, в глубину кладбища, я — рядом с ним. Он был по плечо мне, шляпа совершенно скрывала его лицо, я шел наклоня голову, хотелось заглянуть в глаза ему, как в глаза женщины.

— Так — нельзя! — говорил он не громко и мягко, точно жалуясь. — Этим обнаруживается дикарство, невнимание к человеку, к жизни . . .

Выхватив руку из кармана, он очертил в воздухе широкий круг:

— Что знаменуется этим?

— Смерть, — ответил я, недоуменно пожав плечами.

Он взмахнул головою, показав мне тонко выточенное, острое, но приятное лицо, — усы его дрожали, когда он говорил, отчеканивая славянские слова:

— «Смертию смерть всеконечне погублена бысть», — знаете этот богородичен? То-то-с!

Шагов десять он прошел молча, быстро виляя по капризной тропе, потом вдруг остановился, приподнял шляпу и протянул мне руку.

— Будемте знакомы, молодой человек: поручик Савва Яковлев Хорват, служил по государственному коннозаводству, а также по ведомству уделов. Под судом и следствием не был. Состою в чистой отставке от всех должностей . . . Домовладелец. Вдов. Характера неуживчивого.

Он подумал и добавил:

— Тамбовский вице-губернатор Хорват — брат мой. Младший. Ему 55, мне 61. Ше-сть-де-сят и один! Да.

Говорил он быстро, но четко, точно мысленно расставлял все знаки препинания.

— И вот, поручик Хорват, человек видавший всевозможные виды, я не доволен кладбищем! Не доволен всюду и везде!

Он снова задорно потряс рукою в воздухе, огибая широкую дугу над крестами.

— Сядемте. Я вам об'ясню . . .

Сели на скамью под боком белой часовенки над чьею-то могилой, — поручик Хорват снял шляпу, вытер голубым платком лоб и густые волосы, торчавшие на шишковатом черепе серебряными иглами.

— Вслушайтесь: клад-би-ще! А?

Он толкнул меня плечом и об'яснил, понизив голос:

— Клады бы искать надо здесь! Клады разума, сокровища поучений. А что я нахожу-с? Обида и позор. Всем — обида! «Вси в житии крест яко ярем вземшии» обижены нами и за это будете обижены вы, буду обижен я. Поймите: «крест, яко ярем» — а? Значит, признано, что жизнь — трудна и тяжела? Почтите же достойно отживших — они ради вас несли при жизни бремя и ярем, — ради вас! А эти, там, не понимают!

Он махнул шляпой и по тропе, по кресту над могилой мелькнула, унеслась к городу маленькая, как птица, тень.

Надув красные щеки, пошевелив усами, искоса поглядывая на меня молодым глазом, поручик продолжал:

— Вы думаете: полуумный старик, не более того? Нет, молодой человек, нет-с! Пред вами человек, который оценил

жизнь. Посмотрите, разве это памятники? Что они напоминают вам и мне? Ничего. Это не памятники, а — паспорта, свидетельства, выданные человеческой глупостью самой себе. Под сим крестом — Марья, под сим — Дарья, Алексей, Евсей, все — рабы Божии и — никаких особых примет! Это — безобразие, здесь людей, отживших трудную жизнь, лишили жизненного образа, а его необходимо сохранить в поучение мне и вам. Образ жизни всякого человека — поучителен; могила, часто, интереснее романа, да-с! Вы — понимаете меня?

— Не совсем . . .

Он шумно вздохнул.

— А это просто понять. Прежде всего я — не раб Божий, но — человек разумно исполняющий все добрые заветы Его в меру моих сил. И никто, — даже сам Бог — не в праве требовать от меня свыше того, что я могу дать. — Так?

Я согласно наклонил голову.

— Ага? — вскричал поручик. — То-то-с!

Резким движением он, нахлобучив шляпу на ухо, стал еще более задорным, а затем развел руки, и прогудел гибким баском:

— Какое же это кладбище? Это — позорище!

— Не понимаю, чего вы хотите, — осторожно сказал я.

Он живо ответил.

— Я хочу, молодой человек, чтоб ничто, достойное внимания, не исчезало из памяти людей. А в жизни — все достойно вашего внимания. И — моего! Жизнь недостаточно уплотнена и каждый из нас чувствует себя без опоры в ней именно потому, сударь мой, что мы невнимательны к людям . . .

Нервно выхватив из кармана брюк тяжелый, серебряный портсигар с желтым шнуром и обильными монограммами, он сунул его мне, приказав:

— Курите!

Я взял толстую папиросу, думая о поручике:

— А беспокойно, должно быть, людям с тобою . . .

Закурили. Табак был страшно крепок, но старик затягивался глубоко и жадно, с шумом выгонял изо рта и ноздрей длинные струи дыма и пристально следил, как тихий ветер относит на могилы синеватые облака. Его глаза потускнели, углубились, красные жилки исчезали со щек и лицо стало серым.

— Каков табак? — спросил он тихо и полусонно.

— Очень крепок!

— Да. Это меня спасает. Я человек . . . возбужденный и нуждаюсь . . .

Не кончив, — он замолчал, со вкусом глотая дым и рассматривая большой янтарный мундштук. На монастырской колокольне неохотно ударили к вечерней — ноющий звук поплыл в воздухе лениво, устало и все вокруг сделалось серьезнее, грустней.

. . . Почему-то мне неотвязно вспоминался Ираклий Вырубов, в валяных туфлях на тяжелых лапах, толстогубый, с жадным ртом и лживыми глазами, — аккуратный поручик могбы целиком войти, как в футляр, в это огромное, пустое тело.

. . . Воскресенье, вечер. На пожарище красно сверкает битое стекло, лоснятся головни, шумно играют дети, бегают собаки, и ничто ничему не мешает, связанное всепоглощающей тишиною окраины города, пустотой широко развернувшейся степи, прикрытое душным, мутно-синим пологом неба. Кладбище, среди этой пустыни, точно остров среди моря.

Вырубов сидит у ворот на лавочке рядом со мною, скосив похотливые глаза влево, где, под окном своего дома, на завалине, расположилась пышная, волоокая кружевница Ежова, истребляя паразитов в темных кудрях восьмилетнего сына своего Петьки Кошкодава. Бойко перебирая привычными к быстрым движениям пальцами, она сочным голосом насмешливо говорит в окно невидимому мужу, торговцу старыми вещами на балчуге:

— Да-а, плешивый чорт, как же . . . Взял свою цену, да-а . . . Тебя бы шандалом этим по калмыцкому носу твоему, — дурак! Свою цену . . .

Вырубов, вздыхая, лениво поучает меня:

— Воля была дана в ошибку, хотя я отечеству моему — ничтожный слуга, а это мне ясно — понятно! Надобно было бы обратить все помещичьи земли в собственность государеву, — во-от как надобно было сделать! И тогда все бы мужики, мещане — словом говоря — весь народ имел бы едино-хозяина. Народ не может жить добропорядочно, не зная — чей он? Народ — любовластник, он желает всегда иметь над собой единоруководящую власть . . Всякий человек ищет над собою власти . . .

И повысив голос, насыщая каждое слово приторной ложью, говорит в сторону соседки:

— Вот, возьмите в пример, — работящая, свободная ото всего женщина . . .

— Это от чего же я свободна? — отзывается Ежова, с полной готовностью на ссору.

— Я ведь говорю не в осуждение, а в почет тебе, Павушка . . .

— К телке своей ласкайся!

Откуда-то из-за забора звонко вылетает ядовитый вопрос Диканьки:

— Это кто же — корова?

Вырубов тяжело встает и идет на двор, договаривая:

— Все люди нуждаются в присмотре единовластного ока . . .

Его племянница и соседка поливают друг друга отборной, звонкой руганью. Вырубов встал в калитку, как в раму и внимательно слушает, причмокивая, преклонив ухо в сторону Ежовой. Диканька кричит:

— А по моему, а по моему . . .

— Ты меня помоями твоими не угощай, — на всю улицу откликается зубастая Павла . . .

. . . Поручик Хорват выдул из мундштука окурок, искоса взглянул на меня и неприязненно, показалось мне, шевельнул толстыми усами:

— О чем, смею спросить, мечтаете?

— Хотелось понять вас . . .

— Это — не трудно, — сказал он, сняв шляпу и помахивая ею в лицо свое. — Это — в двух словах. Все дело в том, что у нас нет уважения ни к себе, ни к людям, — вы замечаете? Ага? То-то-с! . . .

Его глаза снова помолодели, прояснились, он схватил меня за руку, крепкими, приятно горячими пальцами.

— А — отчего? Очень просто: как я буду уважать себя, где я научусь тому, чего нет, понимаете — нет!

Он придвинулся еще ближе ко мне и в полголоса сообщил секретно:

— У нас, на Руси, никто не знает, зачем он? Родился, жил, помер — как все! Но зачем?

Поручик снова возбуждался: краснело лицо, и нервные движения рук стали ненужно быстры.

— Все это потому, государь мой, что нами — частью забыта, частью не понята, в главном же — скрывается от нас работа человека, так-то-с! И у меня есть идея . . . то есть — проект, да — проект . . . это в двух словах.

— Нн-о-у . . . нн-у-о, — докучно растекалось над могилами холодное пение маленького колокола.

— Представьте, что каждый город, село, каждое скопление людей ведет запись делам своим, так сказать — «Книгу живота»; — не сухой перечень результатов работы, а живой рассказ о прижизненных деяниях каждого человека, а? Но — без чиновников! Пишет Городская дума, Волостное правление, специальная «Управа жизни», — я не знаю кто, только — без чиновников! И — пишется все! Все, что необходимо знать о человеке, который жил с нами и отошел от нас!

Он протянул руки к могилам:

— Я должен знать, за что положили свою жизнь все эти люди, я живу их трудом и умом, на их костях — вы согласны?

Я молча кивнул головою, а он торжествующе воскликнул:

— Ага, — видите? Обязательно — записывать все, что человек сделал хорошо или поучительно плохо! Например: некто сложил печь, особенно спорую на тепло — запишите-с! Некто убил бешеную собаку — записать! Выстроил школу, замостил грязную улицу, первый научился хорошо ковать лошадей, всю жизнь боролся словом и делом с неправдой — за-пи-ши-те! Женщина родила пятнадцать человек здоровых детей, — а! — это очень нужно записать: это великое дело — дать земле здоровых детей!

И тыкая пальцем в серый намогильный камень со стертой надписью, он почти закричал:

— Под сим камнем погребено тело человека, всю жизнь свою любившего одну женщину — одну! — это нужно записать! Мне не нужно имен, — мне нужны дела! Я хочу, должен знать жизнь и работу людей. Когда отошел человек — напишите на кресте его могилы — «крест яко ярем», это надо помнить! — напишите для меня, для жизни подробно и ясно все его дела! Зачем он жил? Крупно напишите, понятно, — так?

— Да.

Поручик продолжал горячо, захлебываясь словами, махая рукою вдаль, на город:

— Они там — лгуны, они нарочно скрывают работу, чтоб обесценить человека, показать нам ничтожество мертвых и тем внушить живым сознание их ничтожества! Ничтожными легче править, — это придумано дьявольски умно! Да, конечно, легче! Но — вот я: попробуйте, заставьте-ка меня сделать то, чего я не хочу!

Брезгливо сморщив лицо, он точно выстрелил:

— Ап-параты!

Было странно видеть задор старика, слушать его крепкий басок, бодро нарушавший тишину кладбища. Высоко над могилами лениво таял докучая будничный звук:

— Н-но-у, нн-о-у . . .

Масляничный блеск сочных трав исчез, погас и все стало матовым; воздух густо насыщался пряным запахом намогильных цветов нарциса, герани и левкоя . . .

— Нет, лжете, каждый из нас стóит своей цены, — это прекрасно видишь, прожив на земле шесть десятков лет! Нет, вы не скрывайте: всякая жизнь может и должна быть об'яснена; человек — работник всему миру, он мой учитель в худом и добром. Жизнь вся, насквозь — великое дело незаметно-маленьких людей, не скрывайте их работу, покажите ее! Напишите на кресте, над могилой умершего все дела его и все заслуги, пусть они ничтожны, но — покажите себя умеющим найти хорошее и в ничтожном. Теперь вы поняли меня?

— Да, — сказал я. — Да!

— Так-то-с!

Колокол торопливо крикнул дважды и замолчал, оставив в воздухе над кладбищем печальный струнный звук, а собеседник мой снова вынул портсигар, молча протянул его мне и стал тщательно раскуривать папиросу. Руки его, маленькие и темные, как птичьи лапы, немножко дрожали, голова опущена и похожа на плюшевое пасхальное яйцо.

Курил и ворчал, недоверчиво, хмуро заглядывая в глаза мне:

— Земля сильна трудом людей . . . Всякий может найти себе опору на земле . . . нужно только хорошо знать и помнить прошлое . . .

Кудрявые дымы над городом покраснели, слуховые окна зарделись ярким румянцем, напоминая мне багровые щеки

племянницы Вырубова, — в этой девице, как и в дяде ее, было что-то решительно не «допускающее» думать о ней хорошо и ласково.

Одна за другою в ограду кладбища вползали темные, лохматые фигуры нищих; от крестов на землю ложились тени, такие же осторожные, как нищие.

Где-то далеко, в потемневшей зелени, дьячок тянул лениво и равнодушно:

— Ве-е-ечна-ая — ппа-а . . .

— За что? — сердито пожав плечами, спросил поручик Хорват. — За что — вечная память? Может быть, она лучше всех в городе солила огурцы, мариновала грибы . . . Может быть, он был лучший сапожник или однажды сказал что-то, о чем по сей день еще помнит улица, в которой он жил. Об'ясните мне человека!

И лицо его окуталось облаком крепко пахучего дыма, сильно кружившего голову.

Ветер тихо вздохнул, наклонил стебли трав в сторону нисходившего солнца, стало тихо, и в тишине резко прозвучал капризный женский голос:

— А я говорю — налево!

— Танечка, ну, как же . . .

— Забыли! — выдувая дым длинной трубообразной фигурой проворчал старик. — Забыли, где лежит родной или знакомый . . .

Над красным крестом колокольни плавал ястреб, а по камню памятника, против нас, ползла бледная тень птицы, то соскальзывая за угол камня, то снова являясь на нем. Следить за этой тенью было странно-приятно.

— Кладбище, я говорю, должно знаменовать не силу смерти, а победу жизни, торжество разума и труда, так-то-с! Вы, вот, представьте себе, каким оно было бы по моей мысли! Это история всей жизни города, это было бы способно поднять чувство уважения к людям . . . Или кладбище — история, или — не нужно его! Не нужно прошлого, если оно ничего не дает. История — пишется? Ну, да — история событий . . . но я хочу знать, как события творились рабами Божьими.

Широким жестом, как-то удлинившим его руку, он указал на могилы.

— Хороший вы человек, — сказал я, — и хорошо, интересно жили, должно быть . . .

Он, не глядя на меня, ответил тихо и задумчиво:

— Человек должен быть другом людей, — он обязан им всем, что есть у него и в нем. А жил я . . .

Прищурив глаз, он посмотрел вокруг, как будто искал нужное слово. И, не найдя его, веско повторил уже сказанное им:

— Надо сдвинуть людей теснее, чтобы жизнь уплотнилась. Не забывайте ушедших! Все поучительно, все полно глубокого смысла в жизни рабов Божиих . . . так-то-с! . .

На белые бока памятников легли багряные, жаркие отблески заката, и камень, как будто налился теплой кровью; все кругом странно вспухло, расширилось, стало мягче и теплей и хотя все было неподвижно, но казалось насыщенным красной, живой влагой, даже на остриях и метелках трав дрожала, светясь, багряная пыль. Тени становились гуще, длиннее. За оградой, пьяным голосом, жирно мычала корова и кудахтали куры, видимо, ругая ее. Где-то около церкви торопливо хрипела и взвизгивала пила.

Вдруг поручик засмеялся бархатистым смехом, встряхивая плечами, поталкивая меня и ухарски передвинув шляпу на ухо.

— А, ведь, я, признаться, — сквозь смех говорил он, — подумал о вас печально . . . подумал, что вы . . . вижу — лежит человек — гм? — думаю, — почему, а? Потом — ходит молодой человек по кладбищу, лицо хмурое, карман брюк оттопырен, — э-э, думаю!

— Это — **книга** в кармане . . .

— Ну, да, понимаю, я ошибся! Это приятная ошибка . . . Но, — однажды я видел: лежит человек около могилы, а в виске — пуля, то есть — рана, конечно . . . Ну, и, знаете . . .

Он подмигнул мне, снова смеясь негромко и добродушно.

— Проекта у меня, разумеется, нет, это просто — так . . . мечта! Очень хочется, чтоб люди жили лучше . . .

Вздохнув, он задумался, помолчал.

— К сожалению — поздно захотелось мне этого . . . Лет пятнадцать тому назад, когда я был смотрителем Усманской тюрьмы, и . . .

Старик вдруг встал, оглянулся, нахмурив брови, и сказал деловито, сухо, сильно двигая кованными усами:

— Ну-с, мне пора итти!

Я пошел с ним, хотелось, чтоб он еще и еще говорил приятным, твердым баском, но — он молчал, шагая мимо могил четко и мерно, как на параде.

Когда мы шли мимо церкви, сквозь железные решетки окон в красную тишину вечера истекало, не нарушая ее, угрюмое брюзжанье, досадные возгласы; как будто спорили двое и один скороговоркою частил:

— Что-о ты сделал, что ты, что ты, что ты-и? . .

А другой, изредка, устало откликался:

— Отста-ань, о-отстань . . .

На пароходе.

Вода реки гладкая, тускло-серебристая, течение ее почти неуловимо, она как бы застыла, принакрытая мглою жаркого дня и только непрерывное изменение берегов дает понять, как легко и спокойно сносит река старенький рыжий пароход с белой каймой на трубе, с неуклюжей баржей на буксире.

Сонно чмокают шлепки плиц, под палубой тяжело возится машина, сипит-вздыхает пар, дребезжит какой-то колокольчик, глухо ёрзает рулевая цепь, но все звуки — не нужны и как будто не слышны в дремотной тишине застывшей над рекой.

Лето — сухое и вода — низка; на носу парохода матрос, похожий на монаха — худощавый, чернобородый, с погашенными глазами на желтом лице, — мерно спуская за борт пеструю наметку, стонет-поет печально тающим голосом:

— Се-ем . . . се-ем . . . шесть . . .

Словно жалуется:

— Сеем, сеем, а есть — нечего . . .

Пароход, не спеша, поворачивает свой стерляжий нос то к одному берегу, то к другому, баржа рыскает, серый шнур буксира натягавается струною, дрожит; золотыми и серебряными искрами летят от него во все стороны брызги воды, — с капитанского мостика кричат в рупор толстые слова:

— Оол . . . уо . . .

Под носом баржи — белый крылатый вал, разрезанный на двое, он волнисто бежит к берегам.

В луговой стороне должно быть горят торфяники, там, над черными лесами, нависло опаловое облако, а может его надышали болота.

С правой стороны берег высок, обрывист, голые глинистые скаты, но иногда они разрезаны оврагом, в нем, — в тени — прячутся осины и березы.

Тихо, жарко, безлюдно на земле в мутно-синем, выгоревшем небе раскаленное добела солнце.

Без конца расплылись луга, кое-где среди них одиноко стоят заснув, деревья, звездою дневной горит над ними крест сельской колокольни, вскинуты в небо серые крылья мельницы, далеко от берега видны парчевые скатерти зреющих хлебов. Люди редко видны.

Все вокруг немного слинявшее, спокойное и трогательно простое; все так близко, понятно и мило душе. Смотришь на медленные, неуверенные изменения горного берега, на неизменную широту лугов, на зеленые хороводы леса, — они подходят к воде и, заглянув в зеркало ее, снова тихо уплывают в даль, — смотришь и думаешь, что не может быть на земле столь просто и ласково красивых мест, каковы эти вот, тихие берега реки.

Уже на прибрежных кустарниках виден желтый лист, но все вокруг улыбается двойственной, задумчивой улыбкой молодухи, для которой пришла пора впервые родить — и страшит ее это, и радует.

Время — далеко за полдень. Пассажиры третьего класса, изнывая от скуки и жары, пьют чай, пиво, многие сидят у бортов, молча глядя на берег. Дрожит палуба, звенит посуда в буфете и все вздыхает усыпительно матрос:

— Шесь . . . шесь с половина-ай . . .

Из машины вылез копченый кочегар и, развинченно покачиваясь, тяжело шаркая босыми ногами, идет мимо каюты боцмана, а боцман, светловолосый бородатый костромич, стоя в двери и насмешливо прищурив бойкие глаза спрашивает:

— Куда торопишься?

— Митьку дразнить.

— И то — дело!

Болтая черными руками кочегар пошел дальше, боцман, неохотно позевнув, оглянулся. Около спуска в машину на длинном ящике сидит маленький человечек в коричневом пиджаке, в новом теплом картузе, в сапогах, облепленных серыми комьями засохшей грязи.

От скуки боцману захотелось распорядиться, он строго окрикнул:

— Эй, земляк!

Тот, пугливо и по-волчьи, — всем туловищем — повернулся к нему.

— Ты чего тут сел? Написано — «осторожно», а ты сел! Али не грамотен?

Пассажир встал и оглядывая ящик отозвался.

— Грамотный.

— А сидишь, где нельзя!

— Не видать надпись-то.

— И жарко тут; из машины масляный дух. Ты откуда?

— Кашинской.

— Давно из дома?

— Третья неделя.

— Дожди у вас были?

— Н-е. Какие тут дожди!

— А отчего сапоги у тебя эдак грязны?

Опустив голову, пассажир выдвинул вперед одну ногу, потом другую, посмотрел на них и сказал:

— Это не мои сапоги.

Боцман ухмыльнулся, его светлая борода весело ощетинилась.

— Ты-что, пьющий, что-ли?

Не ответив, пассажир тихо, короткими шагами, пошел на корму. Рукава пиджака опустились ниже кистей его рук, стало ясно, что пиджак на нем с чужого плеча. Глядя, как осторожно и неуверенно он шагает, боцман нахмурился, закусил бороду, подошел к матросу, усердно оттиравшему голой ладонью медь на двери каюты капитана и не громко сказал ему:

— Тут едет маленький, в рыжем пиджаке, сапоги грязные — видал?

— Видал, будто.

— Скажи, — поглядывали бы за ним.

— Жулик?

— Вроде того.

— Ладно . . .

За столом, около рубки первого класса, толстый человек весь в сером одиноко пьет пиво. Он уже осовел в тяжелом опьянении, глаза его слепо выкатились и, не мигая, смотрят в стену. Пред ним на столе, в липких лужах копошатся мухи, они пол-

зают по его седоватой бороде, по кирпично-красной коже неподвижного лица.

Боцман сказал, подмигнув на него:

— Все гасит.

— Такое его дело, — отозвался вздохнув рябой, безбровый матрос.

Пьяный чихнул, мухи тучей взвились над столом; боцман поглядел на них и, тоже вздохнув, сказал задумчиво:

— Мухами чихает . . .

Я облюбовал себе место на дровах, около трюма кочегарки, и, лежа, смотрю, как темнеют горы, тихо подвигаясь встречу парохода, бросая на воду траурную пелену. В лугах еще догорает вечерняя заря, стволы берез красны, новая крыша избы у самого берега точно кумачем покрыта, там все плавится в огне и, теряя очертания, течет широкими ручьями красного, оранжевого, синего, а на горе стоит черный ельник и напряженно-приподнят, острый, точеный.

Уже рыбаки зажгли костер под горою, огонь, играя, освещает белый борт лодки, темного человека в ней, паутину сети, повешенной на кольях, и бабу в желтой кофте, присевшую у огня. Над костром и женщиной растопырилось черное ветвистое дерево и видно как трепещут золотисто освещенные листья нижних веток.

Примятый сумраком вечера говор пассажиров слился в сплошной, по-пчелиному гудящий звук: невидно и непонятно кто о чем говорит, бессвязны слова, но как будто все говорят об одном, дружески и правдиво. Слышен сдержанный смех молодой женщины, на корме ладятся петь, но не могут найти песню всем по душе и негромко, без сердца, спорят. Во всех звуках есть что-то вечернее, мирно-печальное, похожее на молитву.

За дровами, близко от меня, густой, гудящий голос, не спеша, рассказывает:

— Был он парень-удача, опрятной, гладкой, а после того — замшился, запаршивел, в сучки пошел . . .

Другой голос, бодрый и звонкий, восклицает:

— Не тянись к барам, не пройдет даром . . .

— Однако, сказано, рыба ищет где глубже . . .

— А дурак — что хуже! Он тебе не родня?

— Брат родной . . .

— О? Ну, прости за слово.

— Ничего. Он — дурак и есть, ежели прямо-то сказать . . .

К отводу подошел пассажир в коричневом пиджаке; держась левою рукой за стойку, он шагнул на решетку, под которой пенно кипела вода, взбитая колесом, и долго стоял, глядя за борт, покачиваясь, напоминая летучую мышь, которая, зацепившись одним крылом за что-то, висит в воздухе. Глубоко надвинутый картуз согнул ему уши и они смешно оттопырились.

Вот он обернулся, всматриваясь в сумрак под тентом парохода и, должно быть, не различая меня в дровах. Мне хорошо видно его лицо — острый нос, клочья рыжеватой шерсти на щеках и подбородке, маленькие, неясные глаза. Он, видимо, прислушивается к чему-то.

Вдруг он решительно шагнул на отвод, быстро отвязал от железа перил швабру, бросил ее за борт и тотчас стал отвязывать другую.

— Эй, — окликнул я его, — это зачем?

Он подпрыгнул, завертелся и приложив руку ко лбу, отыскивая меня глазами, заговорил тихонько, быстро, заикаясь:

— К'акое дело, а? В'от, ведь! . .

Я подошел к нему удивленный и заинтересованный его озорством.

— За это с матросов взыщут . . .

Поочередно подтягивая вверх рукава пиджака, точно собираясь драться и тихо притопывая ногою по скользкой решетке, он бормотал:

— Я вижу, — отвязалась она, сейчас ее стрясет в реку! Хотел привязать, да и не сумел, — ускользнула из рук.

— А мне показалось, — заметил я, — что вы ее сами отвязали да сбросили.

— Ну, вот, — зачем же! Разве можно!

Легко и быстро проскользнув под рукой у меня, он пошел прочь, все поправляя рукава. Пиджак смешно укорачивал его ноги и снова бросилось в глаза, что походка у него какая-то виляющая, тревожная.

Ночь пришла: люди заснули, ухо привыкло к неугомонному шуму машины, к мерному хлюпанью колес по воде и уже не воспринимает этот шум. Сквозь него ясно слышен храп спящих, тихие шаги, чей-то возбужденный шопот:

— Говорила я ему, ах, говорила: — Яша, не надо, не надобно!

Берега исчезли, о них вспоминаешь только по движению редких огней во тьме. В реке тускло блестят звезды, а за пароходом текут золотые отражения его огней, — дрожат, как будто желая оторваться и уплыть во тьму. Парчевая пена лижет темный борт; за кормою, настигая пароход, тащится баржа, на носу у нее прищурились два огня, а третий, на мачте, то заслоняет звезды, то сливается с огнями берега.

Недалеко от меня, на скамье, под фонарем, крепко спит дородная женщина, одна рука ее закинута под голову, на небольшой узел, кофта под мышкой лопнула, видно белое тело и обильные волосы косицей высунулись наружу. Лицо у нее большое, чернобровое, полные щеки оплыли к ушам, растянув толстые губы в нехорошую, мертвую улыбку.

Я лежу выше ее, поглядываю на нее сверху вниз и думаю сквозь дрему: ей лет сорок с лишним, наверное она добрая баба, едет к дочери, к зятю или к сыну и невестке, везет им подарки и много славного, материнского в большом сердце.

Что-то вспыхнуло, — точно близко спичку зажгли, я открыл глаза — пассажир в чужом пиджаке стоял около женщины, прикрывая рукавом горящую спичку, потом, осторожно вытянув руку он приблизил маленький огонь к волосам под мышкой женщины, я услышал тихий треск и противный запах паленой шерсти.

Вскочив, я схватил озорника за шиворот, встряхнул:

— Что ты делаешь?

Чуть слышно, противно хихикая, он вертелся в руке у меня и шептал:

— Как бы она испугалась, а?

— Ты с ума сошел, чорт!

Он, часто моргая заглядывал куда-то за спину мне, вертелся и шептал:

— Да — пусти! Захотелось пошутить, — беда-ли? Вон она, — спит себе . . .

Я оттолкнул его, он бесшумно откатился на коротких, точно обрубленных ногах, оставив меня в тоскливом недоумении:

— Значит — я не ошибся, швабру он нарочно сбросил. Что за человек?

В машине задребезжал колокольчик.

— Есть тихой! — весело крикнул кто-то.

Завыл гудок, женщина проснулась, быстро подняла голову, пощупала левой рукою под мышкой и, сморщив измятое лицо, взглянула на фонарь. Села и заправляя под платок сбившиеся волосы, сказала тихонько:

— О, матушка, Пресвятая Богородица . . .

. . . Пароход стоял у пристани, чуваши таскали дрова, с грохотом сбрасывая их в трюм кочегарни, а перед тем, как сбросить, сердито кричали странное слово:

— Труш-ша!

Над городком, прижатым к горе, поднялась ущербленная луна, черная река посветлела, ожила, лунный свет словно вымыл всю землю теплой водою.

Я ушел на корму и сел там среди каких-то ящиков, разглядывая город, вытянувшийся по берегу. Над одним его концом толстой палкой торчала труба завода, над другим и в середине поднялись две колокольни, одна — с золотою главой, другая, должно быть, зеленая или синяя, теперь, при луне, она кажется черной и похожа на истертую малярную кисть.

Против пристани в широкое чело двухэтажного дома воткнут фонарь, вздрагивая, горит за грязными стеклами бескровный, тусклый огонь и по длинной полосе изогнутой вывески ползают желтые крупные буквы: «Трактир с», дальше буквы не видны.

Еще в двух-трех местах сонного города зажжены фонари, пятна мутного света стоят в воздухе, освещая углы крыш, серые деревья и окно, нарисованное белой краской на глухой стене.

Смотреть на все это грустно.

Пароход шипит, возится, трется о борт пристани, скрипит дерево, вздыхает вода, кто-то свирепо орет:

— Дьявол! Кранцы, — кранец на корму, чтоб-те разорвало...

— Пошли, слава Создателю, — говорит за ящиками уже знакомый, бодрый голос и спрашивает густо:

— Ну, так как же, поди, кричал он?

Торопливо и невнятно, причмокивая, заикаясь, кто-то отвечал:

— Кричал: родимые, кричал, не убивайте, помилуйте, Христа ради! Все, кричит, вам спишу, в крепкие ваши милые рученьки, дайте греха избыть, душеньку отмолить! На богомолье пойду, пропаду на всю жизнь, до конца даже, не увидите, не услышите, — а тут шкворнем его по виску, ажно на меня кровью брызнуло, он и покатился. А я — бежать, прибег в кабак-то, стучу-кричу: сестрица родная, убили совсем батюшку-то, а она из окошка вывесилась — так, говорит, ему, волку беспутному и надо! Ох, как страшно было, — ночь эта, — до того ли напугался я — беда! Залез на чердак сначала, нет, думаю, найдут и прикончат, как я прямой наследник ко всему имуществу; вылез на крышу, за трубу спрятался, сижу, держусь за нее руками-ногами и онемел со страху.

— Чего же тебе было бояться? — перебил рассказчика бодрый голос. — Ведь ты, с дядей, тоже шел против отца?

— В этаких делах расчета нету: одного убил по нужде, а другого и так можно, просто . . .

— Верно, — сказал густой голос тяжело и глухо: — это верно! А-бы один раз кровь пролить, на другой она сама поманит. Убивать кто начал — ему все равно за что, хоть за то, что не стой близко.

— Однако, тут — ежели он правду сказывает — за дело! Хозяйство зорить нельзя . . .

— А и убивать самовольно тоже не порядок! Для неправильных людей суд есть . . .

— Дойди-ко до него! Вон, малый-то, боле года зря в тюрьме сидел . . .

— Как же — зря? Он отца в избу заманивал? Ворота запер?

Снова быстрым ручьем потекли всхлипывающие, мятые слова, — я догадался, что рассказывает про убийство человек в грязных сапогах.

— Я себя не оправдываю, я ведь и на суде все это сказал, потому и лишили меня наказания. Их — дядю с братом — в каторгу, а меня отпустили, вот . . .

— А ты знал, что они согласились убить отца-то?

— Я думал — только постращают. Он, батюшка-то, не признавал меня за сына, езуитом звал . . . Очень многие люди плакали через него . . .

— Мало ли через что люди плачут! Эдак-то, ежели все причины слез наших поубивать, — чего с нами будет? Ты пролей слезу, а кровь — не тронь, не твоя! Думаешь — твоя в тебе кровь-то? И в тебе она не твоя, не то что . . .

— Тут, главное, имущество! Жили-жили, наживали, вдруг — все начало тлеть, да пропадать. Поневоле ум потеряешь, озлобишься и на отца родного . . . Однако, надо маленько поспать . . .

Мимо меня прошел высокий человек в черном чапане и картузе с большим козырьком.

За ящиками стало тихо, я встал и посмотрел туда: пассажир в коричневом пиджаке привалился, с'ежившись, ко груде каната, руки он засунул в рукава и положив на колени оперся на них подбородком. Луна смотрела прямо в лицо ему-оно было синевато, узкие глаза спрятались под бровями.

Рядом с ним вверх грудью, ко мне головой, лежал широкоплечий мужик в коротком полушубке, в белых валяных сапогах с мушками. Кудрявая, вся в кольцах серая борода его жестко торчала вверх, закинув руки под голову он смотрел воловьими глазами в небо, где тихо блестели редкие звезды и таяла луна.

Трубным звуком, безуспешно стараясь смягчить голос, он спросил:

— Значит — дядя-то на барже едет?

— Да. И брат.

— А ты — тут? Дела!

По синевато-серебряной пенной дороге тащилась, взрывая ее, как соха, темная арестантская баржа. При луне огни ее побледнели, корпус с железной клеткой на палубе поднялся выше над водою. С правой руки плыл, волнисто изгибаясь, черный мохнатый берег.

И все вокруг — мягкое, текучее, тающее — возбуждало тоскливое чувство неустойчивости, непрочности.

— Куда же ты едешь?

— Да, вот . . . увидаться с ними надобно.

— По хозяйству!

— А как же . . .

— Я-те, малой, вот что скажу: брось все — дядю, хозяйство, все бросай! Коли в кровь попал, да еще в родную, — удались прочь ото всего!

— А хозяйство-то как? — подняв голову, спросил парень.

— Толкуй с тобой! — сердито сказал мужик, закрыв глаза.

Рыжеватая шерсть на лице парня зашевелилась, как под ветром, он крякнул, оглянулся и, заметив меня, зло крикнул:

— Ну, — чего глядишь?

Большой мужик открыл глаза, посмотрел на него, на меня и загудел:

— А ты не ори, варежка!

Я ушел на свое место и лег спать, думая, что мужик верно сказал — лицо парня очень похоже на шерстяную, истертую варежку.

Мне приснилось, будто я крашу колокольню, а огромные большеглазые галки, летая вокруг ее главы, бьют меня крыльями, мешают работать. Отмахиваясь от них я сорвался, упал на землю торчмя головой и тотчас проснулся от боли, — тошное, тупое ощущение слабости и дурноты мешало дышать, пред глазами колебался, одуряя, разноцветный туман, а из головы, за ухом текла кровь.

С трудом поднявшись на ноги, пошел на отвод к водокачке, облил голову тяжелой струею холодной воды, крепко обвязал полотенцем и, возвратясь на свое место, стал осматривать его, соображая: как это могло случиться со мною?

Спал я на палубе, около поленницы мелких дров, приготовленных для кухни; там, где лежала моя голова валялся березовый кругляш. Я поднял полено, посмотрел — оно чистое, все в тонких, шелковых кудрях бересты, и эти кудри тихонько шуршат. Вероятно это полено и стрясла на голову мне непрерывная дрожь парохода.

Успокоенный, зная как об'яснить этот неприятный случай, я отправился на корму, где нет тяжелых запахов и широко видно.

Были те минуты перелома ночи, минуты крайнего напряжения ее пред началом рассвета, когда вся земля кажется глубоко и надолго погруженной в непробудный сон, когда полнота тишины возбуждает в душе особенную чуткость, звезды странно близки земле, а утренняя звезда ярка, точно маленькое солнце.

Но уже небо, холодно серея, незаметно теряет ночную мягкость и теплоту; лучи звезд опадают, как лепестки цветов, луна, доселе золотистая, бледнея, опыляется серебром и уходит все дальше от земли. Вода реки неуловимо изменяет свой густой, маслянистый блеск, в ней капризно являются на миг и тотчас исчезают жемчужные отражения быстрых изменений цвета небес.

А на востоке, над черными зубцами елового леса уже поднята — повисла тонкая, розовая пелена; она разгорается все ярче и ее слишком нежный, сладковатый цвет приятно густеет, становится все более смелым и ярким, — точно шопот робкой молитвы переходит в ликующую песнь благодарности. Еще миг, и острые вершины елей вспыхнули красным огнем, горят, как праздничные свечи во храме.

Невидимая рука бросила на воду и влачит по ней прозрачную ткань разноцветного шелка, пред'утренний ветер покрыл реку серебристой чешуей — глаза устают следить за игрою золота и перламутра, багреца и зеленовато-голубых пятен обновленного солнцем неба.

Веером раскрылись первые, мечеобразные лучи, концы их ослепительно белы и кажется, что слышишь, как с безграничных высот ниспадает на землю густой звон серебряных колоколов, торжественный звон встречу грядущему солнцу, — над лесом уже виден красный его край — чаша, полная сока жизни, опрокинута над землею и щедро льет на нее свою творческую мощь, а с лугов в небо поднимается, точно дым кадильный, красноватый пар. С горного берега мягко легли на реку зеленые тени прибрежных деревьев, ртутью блестит роса на траве, птицы проснулись, белая чайка летит над водою, белая тень ее скользит по цветной воде, а солнце Жар-птицей всплывает все выше в зеленовато-голубые небеса, где угасала серебряная Венера — тоже, как птица.

По желтой полосе прибрежного песка бегают голенастые кулики; двое рыбаков, выбирая снасть, качаются в лодке на волне парохода; с берега плывут чуть слышные звуки утра — поют петухи, басовито мычит скот, слышны упрямые голоса людей.

Желтые ящики на корме парохода тоже покраснели и красной стала сивая борода большого мужика, — распластав тяжелое

тело по палубе, он спит с открытым ртом, гулко всхрапывая; брови его удивленно подняты, густые усы шевелятся.

В углублении, среди ящиков, кто-то завозился, вздохнул; заглянув туда, я встретил воспаленный взгляд узких маленьких глаз, мохнатое лицо-варежка было еще более худо и серо, чем вчера. Человеку, видимо, холодно, он скорчился, воткнул подбородок между колен, обнял ноги шаршавыми руками и тоскливо, затравленно смотрит снизу вверх, прямо в глаза мне, устало, безжизненно говоря:

— Ну, нашел? Ну — бей! Вали! . . Я — тебя, ты — меня — ну!

Удивленный почти до испуга, я тихонько спросил:

— Это ты меня ударил?

— А где свидетели? — сипло и негромко крикнул он, разняв руки и вскидывая голову с оттопыренными ушами, точно раздавленную нахлобученным картузом, сунул руки в карманы пиджака и вызывающе повторил:

— Свидетели — есть? Пошел к чорту!

Было в нем что-то беспомощное, лягушечье, — он вызывал чувство брезгливости. Говорить с ним не хотелось и не было желания отомстить ему за дрянной удар. Я молча отвернулся.

А когда, через минуту, снова взглянул, — он сидел в прежней позе, обняв руками колена, положив на них подбородок и смотрел мертвым взглядом красных от бессонницы глаз на баржу, тянувшуюся за пароходом, между двух широких лент вспененной воды, игравшей на солнце, как ядреная брага.

И праздничное, утреннее веселье, ясный блеск неба, ласковые краски берегов, певучие звуки юного дня, бодрая свежесть воздуха, все вокруг еще более печально оттеняло глаза маленького человека, их неживой, чуждый всему взгляд . . .

Когда пароход отвалил от Сундыря, человек этот бросился в воду, — он прыгнул за борт на глазах людей и тотчас же все на палубе заорали, заметались, толкая друг друга, жадно пробиваясь к бортам, быстро оглядывая спокойную реку, всю от берега до берега в ослепительном блеске.

Прерывисто и набатно гудел гудок, матросы бросали в воду спасательные круги, точно барабан ухала палуба под прыжками

и беготней людей, испуганно шипел пар, истерически кричала какая-то женщина, а на мостике дико орал капитан:

— Довольно бросать! Обалдел, подлец! Успокаивай публику, чорт вас . . .

Немытый, нечесанный священник, придерживая обеими руками встрепанные волосы, толкал всех толстым плечом, подставлял ноги людям и пугливо тараща глаза, спрашивал одно и то же:

— Мужик, али баба? А? Мужик!

Когда я пробился на корму, человек был уже далеко за кормой баржи, — на широком стекле воды чуть виднелась его голова, маленькая, словно муха. К ней быстро, как водяной жук, подплывала рыбачья лодка, качались два гребца — красный и серый, от лугового берега спешно мчалась еще одна, прыгая на волне веселым теленком.

В тревожный шум на пароходе вливался с реки тонкий, режущий сердце, крик:

— А-а-а . . .

И в ответ ему остроносый, чернобородый мужик в хорошем чапане бормотал, причмокивая:

— Ах, дурашка . . . экой, несуразной, а?

А мужик с курчавой бородою убежденно и крепко говорил, заглушая все голоса:

— Не-е, совесть свое возьмет! Вы, там, судите, как назначено, а — совесть нельзя погасить . . .

Перебивая друг друга, они стали рассказывать публике тяжелую историю рыжеватого парня, а рыбаки уже подняли его из воды и, торопливо взмахивая веслами, везли к пароходу.

— Как увидали они, — трубил бородатый мужик, — что он около солдатки этой совсем завертелся . . .

— А имущество, после отца, неделеное, — смекни! — вставил мужик в чапане и все время, пока бородач с жаром рассказывал историю убийства человека братом, племянником и сыном, этот опрятный, сухой, солидно одетый мужик, ухмыляясь, вставлял в густую речь бодрым голосом бесчисленные, острые слова и поговорки, точно колья в землю забивал, городя плетень.

— Всякого туда тащит, иде еда слаще.

— В сладком-то — яд!

— А ты его не ешь, не любишь?
— Ну, так что? Я не праведник!
— Ага? То-то!
— Что, — то-то?
— Ничего! — Псу не укор, коли цепь коротка.

И, нос к носу друг с другом, они начали возбужденно спорить, влагая в простые, но неожиданно-ловко соединенные слова какие-то только им понятные мысли. Один — тонкий, весь вытянувшийся вверх, с холодным взглядом насмешливых глаз на темном, костлявом лице, говорил бойко, звонко и все приподнимал плечи; другой — широкий и огромный, раньше казавшийся спокойным, уверенным в себе и все решившим, теперь дышал тяжело, в его воловьих глазах горела тревожная злость, на лице выступили красные пятна, борода ощетинилась.

— Стой! — уже рычал он, размахивая рукой, вращая мутными зрачками. — Как так? Али Господь не знает, в чем надо стеснить людей?
— Господь не при чем, коли ты бесу служишь . . .
— Врешь! Кто первый руку поднял?
— Каин, — ну?
— А кто впервой покаялся?
— Ну, — Адам?
— Ага-а! . .
— Привезли!

Публика хлынула с кормы, увлекая за собою спорщиков; худой мужик опустил плечи и плотно запахнул чапан, бородатый пошел за ним быком, — наклоняя голову, беспокойно передвигая зимнюю шапку с уха на ухо.

Тяжело ворочая колесами, пароход старался удержаться на течении и, следя, чтоб баржа не навалилась на корму, капитан все время орал в рупор:

— Лев-во клади, рябая морда! Лево-о-о!

Рыбачья лодка подобралась к борту, утопавшего подняли на палубу, — он был мягок, как неполный мешок, весь сочился водою, шершавое лицо его стало гладко и наивно.

Его положили на крышку багажного трюма, но он тотчас же сел, согнулся и крепко приглаживая ладонями мокрые волосы, спросил глухо, ни на кого не глядя:

— Картуз поймали?

Из тесной кучи людей, окружившей его кто-то посоветовал:

— Не про картуз, а про душу надоть бы вспомянуть.

Он громко икнул, обильно, как верблюд, отрыгнув мутную струю воды, посмотрел на людей усталыми глазами и равнодушно проговорил:

— Убрали бы меня куда-нибудь . . .

Боцман строго сказал ему:

— Ляг!

Парень покорно опрокинулся на спину, заложил руки под голову и прикрыл глаза, а боцман стал вежливо уговаривать зрителей:

— Расходитесь, господа публика! Что тут глаза пялить? Нисколько даже не забавно . . . Мужик, чего вылупился? Айда, пошел прочь!

Люди, не стесняясь, сообщали друг другу:

— Отцеубийца.

— Да что-о вы?

— Такой мозгляк?

Боцман, присев на корточки, строго допрашивал спасенного:

— Куда билет?

— До Перми.

— Ну, брат, теперь и в Казани слезешь. Как зовут?

— Яков.

— А фамилья?

— Башкин. Мы-же — Вуколовы.

— Двойная, стало-быть, фамилья . . .

Бородатый мужик с явным ожесточением трубил во всю грудь:

— Дядю-то и брательника на каторгу осудили, тут они и едут, на барже, а он — вот он! — ему вышло оправдание. Ну, однако, это только наличность: как не суди, а убивать нельзя! Совесть этого не может поднять, крови, значит. Даже и близко быть к убийству — нельзя . . .

Все больше собиралось публики, вышли разбуженные пассажиры первого и второго классов, между ними толкался черноусый, розовый помощник капитана и, конфузясь чего-то, спрашивал:

— Извините, вы не доктор?

Кто-то, удивленно, высоким голосом воскликнул:

— Я? Никогда!

Над рекою мощно разыгрался веселый, летний день. Было воскресенье, на горе заманчиво звонили колокола, луговою стороной около воды шли две пестро одетые бабы и, размахивая платками, звонко кричали что-то пароходу.

Парень, закрыв глаза, лежал неподвижно. Теперь, без пиджака, плотно облепленный мокрою одеждой, он стал складнее, было видно, что грудь у него высокая, тело полное и даже замученное лицо сделалось, как будто, красивей и круглей.

Люди смотрели на него жалостно, строго и со страхом, но — все одинаково бесцеремонно, точно это был не живой человек.

Тощий господин, в сером пальто, рассказывал даме с лиловым бантом на желтой, соломенной шляпе:

— У нас, в Рязани, осенью, часовых дел мастер повесился на отдушнике. Остановил все часы в магазине и повесился. Спрашивается: зачем было останавливать часы?

Только чернобровая женщина, спрятав руки под шалью, разглядывала спасенного стоя боком к нему, скосив глаза и на серовато-синих глазах ее застыли слезы.

Пришли два матроса; один наклонясь над парнем, тронул его за плечо:

— Эй, вставай-ко!

Он устало поднялся и его увели куда-то . . .

Через некоторое время парень снова явился на палубе гладко причесанный, сухой, в коротенькой, белой куртке повара, в синих, нанковых штанах матроса. Заложив руки за спину, вздернув плечи, согнувшись, он быстро прошел на корму, а вслед за ним туда поползли скучающие люди — один, три, десять.

Там он уселся на канате; несколько раз, — по-волчьи ворочая шеей, — оглянул людей и, нахмурясь, подперев скулы руками в рыжей шерсти, уставил глаза на баржу.

Люди стояли и сидели под жарким солнцем молча, вожделенно разглядывая его, явно желая заговорить и еще не решаясь; пришел большой мужик, оглядел всех и сняв шапку вытер ею потное лицо.

Серенький, красноносый старичек с редкой, ершистой бород-

кой и слезящимися глазами, откашлялся и заговорил первый слащавым голосом:

— Скажи ты, пожалуйста, как же это случилось? . .

— Зачем? — не двигаясь, сердито спросил парень.

Старичек вынул из-за пазухи красный платок, встряхнул его и осторожно приложив к глазам, сказал сквозь платок, спокойным тоном человека, решившего настоять на своем:

— Как — зачем? Случай такой, что все должны . . .

Бородатый мужик вылез вперед и загудел:

— А ты — говори! Легче будя! Грех надо знать . . .

И — точно эхо отозвалось — раздался насмешливый, бодрящий возглас:

— Поймать, да связать . . .

Чуть приподняв брови, парень негромко сказал:

— Отстали бы от меня . . .

Старичек аккуратно сложив платок, спрятал его и подняв сухую, — точно петушиная нога, — руку, усмехнулся остренькой, усмешкой:

— Может, люди не из пустого интереса просят . . .

— Плевать мне на людей, — буркнул парень, а большой мужик, притопнув, заревел:

— Как-так? А куда от них денешься?

Он долго и оглушительно кричал о людях, о Боге и совести, дико выкатывая глаза, взмахивая руками и раз'ярясь все больше, становился страшным.

Публика, тоже возбуждаясь, одобряла его, подкрикивая:

— Верно-о! Во-от . . .

Парень сначала слушал молча, неподвижно потом разогнул спину, встал, спрятав руки в карманы штанов и, покачивая туловище, начал оглядывать всех зло и ярко разгоревшимся взглядом зеленоватых глаз. И вдруг, выпятив грудь, закричал сипло:

— Куда пойду? В разбой пойду. Резать буду всех . . . ну, вяжите! Сто человек зарежу! Все одно, мне души не жаль, — кончено! Вяжите, ну?

Говорил он задыхаясь, плечи у него дрожали, ноги тряслись, серое лицо мучительно исказилось и тоже все трепетало.

Люди угрюмо, обиженно и жутко загудели, отступая от него, и уходя, некоторые стали похожи на парня — озлились также

как он и рычали, сверкая глазами. Было ясно, что сейчас кто-нибудь ударит его.

Но он вдруг весь стал мягкий и точно растаял на солнце, ноги его подогнулись, он рухнул на колени, наклонив голову, как под топор, едва не ударившись лицом об угол ящика и хлопая ладонями по груди, стал кричать не своим голосом, давясь словами:

— Разрешите, — как же я? Виноват я? Сидел в остроге, ну, после — судили, сказали — свободен.

Он хватал себя за уши, за щеки, раскачивая голову, точно пытаясь оторвать ее.

— Ага-а? — рявкнул большой мужик. От его крика люди испуганно шарахнулись прочь, несколько человек поспешно ушли, остальные — с десяток — растерянно и угрюмо топтались на одном месте, невольно сбиваясь в тесную кучу, а парень надорванно говорил, болтая головою:

— Уснуть бы мне лет на десять! Все пытаю себя, не знаю — виноват, али нет? Ночью, вон этого человека ударил поленом . . . Иду, спит неприятный человек, дай, думаю, ударю — могу? Ударил! Виноват, значит? А? И обо всем думаю — могу, али нет? Пропал я! . .

Должно быть, окончательно истомившись, он перевалился с колен на корточки, потом лег на бок, схватил голову руками и сказал последние слова:

— Убили бы меня сразу . . .

Было тихо. Все стояли понурившись, молча, все стали как-то серее, мельче и похожи друг на друга. Было очень тяжело, как-будто в грудь ударило большим и мягким — глыбой сырой, вязкой земли. Потом, кто-то сказал смущенно, негромко и дружески:

— Мы, брат милой, тебе не судьи . . .

Кто-то тихонько добавил:

— Сами, может, не лучше . . .

— Пожалеть — можем, а судить — нет! Пожалеть тебя — это можно! А боле ничего . . .

Мужик в чапане сказал звонко и торжествуя:

— Пусть Господь судит, а люди — будет!

Еще один человек отошел прочь, говоря кому-то:

— Вот и разбери тут! А судья — он сразу, по книге — виноват, не виноват . . .

— А-бы скорее мимо прошло . . .

— Все торопимся, а — куда?

— То-то и оно.

Откуда-то выдвинулась чернобровая женщина, спустив шаль с головы на плечи, она заправила тронутые сединою волосы под синий, выгоревший платок, деловито подогнув подол юбки, села рядом с парнем, заслонив его от людей дородной своею фигурой и приподняв мягкое лицо, сказала ласково, но владычно:

— Уйти бы вам отсюдова . . .

Ее послушались, побрели прочь; большой мужик уходя говорил:

— Вот, — на мое вышло! Совесть-то об'явилась . . .

Но сказал он эти слова без удовольствия, задумчиво и скучно.

Красноносый старичек шел малой тенью сзади его, открыв табакерку, он смотрел в нее мокрыми глазами и, не торопясь, сеял по пути свои слова:

— А иной раз и совестью играет человек, он, тоже, шельма ведь, человек-от! Выставит ее, совесть, поперед всех хитростей своих, всех планчиков-затеек, да тем и попрячет их в дымке словесном. Зна-аем! Люди заглядятся — эко, мол, сколь жарко душа горит, а он им той порой кою руку на сердце, кою — в карман . . .

Любитель поговорок широко распахнул чапан, спрятал под него руки и бойко пояснил:

— Стало быть: верю — всякому зверю, и лисе, и ежу, а шабру — погожу?

— В этом роде, почтенный! Уж очень исказился народишко.

— Н-да . . . не стройно растет . . .

— Тесно, братцы! — загудел большой мужик. — Некуда расти-то! Тесно же!

— И растем оттого в ус, да в бороду, в сук, да в болону . . .

Старик внимательно оглядел мужика, согласился:

— Тесновато!

Потом сунул в нос щепоть табаку и, остановясь, закинул голову в ожидании, когда придет время чихнуть. Не дождался и сильно выдохнув ртом воздух, сказал, вновь измерив мужика глазами:

— А на долго ты сделан, дядя!

Мужик спокойно кивнул головой:

— Хватит еще . . .

Впереди уже видно Казань, главы церквей и мечетей в голубом небе, как бутоны странных цветов. Серая стена Кремля опоясывает их. И выше всех церквей грустная башня Сумбеки.

Здесь мне сходить на берег.

Я еще раз заглянул на корму парохода: чернобровая женщина разламывала над коленями сухую пшеничную лепешку, — разламывала и говорила:

— Чайку попьем! Мне с тобой — до Чистополя.

Парень притулился к ней и задумчиво смотрел на ее большие руки, мягкие, но, видимо, сильные, привычные к простой работе.

Он бормотал:

— Замяли меня . . .

— Кто?

— Люди разные. Боюсь я их . . .

— Ну, чего бояться . . .

— Так бы всех и . . .

Женщина подула на кусок лепешки и протягивая его парню спокойно сказала:

— А ты полно-ка! . . Вот, я-те скажу одну историю-случай, — али чайку прежде попьем, а?

По берегу тянется пестрое, богатое село Услон, ярко одетые бабы и девки радужно плывут по улице; играет на солнце пенная вода, жарко, мутно и все как сон . . .

Женщина.

Летит степью ветер и бьет в стену Кавказских гор; горный хребет, точно огромный парус и земля — со свистом — несется среди бездонных голубых пропастей, оставляя за собою изорванные ветром облака, а тени их скользят по земле, цепляются за нее, не могут удержаться и — плачут, стонут . . .

Деревья гнутся долу, словно бегут; кусты встряхивают ветвями, как собаки шерстью, и стелятся по черной земле, — она дымится вся в пыли, течет не умолкая сухой шорох, свист и вой, щелкают аисты, крякают сытые вороны, немолчно трещат степные сверчки и, словно командуя всем, раздаются крики солидных, крупнорослых станичников. С голой степи мчится перебитая молотилками золотая солома, на площади нарядной казачьей станицы крутятся серые вихри, летают птичьи перья, и сожженный солнцем желтый лист.

Торопливо появляется солнце, быстро исчезает, точно оно гонится за бегущей землею и устало уже — отстает, тихо падая с неба в дымный хаос на западе, где тоже горы в снежных вершинах и краснеют сырые тучи, тяжелые, как вспаханная земля.

Порою между массами туч ослепительно сверкает седло Эльбруса и хрустальные зубья других гор — они вцепились в облака и пытаются удержать их. Так ясно чувствуешь бег земли в пространстве, что трудно дышать от напряжения в груди, от восторга, что летишь вместе с нею, красивой и любимой. Смотришь на эти горы, окрыленные вечным снегом, и думается, что за ними бесконечно широкое синее море и в нем гордо простерты иные чудесные земли или просто — голубая пустота, а где-то далеко, чуть видные в ней, кружатся разноцветные шары неведомых планет, — родных сестер моей земли...

Со степи едут воза обмолоченного хлеба; в пыли, черной и жирной как сажа, степенно и тяжко шагают круторогие сивые волы, глядя в землю терпеливым взглядом круглых глаз; на возу лежит казак, в серой от пыли рубахе, мохнатая папаха сдвинута на затылок, лицо черно от загара, глаза красны от ветра, а борода склеена пóтом, пылью — точно каменная. Иногда казак идет впереди воза, у ярма; ветер толкает его в спину, раздувая рубаху; человек также гладок и солиден, как вол, и глаза у него такие же терпеливо-умные; двигается он не торопясь, как будто зная все, что ждет его впереди.

— Цоб . . . цобе . . .

У них хороший урожай в этом году, все они — здоровые, сытые, но — смотрят хмуро, говорят неохотно, сквозь зубы. Может быть, устали в работе . . .

Посреди станицы в небо поднялась краснокирпичная церковь о пяти главах, с колокольней над папертью; наличники окон оштукатурены и покрашены желтоватой краской — церковь, как будто, слеплена из мяса, обильно прослоенного жиром, тень ее тучна и тяжела: храм, созданный сытыми людьми большому, спокойному Богу.

Хороводом стоят приземистые белые хаты; — точно дородные бабы стоят они, опоясавшись крученными поясами плетней, пышно окутанные шелками садов, покрытые выцветшей парчею камышевых крыш, а над крышами качаются серебристые тополя, вздрагивает кружевная листва акации, тарахтят как детские погремушки сухие стручья, темные ладони каштанов треплются в воздухе, точно желая схватить быстро бегущие облака. Со двора на двор бегают казачки, высоко подоткнув подолы юбок и рубах, обнажив до колен большие, крепкие ноги, — торопясь убраться к празднику, они озабоченно покрикивают друг на друга и на круглых ребятишек, которые — словно воробьи — купаются в пыли и, черпая ее горстями, высоко подкидывают в воздух.

У церковной ограды, за ветром, развалились по сухому рыжему бурьяну «шляющие за работой»; их десятка два, все это — «никудышный народ», мечтатели, ожидающие счастливого случая, доброй улыбки судьбы или — лентяи, опьяненные широким простором богатой земли, пленники руской страсти к бродяжеству. Они ходят группами в два, три человека из

станицы в станицу, именно: «за работой», — смотрят на нее, удивляются ее обилию, но работают только в крайней нужде, когда уже нет возможности утолить голод иными способами — попрошайничеством или воровством.

Завтра — Успеньев день, в богатой станице — праздник и вот они собрались отовсюду, в надежде, что праздничный день напоит и накормит их до сыта, без труда с их стороны.

Все это «русские» — из центральных губерний, они до черна сожжены непривычным солнцем юга, волосы их выгорели, ветер ершит и треплет их лохмотья, все они притворяются смирными, благочестивыми — устали от трудов, от неудач жизни и вот — сошлись сюда.

Когда мимо них проплывает, охая и поскрипывая, тяжелый воз хлеба, проходит жуя соломинку казак, — они покорно, наянливо кланяются ему, а он смотрит на них косо, пренебрежительно, не ломая шапки, чаще же совсем не видит, как изгибаются перед ним серые лохматые фигуры чужих людей.

Ниже и вычурнее других кланяется казакам туляк Конёв, мужик сухой, обгорелый, точно головня, с черной бородкой, беспечно рассеянной по костлявому лицу, с ласковой улыбочкой темных глаз, глубоко спрятанных в орбиты.

Я только сегодня пристал к этим людям, но Конёв — старый знакомый мой, по пути из Курска до Терской области я неоднократно встречал его. Он человек «артельный», любит держаться среди людей, но, кажется, лишь потому, что очень труслив. На всех точках земли вне своей деревни, прижавшейся где-то к пескам Алексинского уезда, он убежденно говорит всегда одно и то же.

— Действительно, землица тут богатая, а с людями я не согласен . . . никак! В нашем краю народ куда-те душевнее, настоящий русский народ, равненья нет со здешним! Тут — кремни, тут души и на трешник нет!

Он любит тихо и задумчиво рассказать чудесный случай неожиданного обогащения:

— Вот — в подковы ты не веришь, а я те скажу — нашел один ефремовский мужик подкову, а недели через три за этим дядя его, лавошник в Ефремове — со всею семьею и сгори — видал? Все наследство — мужику этому попало — да! Нет,

ты не бай, чего не знаешь: судьба человека жалеет, она его часто с добром стережет . . .

Его черные, круто изогнутые брови всползают высоко на лоб, а глаза изумленно выкатываются из орбит, точно Конёв и сам не может поверить в то, что рассказал.

Когда казак пройдет, не ответив на поклон, Конёв смотрит в спину ему и ворчит:

— Заелся, не видит даже человека . . . Нет, я прямо скажу: суходушный народ! . .

С ним — две женщины; одна — лет двадцати, коротенькая, толстая, со стеклянными глазами и полуоткрытым ртом. У нее лицо дурочки: нижняя часть его, с обнаженными зубами, как будто смеется, а когда взглянешь в неподвижные глаза под низким лбом — кажется, что она сейчас заплачет, испуганно и визгливо, точно кликуша.

— Отпустил он меня сюды с чужими людями, — жалуется она басом, засовывая коротким пальцем под зеленый и желтый платок выгоревшие волосы.

Толсторожий скуластый парень с маленькими глазками монгола толкает ее локтем в бок, сипло и лениво говоря:

— Бросил он тебя. Только ты его и видела . . .

— Да-а, — задумчиво тянет Конёв, разбираясь в своей котомке. — Теперь баб очень просто покидают, никчему они в этом годе, нипочем . . .

Баба морщится, испуганно мигая, растягивает рот — ее подруга говорит бойко и внятно:

— А ты не слушай их, озорников . . .

Она постарше лет на пять и лицо у нее не обычное: большие темные глаза все время играют, почти каждую минуту меняя выражение, то они пристально и серьезно смотрят куда-то вдоль станичной улицы и в степь, где летает ветер, вдруг торопливо начинают искать чего-то на лицах людей, потом тревожно прищурятся, по красивым губам пробежит улыбка — женщина опустив голову, прячет лицо, а когда вновь поднимает его — глаза у нее новые: сердито расширены, между тонких бровей лежит угловатая складка, запекшиеся губы аккуратного рта плотно и упрямо сжаты, она шумно, как лошадь, втягивает воздух тонкими ноздрями прямого носа.

В ней чувствуется что-то не крестьянское: из под синей

юбки высунулись потрескавшиеся ступни ног — это не деревенские растоптанные ноги, под'ем их высок, заметно, что они привыкли к башмакам. Она чинит голубую с белыми горошинами кофту и видно, что работать иглой привычно ей, — небольшие загорелые руки мелькают над измятой материей ловко и быстро. Ветер хочет вырвать шитье из этих рук и не может. Сидит она согнувшись, в прореху холщевой рубахи я вижу небольшую крепкую грудь, грудь девушки, но оттянутый сосок говорит, что предо мною — женщина, кормившая ребенка. Среди этих людей, она точно кусок меди, в куче обломков старого, из'еденного ржавчиной железа.

Большинство людей, среди которых я иду по земле, не то восходя, не то опускаясь куда-то, — серо, как пыль, мучительно поражает своей ненужностью. Не за что ухватиться в человеке, чтобы открыть его, заглянуть в глубину души, где живут еще незнакомые мне мысли, неслыханные мною слова. Хочется видеть всю жизнь красивой и гордой, хочется делать ее такою, а она все показывает острые углы, темные ямы, жалких, раздавленных, изолгавшихся. Хочется бросить во тьму чужой души маленькую искру своего огня, — бросишь, она бесследно исчезает в немой пустоте . . .

А эта женщина будит фантазию, заставляя догадываться о ее прошлом и невольно я создаю какую-то сложную историю человеческой жизни, раскрашивая эту жизнь красками своих желаний и надежд. Я знаю, что это ложь и — знаю — худо будет мне, современем, за нее, но — грустно видеть действительность столь уродливой.

Большой рыжий мужик, спрятав глаза, с трудом подыскивая слова, медленно рассказывает голосом густым как деготь:

— Ладно-о. Пошли. Дорогой я ему баю — хошь не хошь, Губин, а вор — ты, более некому . . .

Все «о» рассказчика крепкие, круглые, они катятся, точно колесо тяжелого воза по теплой пыли проселочной дороги.

Скуластый парень неподвижно остановил на молодой бабе в зеленом платке свинцовые белки, с мутными, точно у слепого, зрачками, срывает серые былинки, жует их, как теленок, и засучив рукав рубахи по плечо, сгибает руку в локте, косясь на вздувшийся мускул.

Неожиданно он спрашивает Конёва:

— Хошь — дам раза?

Конёв задумчиво посмотрел на кулак, — большой, как пудовая гиря и словно ржавчиной покрытый, — вздохнул и ответил:

— Ты себя по лбу вдарь, может, умней будешь . . .

Парень смотрел на него сычом, спрашивая:

— А почему я дурак?

— Наличность доказывает . . .

— Нет, постой, — тяжело поднявшись на колени, придирается парень. — Ты отколь знаешь каков я?

— Губернатор ваш сказывал мне . . .

Парень помолчал, удивленно посмотрел на Конёва и спросил:

— А — какой я губернии?

— Отвяжись, коли забыл.

— Нет, погоди! Ежели я тебя вдарю . . .

Перестав шить, женщина повела круглым плечом, как будто ей холодно стало, и ласково осведомилась:

— А в сам-деле — какой ты губернии?

— Я? Пензенской, — ответил парень, торопливо перевалившись с колен на корточки. — Пензенской, а — что?

— Так . . .

Женщина помоложе странно засмеялась подавленным смехом.

— И я . . .

— А уезда? . .

— А я и по уезду Пензенская, — не без гордости сказала молодуха.

Сидя перед нею, точно перед костром, парень протягивал руки к ней и увещевающим голосом говорил:

— У нас город — хорош! Трактиров, церквей, домов каменных . . . а в одном трактире — машина играет . . . все, что хошь . . . все песни!

— И в дураки тоже играет, — тихонько бормочет Конёв, но увлеченный рассказом о прелестях города, парень уже ничего не слышит, шлепает большими влажными губами и как бы обсасывая слова ворчит:

— Домов каменных . . .

Женщина снова оставив шитье спросила:

— И монастырь есть?

— Монастырь?

Свирепо почесав шею, парень молчит, потом сердито отвечает:

— Монастырь! Я дотошно не знаю . . . я один раз в городу то был, когда нас, голодающих, железную дорогу строить гнали . . .

— Эхе-хе, — вздохнул Конёв, вставая и отходя.

Люди прижались к церковной ограде, как сор, согнанный степным ветром, и готовы снова выкатиться в степь на волю его. Трое спят, некоторые чинят одежду, бьют паразитов, нехотя жуют черствый хлеб, собранный под окнами казачьих хат. Смотреть на них скучно, слушать беспомощную болтовню парня досадно. Старшая женщина, часто отрывая глаза от работы чуть-чуть улыбается ему и хотя улыбка скупенькая, она раздражает меня и я иду за Конёвым.

У входа в церковную ограду стоят сторожами четыре тополя; ветер гнет их, они кланяются сухой пыльной земле и в мутную даль, где возвысились окованные снегом вершины гор. Рыжая степь облита золотым солнцем, гладка, пустынна и зовет к себе тихим свистом ветра, сладким шорохом сухих трав.

— Бабеночка-то? — мечтательно спрашивает Конёв, прислонясь к стволу тополя и обняв его рукою.

— Откуда она?

— Говорит — рязанская, а звать — Татьяной . . .

— Давно с тобой ходит?

— Не-е . . . кабы давно! Седни утром встрелась, верст за тридцать отсюда . . . с подругой с этой. Да я и ране видал ее, около Майкопу, на Лабе-реке, в косовицу. В ту пору был с ней мужик пожилой, бритый, вроде бы солдат, не то любовник ей, не то дядя. Пьяница, драчун. Там его за три дня дважды били. А теперь вот идет она с подругой этой. Дядю то посадили в казачью тюрьму, как он шлею и возжи пропил . . .

Конёв говорит охотно, но — как бы додумывая какую-то невеселую думу. Он смотрит в землю. Ветер треплет его рассеянную бородку и рваный пиджак, срывает с головы картуз — измятую тряпицу без козырька, с вырванной подкладкой — картуз этот точно чепчик и придает интересной голове Конёва смешной бабий вид.

— М-да-а, — сплюнув сквозь зубы тянет он, — приметная бабеночка . . . рысак, просто сказать! Нанес чорт толстомордого этого . . . у меня бы с ней, глядишь, дела наладились хорошие, а он . . . пожалуйте! Пёс . . .

— Ты говорил — у тебя жена есть . . .

Конёв метнул в лицо мне сердитый взгляд и отвернулся, ворча:

— Али я жену в котомке ношу?

Площадью идет кособокий усатый казак, с большими ключами в руке — в другой у него смятая фуражка вперед козырьком. За ним, всхлипывая и вытирая глаза кулаками, плетется кудрявый мальчик, лет восьми, и шершавая собака — морда у нее унылая, хвост опущен, должно быть — тоже обижена. Когда мальченка всхлипнет громче, казак останавливается, молча ждет его и, ударив по темени козырьком фуражки, идет дальше, качаясь как пьяный, а мальчик и собака несколько секунд стоят на месте, один — визжит, другая, равнодушно нюхая воздух старым черным носом, встряхивает хвостом в репьях. Вид у нее ко всему привычный и она похожа на Конёва, только старше.

— Ты вот сказал — жена, — тяжко вздыхая говорит Конёв, — конечно . . . ну, — не всякая болезнь — до смерти! . . Женили меня девятнадцати лет . . .

Остальное я знаю, слышал эти рассказы неоднократно, но мне лень остановить Конёва, и в уши назойливо лезут знакомые жалобы.

— Девка сытая, на любовь охочая. Пошли — посыпались дети, вроде бы тараканы с полатей.

Ветер становится тише, уныло шепчет о чем-то . . .

— Оглянуться не успел, а их — семеро и все живут, — на, тебе. А всего заводу было тринадцать — к чему это? Теперь считай: ей сорок два, а мне сорок три, она — старуха, а я — вот он! Я еще веселый. Одолела меня бедность-нищета, старшенькая девчоночка моя зиму эту в кусочки ходила — что поделаешь? А я — по городам шлялся, ну — там для нас одно дело: гляди да облизывайся! Прямо — вижу не хватит меня, — плюнул на все и — пошел . . .

Сухонький, стройный этот человек не позволяет думать, что он работал много и любит работать. Рассказывая, он не жалуется, говорит просто, как бы вспоминая о ком-то другом.

Казак поравнялся с нами, расправил усы и густо спросил:

— Откуда?

— Из России.

— Вы все оттуда, — сказал он и отмахнувшись рукой от нас пошел к паперти. Нос у него уродливо широк, круглые глазки заплыли жиром, лысая голова напоминает башку сома. Мальчик, вытирая нос, ушел за ним, собака обнюхала ноги наши, зевнула и свалилась под ограду.

— Видал? — ворчит Конёв. — Нет, в России народ обходительней, куда те! Стой-ко!

За углом ограды бабий визг, глухие удары, мы бросаемся туда и видим: рыжий мужик, сидя верхом на пензенском парне, покрякивая и со вкусом считая удары, бьет его тяжелыми ладонями по ушам, рязанская женщина безуспешно толкает рыжего в спину, ее подруга — визжит, а все остальные, вскочив на ноги, сбились в кучу, смеются, кричат . . .

— Так!

— П-пять! — считает рыжий.

— За что?

— Шесь!

— Буде! Эх ма, — подпрыгивая на одном месте волнуется Конёв.

Один за другим раздаются хлесткие, чмокающие удары; парень возится, лягается, ткнувшись лицом в землю, и раздувает пыль. Высокий сумрачный человек в соломенной шляпе не торопясь, засучив рукава рубахи, встряхивает длинной рукою, вертлявый серый паренек воробьем наскакивает на всех и советует вполголоса:

— Прекратите! Заарестуют всех по скандалу . . .

А высокий подступил вплоть к рыжему, одним ударом по виску сшиб его со спины парня и, обращаясь ко всем, поучительно сказал:

— Это — по-тамбовски!

— Бесстыдники, лиходеи, — кричала рязанская, наклонясь над парнем; щеки у нее были багровые, она отирала подолом юбки окровавленное лицо избитого, темные глаза ее блестели сухо и гневно, а губы болезненно дрожали, обнажая ровные ряды мелких зубов.

Конёв прыгая вокруг нее советовал:

— Ты — водой его, воды дай . . .

Рыжий, стоя на коленях, протягивал тамбовцу кулаки и кричал:

— А он чего силой хвастал?
— За это — бить?
— А ты кто таков?
— Я?
— Самый ты?!
— Я те вот шаркну еще раз . . .

Остальные горячо спорили о том, кого надо считать зачинщиком драки, а вертлявый паренек всплескивая, руками, умолял всех:

— Оставьте шум! Чужая сторона, строгости и все . . . а, Б-боже мой!

Уши у него странно оттопырены, кажется, что если он захочет, то может прикрыть ушами глаза.

Вдруг в красном небе гулко вздохнул колокол, заглушив все голоса и в то же время среди толпы очутился молодой казак с палкой в руке, круглолицый, вихрастый, густо окропленный веснушками.

— Отчего шум, стерво? — добродушно спросил он.

— Избили человека, — сказала рязанка, сердитая и красивая.

Казак взглянул на нее, усмехнулся.

— Где спите?

Кто-то неуверенно сказал:

— Тут.

— Не можно. Ще церкву обворуете . . . Гайда до войсковой, тамо вас разведуть по хатам.

— Вот это — ничего! — говорил Конёв, идя рядом со мною. — Это, все-таки . . .

— Ворами нас считают, — сказал я.

— Так — везде! Это и у нас тоже полагается. Осторожность: про чужого всегда лучше думать, что он вор . . .

А рязанка шла впереди нас рядом с толстомордым парнем; он раскис и бормотал что-то невнятное, а она высоко подняв голову четко говорила тоном матери:

— Ты — молоденький, тебе не надо с разбойниками якшаться . . .

Медленно бил колокол и навстречу нам со дворов выползали чисто одетые старики и старухи; пустынная улица оживала, коренастые хаты смотрели приветливее.

Звонкий девичий голос кричал:

— Ма-ам? Мамка! Ключ от зеленого сундука — где? Ленты взять . . .

Мычали волы, отвечая зову колокола глухим эхом.

Ветер стих; над станицей замедленно двигались красные облака и вершины гор тоже рдяно раскраснелись. Казалось, — они тают и текут золотисто-огненными потоками на степь, где, точно из камня высеченный, стоит на одной ноге аист и слушает тихий шорох, уставших за день трав.

На дворе войсковой хаты у нас отобрали паспорта, двое оказались беспаспортными, их отвели в угол двора и спрятали там в темный хлевушок. Все делалось тихо и спокойно, как обычное, надоевшее. Конёв уныло посматривал в темнеющее небо и ворчал:

— Удивительно даже . . .

— Что?

— Пачпорта, например. Хорошего, смирного человека можно бы и без пачпорта по земле пускать . . . Ежели я — безвредный . . .

— Ты — вредный, — сердито и уверенно сказала рязанка.

— Почему так?

— Я знаю почему . . .

Конёв усмехнулся и замолчал, закрыв глаза.

Почти до конца всенощной мы валялись по двору, как бараны на бойне, потом меня, Конёва, обеих женщин и моршанского парня отвели на окраину станицы в пустую хату, с проломленной стеною, с выбитыми стеклами в окнах.

— На улицу не выходить — заарестуем, — сказал казак, провожавший нас.

— Хлебушка бы, небольшой кусок, — заикнулся Конёв.

Казак спокойно спросил:

— Работал?

— Мало ли!

— А на меня?

— Не довелось . . .

— Когда доведется, то я тебе дам хлеба . . .

И коротенький, толстый — выкатился со двора, как бочка.

— Ка-ак он меня, а? — изумленно возводя брови на середину лба, бормотал Конёв. — Это, просто сказать, жох-народ . . . ну-ну!

Женщины ушли в самый темный угол хаты и точно сразу заснули там; парень, сопя, ощупывал стены, пол, исчез, вернулся с охапкой соломы в руках, постелил ее на глинобитный пол и молча разлегся, закинув руки под избитую голову.

— Глядите, какое соображение выказал пензяк то! — воскликнул Конёв завистливо. — Бабы, ой! Тут где-то солома есть . . .

Из угла сердито ответили:

— Поди да принеси . . .

— Вам?

— Нам.

— Надо принести.

Сидя на подоконнике, он немножко поговорил о бедных людях, которым хотелось пойти в церковь помолиться Богу, а их загнали в хлев.

— Да. А ты баешь, — народ — одна душа! Нет, браток, у нас в России люди праведниками считать себя очень стесняются . . .

И вдруг, перекинув ноги на улицу, он бесшумно исчез.

Парень уснул беспокойным сном, возился, раскидывая по полу толстые ноги и руки, стонал и всхрапывал, шуршала солома. В темноте шушукались бабы, шелестел сухой камыш на крыше хаты — ветер все еще вздыхал. Щелкал по стене какой-то прут и все было как во сне.

За окном густо-черная ночь, без звезд, многими голосами шептала о чем-то жалобном и грустном; с каждой минутой звуки становились все слабее, а когда сторожевой колокол ударил десять раз и гул меди растаял — стало еще тише, точно многое живое испугалось звона ночного и спряталось — ушло в невидимую землю, в невидимое небо.

Я сидел у окна, глядя как земля дышет тьмою и тьма давит, топит теплой черной духотой своей серые бугры хат. Церковь была тоже невидима, точно ее стерло. Ветер, многокрылый серафим, гнавший землю три дня кряду, внес ее в плотную тьму, и земля, задыхаясь от усталости, чуть движется в ней, готовая бессильно остановиться навсегда в этой черноте, на-

сквозь пропитавшей ее. И утомленный ветер тоже бессильно опустил тысячи своих крыльев — мне кажется, — что голубые, белые, золотые перья их поломаны, окровавлены и покрыты тяжкой пылью.

Думалось о маленькой и грустной человечьей жизни, как о бессвязной игре пьяного на плохой гармонике, как о хорошей песне, обидно испорченной безголосым, глухим певцом. Стонет душа, нестерпимо хочется говорить кому то речь, полную обиды за всех, жгучей любви ко всему на земле — хочется говорить о красоте солнца, когда оно обняв эту землю своими лучами, несет ее, любимую, в голубом пространстве, оплодотворяя и лаская. Хочется сказать людям какие то слова, которые подняли бы головы им и, сами собою, слагаются юношеские стихи

— Все родной землею нашей
Мы для счастья рождены!
Для того, чтоб быть ей краше,
Солнцем мы земле даны!

В этом светлом солнца храме
Мы и боги, и жрецы.
Нами жизнь творима, нами! . .

Сквозь тьму, из угла, где спрятались женщины, тихою прерывистой струей просачивается шепот — я напряженно вслушиваюсь, стараясь поймать слова, различить голоса.

Вот твердо и уверенно говорит рязанка:

— А ты не показывай, что больно . . .

Ее подруга сморкается и гуняво тянет:

— Да-а, абы можно терпеть . . .

— Притворись, говорю. Он — бьет, а ты — ровно бы тебе ничего это, даже шутка . . .

— Тоды он забьет.

— Да еще посмейся ему, улыбнись ласковенько . . .

— Не били тебя, видно, не знаешь ты . . .

— Знаю! И — били, милая. Очень я это испытала. А ты — не бойся, не забьет . . .

Где-то далеко глухо брехнул пес, прислушался и яростно залаял, ему тотчас отозвались другие и минуты две я не слышал беседы баб; потом собаки задохнулись и снова потекла тихая речь.

— Мужику тоже трудно жить, не забудь, милая. Всем нам,

простым то людям, трудно, вот и надо, чтоб кто-нибудь показывал, будто ему ничего . . . вовсе, будто, легко ему . . .

— Ой, Богородица Пречистая . . .

— Бабья ласка — великое дело; баба и мужу, и любовнику вместо матери встает. Ты вот попробуй и увидишь: начнет он твоему характеру завидовать, станет мужикам хвастаться: у меня де жена — что хошь с ей делай — веселая, ласковая, вроде — месяц май! . . Ничему не поддается — хоть голову руби . . .

— Не-ет . . .

— А ты думаешь — как? Это, доченька, такая жизнь . . .

Мешая слушать, на улице досадно шаркают чьи-то неверные шаги.

— Сон Богородицы — знаешь?

— Не-е . . .

— Спроси старух. Это — хорошо знать. Не грамотна?

— Нету. А какой сон-от?

— Вот — слушай . . .

Под окном раздается осторожный вопрос Конёва:

— Наши — тут? Ну, слава Те Господи! Заплутал я, брат, собак взбудил, еле на кулаки не попался . . . на-кось держи!

Он подал мне большой арбуз, потом сам ввалился в окно, отряхиваясь и шумя.

— И хлебца добыл довольно. Думаешь — украл все? Ни-ни! Почто красть, коли выпросить можно? Я ловок на это, умею подсыпаться к людям. Иду — вижу: в хате огонь, за столом люди ужинают, — а где много людей, там всегда один добрый есть! Вот — и поужинал, и выпил, и вам притащил . . . эй, бабоньки!

Они не отвечали.

— Дрыхнут курвины дочери. Бабы!

— Чего надо? — сухо спросила рязанка.

— Арбузу хотите?

— Спасибо.

Конёв стал осторожно подвигаться на голос.

— А хлеба? Пшеничный хлеб, мягкий . . . просто, как ты . . .

Подруга рязанки сказала голосом нищей:

— Дай мне хлебца . . .

— То-то же! Где вы тут?

— Мне и арбузу . . .

— Ты — которая?

— Ой! — болезненно вскрикнула рязанка. — Куда те несет, пострел?

— Не кричи . . . темно . . .

— Спичку бы зажег, чорт.

— Сам четверт. Спичек у меня мало. Ежели я схватился за тебя, не велика беда. Муж бил — больней было. Бил муж то?

— А тебе что?

— Любопытно. Эдакую бабеночку . . .

— Ты — слушай . . . ты — не тронь . . . а то . . .

— А что?

Они спорили долго, бросая друг в друга какими-то короткими и все более злыми словами, наконец, рязанка глухо крикнула:

— О, чорт паршивый . . . туда же . . .

Началась возня, раздались удары по мягкому, Конёв скверно хихикал, а пензенская промямлила:

— Не балуйте, бесстыжие . . .

Я зажег спичку, подошел к ним и молча оттащил Конёва прочь, это не обидело его, а как будто только охладило: сидя на полу в ногах у меня, отдуваясь и поплевывая, он говорил увещевающим голосом:

— С тобой, дура, играют, а ты — эко, разошлась! . . Убудет тебя . . .

— Получил? — спокойно спросили из угла.

— Ну, так что? Губу разбила . . . важность!

— Подкатись-ка еще, я те и башку разобью . . .

— Лошадь! Глупость деревенская . . . И ты тоже, — обратился он ко мне, — тащишь, за что попало в руки . . . одежу рвешь . . .

— Не обижай человека.

— Чудак, — не обижай! Разве бабу этим обидишь?

И со смешком, грязно, он начал рассказывать о том, как ловко бабы умеют грешить, как они любят обмануть мужика.

— Похабники, — сонно проворчала пензячка.

Скрипнув зубами, парень вскочил, сел и, схватившись за голову руками, угрюмо заговорил:

— Уйду завтра . . . домой пойду . . . Господи! Все едино . . .

Снова свалился, как убитый, а Конёв сказал:

— Оглобля.

Во тьме поднялась черная фигура, бесшумно, как рыба в воде, поплыла к двери, исчезла.

— Ушла, — сообразил Конёв. — Здо-оровая бабища! Ну, все-таки, ежели бы ты не помешал, я бы одолел ее, ей-богу!

— Иди за ней, попробуй . . .

— Нет, — сказал он подумав, — там она палку какую найдет, кирпич, али что другое. Ничего, я ее достигну! Это ты напрасно помешал . . . позавидовал мне . . .

Он снова стал скучно хвастать своими победами и вдруг умолк, точно проглотив язык.

Тихо. Все остановилось, прижалось к неподвижной земле и спит. Меня тоже одолевает чуткий сон, я вспоминаю все подарки умершего дня, они ростут, пухнут, становясь все тяжелее и — точно степная могила надо мною. Дребезжит колокол, крики меди падают во тьму неохотно, паузы между ними не ровны.

Полночь.

На сухой камыш крыши и в пыль улицы шлепают тяжелые редкие капли дождя. Трещит сверчок, торопливо рассказывая что-то и во тьме хаты снова плавает горячий, подавленный, всхлипывающий шепот:

— Ты подумай, голубь, что так то, без дела ходить, на чужих работать.

Слышен глухой ответ избитого парня:

— Я тебя не знаю . . .

— Тише.

— Чего тебе надо?

— Ничего не надо. Жалко мне тебя — молодой ты, сильный, а живешь зряшно, я и говорю: идем-ка со мной!

— Куда?

— На морской берег, там — я знаю — есть хорошие места: ты гляди — вон, какая земля здесь ласковая до человека, а там еще лучше . . .

— Врешь, поди . . .

— Тихонько, ты! А я женщина — хорошая, я все умею, всякую работу, и заживем мы с тобой хорошо, тихо, на своем

месте . . . Я те деток нарожу-выкормлю . . . ты гляди, какая годная я, пощупай груди то . . .

Парень громко хрюкает; мне неловко; хочется дать им знать, что я не сплю, но любопытство мешает сделать это, я молчу и вслушиваюсь в странную, волнующую кровь беседу.

— Нет, погоди, — тяжело дыша шепчет женщина, — не балуй . . . я ведь не для этого . . . пусти.

Грубо и громко парень ворчит:

— Тогда — не лезь! Сама лезет, а сама же ломается . . .

— Тише ты, услышат — стыдно будет мне . . .

— А приставать ко мне — не стыдно?

Молчание. Парень сердито сопит и возится; капли дождя падают все так же неохотно, лениво и сквозь их шум текут слова женщины:

— Ты думаешь, я мужика ищу? Мне мужа надо надежного, хорошего человека . . .

— Еще я те не хорош.

— Экой ты какой . . .

— Мужа ей! — фыркает парень. — Ловки вы тут . . . мужа! Ишь, ты . . .

— Ты — послушай: шляться мне надоело . . .

— Ступай домой.

Помолчав, женщина ответила очень тихо:

— Нету у меня дома, и родни нет . . .

— Врешь, поди, — повторил парень.

— Ей-богу! Забудь меня Богородица, коли вру . . .

Мне кажется, что в этих словах ее звучат слезы, мне — нестерпимо тяжело и тошно, хочется встать и вышвырнуть парня из хаты пинками, а потом долго говорить этой женщине какие то сердечные слова. На руки бы взял ее, как покинутого ребенка . . .

А у них снова началась возня.

— Н-ну, не ломайся, — мычит парень.

— Нет, не надо . . . силом не дамся . . .

И вдруг она вскрикнула болезненно и удивленно:

— Ой . . . за что? За что же?

Я вскочил и тоже закричал, чувствуя, что зверею.

Стало тихо, кто-то осторожно пополз по полу, задел изломанную дверь, висевшую на одной петле.

— Это не я, — заворчал парень, — это вон паскуда пристает ко мне. Жулики здесь все, покою нет . . .

В стороне от него обиженно вздохнули.

— Дурак ты, дурак . . .

— Молчи . . . распутница!

Дождь перестал, в окно вливалась духота, тишина сделалась еще плотнее, тяжело давила грудь и точно паутина оклеивала лицо, глаза. Я вышел на двор — на нем было, как в погребе летом, когда лед уже растаял и черная яма полна теплой, густой сыростью.

Где-то близко дышала всхлипывая женщина, я прислушался и подошел к ней: она сидела в углу двора, спрятав голову в ладонях и качалась, словно кланяясь мне.

Сердясь на нее за что-то, я долго стоял перед нею, не зная что сказать, потом спросил:

— Ты — сумасшедшая, что ли?

— Отстань, — не сразу отозвалась она.

— Слышал я твои речи к нему . . .

— Ну — так что? Тебе какое дело? Брат мне ты, али кто?

Говорила она, точно сквозь сон и не сердясь. Мутные пятна стены, точно безглазые лица, наблюдали за нами, а рядом тяжко дышал вол.

Я сел рядом с женщиной.

— Эдак ты очень скоро сломишь себе голову . . .

Не ответила.

— Мешаю я тебе?

— Нет, ничего. Сиди, — сказала она, опустив руки и присматриваясь ко мне.

— Ты — откуда?

— Нижегородский.

— Далё-око . . .

— Люб тебе парень этот?

Не сразу и как бы считая слова сказала:

— Ничего. Здоровый такой . . . да вот — потерянный. Глупый еще, видно. А — жалко, хороший мужик был бы на хорошем месте.

Церковный колокол ударил дважды — она дважды перекрестилась, не перерывая речи.

— Жалко глядеть, когда молодое зря пропадает, жалко си-

лушки, кабы можно — взяла бы всех и поставила на хорошие места.

— А себя — не жаль?

— Как — не жаль? И себя тоже . . .

— Что ж ты стелешься пред эдаким болваном;

— Я бы его выправила. Думаешь — нет? Не знаешь ты меня...

Она глубоко вздохнула.

— Он прибил тебя, что ли?

— Нет. Ты его не тронь уж . . .

— А крикнула?

Неожиданно прислонясь ко мне плечом, она тихонько созналась:

— В грудь он меня ударил . . . он бы одолел меня . . . А я не хочу, не могу я так, без сердца, словно кошка . . . Экие вы все какие . . . несуразные . . .

Беседа оборвалась. В дверях хаты встал кто-то и тихонько свистнул, точно собаку позвал.

— Это он, — прошептала женщина.

— Уйти, что ли?

Она схватила меня за колено, торопливо сказав:

— Нет, не надо, не надо.

И вдруг подавленно застонала.

— Го-осподи — жалко всех . . . всю то жизнь жалко, всю наскрозь, всех людей . . . Господи-Батюшко . . .

Плечи ее тряслись, она плакала и шептала, жалобно всхлипывая.

— Вот ночью . . . как вспомнишь все, что видела, всех людей — тошно, тошно . . . закричала бы на всю землю . . . а — что? Не знаю . . . нечего сказать . . .

Это мне было глубоко знакомо и понятно — мою душу тоже давил этот крик без слов.

— Кто ты такая? — спрашивал я ее, поглаживая качавшуюся голову, трепетное плечо и успокоившись, она тихо рассказала мне сказку своей жизни: она — дочь столяра и пчеловода. По смерти матери отец женился на молодой девице, мачеха уговорила его отдать дочь в монастырь, там Татьяна и жила с девяти лет по невестин возраст. Выучилась грамоте, рукодельям, а потом отец выдал ее за приятеля, солдата, пожилого человека, лесника в монастырском лесу.

Мне досадно, что я не вижу лица ее — предо мною круглое, тусклое пятно и, должно быть, она закрыла глаза. Такая странная тишь, что женщина все время говорит едва слышным шепотом. Оба мы точно погружены глубоко в черную пустоту, где нет жизни, и наша доля — начать жизнь.

— Человек был нехороший и пьяница, у него в караулке монашки гуляли по ночам с охочими людями, и меня он стал к этому склонять, я было не хотела поддаваться, а он — бить меня, ну — уступила я, да, на ту пору, понравился мне один человек . . . с ним, а не с мужем, я и узнала настоящее женское. А любовник-то мой женат был, дозналась жена его про меня — тут мужа моего прогнали с должности. Богатая она была и, конечно, обидно ей уступать место свое не знай кому. Красивая, толстая только очень. Потом вскоре муж мой помер — опился в день Флора-Лавра, а батюшка еще раньше помер же. Я — к мачехе, а она говорит — зачем ты мне? Подумай. — Подумала я — верно, незачем! Я, было, опять в монастырь, ну — вижу не для меня это, да и мать Таисья, старушка, учительша моя сказала мне: иди ка ты, Татьяна, в мир, может и найдешь себе счастье. Вот я и пошла . . . да и хожу . . .

— Не ладно ты счастья ищешь . . .

— Уж, как умею . . .

Теперь темнота не казалась туго натянутою тканью тяжелого занавеса, но поредела от напряжения, стала прозрачнее, а местами собралась в густые складки, в комья, набилась в окно хаты и смотрит оттуда слепым глазом.

Над буграми крыш всплыла в небо колокольня, поднялись тополя, по стене хаты расползлись трещины и вместе с язвами выкрошившейся известки сделали стену картой какой-то неведомой страны.

Я взглянул в темные глаза женщины, они блестели сухо, печально и показались мне наивными, как у девочки подростка.

— Чудачка ты . . .

— Какая есть, — ответила она, облизывая губы тонким, точно кошачьим языком.

— Чего ж ты ищешь?

— Это у меня — обдумано, это я знаю! Вот, погоди — встретится мне хороший мужик и найдем мы с ним землю себе. Най-

дем мы ее около Нового Афона, я там места знаю, была. И вот, начнем устраивать ее хорошо: сад будет, огород и пашня, как надобно для хозяйства.

Слова ее звучали все увереннее и крепче.

— Устроимся мы по хорошему то, а к нам еще люди подойдут, а мы уж — старожилы, нам почет от них! Так — еще, да еще — и вот те новая деревня, хорошее место. Мужа, глядишь, в старосты выберут. Водила бы я его чисто, барином. А в саду — дети играют, беседка в саду то выстроена . . . беда, как хорошо можно жить!

Действительно — будущее продумано у нее насквозь; она рисует новую деревню с такими мелкими подробностями, как будто долго жила в ней.

— Хорошего жительства хочется . . . Господи! Кабы удалось . . . Первое дело, конечно, мужик нужен . . .

Лицо у нее милое, глаза смотрят в тающую ночь, мягко лаская все, на чем остановятся. А мне ее жалко, — жалко почти до слез и чтобы скрыть это, я шучу:

— Не гожусь ли я тебе?

Усмехнулась легонько.

— Нет . . . Ты — не годишься . . .

— Почему?

— Мысли другие у тебя . . .

— Ну, откуда тебе знать мои мысли?

Она отодвинулась от меня, сухо сказав:

— По глазам вижу . . . Нет, зря говорить я не согласна . . .

Мы сидим на дубовой суковатой колоде, почерневшей от сырости; женщина хлопает ладонью по ней:

— Богато живут казаки, а не нравится мне как . . .

— Что — не нравится?

— Скушно, будто. Всего — много, а — скушно . . .

Не сдержав жалости к ней, я тихонько сказал:

— И тебе скучно будет — не найдешь ты, чего ищешь, я думаю . . .

Она отрицательно качает головой.

— Бабе скучать некогда. У ней такой оборот жизни: то — ребенка хочет, то — няньчит его . . . одного выняньчила — другой готов. Весна да осень, а зима с летом мимо идут.

Приятно было смотреть в ее задумчивое лицо; конечно, хо-

телось крепко обнять ее, но — лучше уйти поскорее в тихую пустынную степь, и унося с собою воспоминание об этой женщине, шагать одиноко по твердой дороге к серебряной стене утонувших в небе гор, к черным ущельям, разинувшим на степь свои глубокие прохладные пасти. А уйти — нельзя, паспорт отобран казаками.

— Ты сам то — чего ищешь? — вдруг спросила она, снова подвинувшись ко мне.

— Ничего. Просто смотрю, как люди живут.

— Одинокий?

— Да.

— Как я, все равно. Сколько на свете одиноких-то . . . Господи!

Волы просыпаются и тихонько мычат, напоминая звук волынки, на которой играет, где-то далеко, слепой старик. Сонный сторож неверной рукой четырежды ударил в колокол, два раза — тихо, один — очень громко и сердито, так, что медь взвизгнула и снова — тихо, чуть коснувшись певучей меди железным языком.

— Как же люди-то живут?

— Плохо.

— Да-а. И я вижу это — плохо.

Мы долго молчим, потом она говорит тихонько:

— Вот — светает, а я — глаз не сомкнула и — часто это со мной . . . Задумаюсь про все, задумаюсь . . . будто я одна на земле и все надобно мне одной устроить по новому-то.

— Недостойно себя живут люди, в безгласии и ничтожестве, в неисчислимых обидах нищеты и глупости, — говорю я, забываясь, и горячо исчисляю все виденное мною темное, постыдное, мучительное.

— Гляди — ты с добром идешь к человеку, свободу свою, силу готова ему за дружбу отдать, а он этого не понимает и — как его обвинить? Кто показывал ему доброе?

Она положила руку на плечо мне и смотрит прямо в глаза, немножко приоткрыв красивый рот.

— Ой, — слышу я, — это правда! Милый человек — верно: нет добру цены!

Крепко прижавшись друг ко другу, мы точно плывем, а встречу нам выплывает светлея, освобожденное ночью: белые

хаты, посеребренные деревья, красная церковь, земля, обильно окропленная росою.

Восходит солнце; над нами — точно тысячи белых птиц — плывут стаи прозрачных облаков.

— Господи, — шепчет Татьяна, толкая меня, — ходишь одна, думаешь, а — о чем? Ну, милый же вы человек . . . все это — правда! Никому ничего не жаль . . . ах, как верно!

И вдруг вскочив на ноги, она приподняла меня и прижалась ко мне так крепко, что я отстранил ее, но она плачет, тянется ко мне и целует сухими, точно острыми губами — эти поцелуи доходят до сердца.

— Ну, добрый же вы мой, — всхлипывая шепчет она, а у меня земля уходит из-под ног.

Оторвалась, оглянула двор и деловито пошла в угол его — там, под плетнем, густо разрослись незнакомые мне травы.

— Иди, идите-ко . . .

Потом, сидя в бурьяне, точно в маленькой пещере, смущенно улыбаясь, оправляя волосы, она тихонько шепчет:

— Вот, как случилось . . . Ну — ничего . . . Господь мне простит . . .

Удивленный, чувствуя себя, как во сне, я благодарно смотрю на нее. Мне как-то особенно легко: в груди у меня светлая пустота, а в ней, как ласточки в небе, мелькают какие-то неуловимые радостные мысли и слова.

— В большом горе и маленькая радость велика, — слышу я.

Я гляжу на грудь женщины, окропленную, как земля росою, каплями влаги, они краснеют, отражая солнечный луч — точно кровь выступила сквозь кожу. И моя радость быстро тает — почти до слез, до тоски жалко эту грудь — я, почему-то, знаю, что бесплодно иссякнет живой ее сок.

Как будто извиняясь предо мною, она говорит немножко печально:

— Что сделаешь с собой? Иной раз так уж бывает — нахлынет что-то в душу до того, что даже больно в грудях, и так уж вся и открылась бы, как перед месяцем . . . али — в жару — пред рекою . . . право, ей-богу! После, конечно, стыдненько . . . не гляди-ко на меня! Что уставился, словно ребенок?

А я не могу отвести глаз от нее, думая о том, что потеряется она на запутанных дорогах.

— И лицо, будто у новорожденного.

— Глупое, что ли?

— Похоже, что глупое.

Застегнув кофту, она сказала:

— Скоро, чать, к обедне ударят . . . Пойду, надо помолиться Богородице. Ты сегодня идешь?

— Как только паспорт получу . . .

— Куда путь?

— На Алагир. А — ты?

Встав на ноги, она оправляет юбку — бедра у нее уже плеч, вся она осанистая, стройная.

— Я то? Не знаю еще . . . Надобно мне в Нальчик . . . а, может, не пойду. Не знаю.

И протянув ко мне крепкие, ловкие руки, она предложила, краснея:

— Ну, давай, поцелуемся еще на растанье.

А обняв одной рукою и крестя другой — сказала:

— Прощай, дружок! Спаси тебя Христос за хорошее слово, за всю твою повадку . . .

— Пойдем вместе?

Вырвалась из рук моих, твердо и строго говоря:

— Не годится это мне . . . не согласна! Кабы ты крестьянин был, а так — что толку? Одним часом жизнь не меряют, а годами . . .

И ушла в хату, тихо улыбнувшись мне на прощанье. Я сел на колоду, думая об этой женщине: что найдет она? . . Увижу я ее еще когда-нибудь?

Заблаговестили к ранней обедне; станица давно уже проснулась и солидно, невесело шумела.

Когда я вошел в хату за котомкой — хата была уже пуста, должно быть, все вышли через разломанную стену прямо на улицу.

Сходил в войсковую избу, взял паспорт и отправился на площадь — нет ли попутчиков?

Как вчера, у ограды валялись люди из России; сидел, прислонясь спиною к бревну толстомордый пензяк — его разбитое лицо стало еще больше, уродливее, а глаза совсем заплыли в багровых опухолях.

Явился новый — седенький, остробородый старичек, в бар-

хатной выцветшей скуфейке, тощий и сухой. Личико у него с кулак, нос хищно загнут и — красный, пористый, а глаза — сердито вороватые.

Рыжий орловец и вертлявый паренек наседают на него:

— Ты чего ради шляешься?

— А — ты? — тоненьким голосом спрашивает старик, прикручивая проволокой отломившуюся ручку закопченного железного чайника и ни на кого не глядя.

— Мы — за работой ходим!

— Мы живем, как велено . . .

— Кем?

— А — Богом! Забыл?

Старик равнодушно и четко говорит:

— Плюет на вас Бог песком да пылью, кою вы же сами поднимаете, шляясь по земле Его зря . . .

— Стой! — кричит ушастый парень. — Как? А Христос с апостолами не ходил по земле?

— То — Христос! — значительно сказал старик, подняв на спорщика острые глаза. — Дураки! Что говорите, с кем в ряд ставитесь? Я, вот, крикну казака . . .

Много раз слышал я такие споры и они также противны мне, как беседы о душе.

Надобно идти.

Появился Конёв, растрепанный, потный и тревожно мигая спросил:

— Рязанку эту, Таньку, видал? Нет? Ах, ведьма, стало быть — ушла она в ночь. Дали мне вчера чего-то выпить, настойки, что ли! Спал я всю ночь, как медведь зимой . . . А она с этим, видно, с пензяком . . .

— Вот он, — указал я.

— Э . . . нако ты! Ну, как же расписали человека, а? Богомазы, просто сказать . . .

Он снова начал беспокойно оглядываться.

— Куда ж они обе пошли?

— За обедней, может . . .

— И верно! Конечно! За-адела, брат, меня баба эта — ух, как.

Но и после ранней обедни, когда — под веселый звон колоколов — нарядное казачество, степенно выплыв из церкви, разлилось по станице яркими ручьями — мы не нашли Татьяну.

— Ушла, — печально ворчал Конёв. — Ну, однако ж, я ее найду . . . я — настигну . . .

Мне не верилось в это и не хотелось этого.

Лет через пять я шагал по двору Метехского замка в Тифлисе, безуспешно пытаясь догадаться — за какие провинности посадили меня в эту тюрьму?

Картинно-грозная извне, внутри она была наполнена веселыми и мрачными юмористами — мне казалось, что все люди в ней устроили «с разрешения начальства» любительский спектакль и, как подростки, охотно, усердно, но — неумело играют плохо понятые роли арестантов, надзирателей, жандармов.

Сегодня, например, пришли в камеру мою надзиратель и жандарм, чтобы вести меня на прогулку, — я заявил им:

— Можно мне не гулять? Нездоров я и не хочется . . .

Большой, русобородый красавец жандарм строго поднял палец вверх.

— Тебе хотеть не велено . . .

А надзиратель, черный как трубочист, с большими синими белками глаз подтвердил вывихнутым языком:

— Тута нькому нэ вэлэно хотэть — знаишь?

И вот я — гуляю.

На дворе, мощеном камнем, жарко, точно в печи. Висит над ним плоский и мутный квадрат пыльного неба. С трех сторон двор замыкают высокие серые стены, с четвертой — ворота, с какой-то страховидной надстройкой над ними.

Сверху через крыши непрерывно вливается глухой шум бешеных волн рыжей Куры, воют торговцы на базаре Авлабара — азиатской части города; — пересекая все звуки ноет зурна, голуби воркуют где-то . . . Я чувствую себя внутри барабана, а по коже его бьют множеством палок.

Из двух линий окон вторых и третьих этажей смотрят сквозь решетки смуглые лица, курчавые головы туземцев — один из них упрямо плюет во двор, явно стараясь доплюнуть до меня, но только напрасно истощает силы.

Другой раздраженно и упрекающе кричит:

— Послушэты! Зачэм ходышь такым курицам? Хады галава вэрх!

Поют странную песню — вся она запутанная, точно моток,

шерсти, которым долго играла кошка. Тоскливо тянется и дрожит, развиваясь, высокая воющая нота, уходит все глубже и глубже в пыльное тусклое небо и вдруг, взвизгнув, порвется спрячется куда-то тихонько рыча, как зверь, побежденный страхом. Потом снова вьется змеею выползая из-за решетки на жаркую свободу.

Внимая этой песне, отдаленно знакомой мне — звуками своими она говорит что-то понятное сердцу, больно трогающее его — я хожу в тени тюремного корпуса, поглядывая на окна и вижу — в рамке одного из железных квадратов вклеено чье-то печально-удивленное, голубоглазое лицо, обросшее беспечно растрепанной черной бородкой.

— Конёв? — вслух соображаю я.

Он, — на меня уставились прищурясь очень памятные мне глаза.

Оглядываюсь — мой надзиратель дремлет, сидя в тени на крыльце у входа в корпус, двое других играют в шашки, четвертый усмехаясь смотрит, как двое уголовных качают воду, приговаривая в такт движению рычага:

— Машкам, — Дашкам, — Дашкам, — Машкам . . .

Я подхожу ближе к стене.

— Конёв — ты?

— Не могу признать, — бормочет он, втискивая голову в решетку, — а — верно: я — Конёв!

— За что?

— По фальшивой монете . . . только я совсем случайно, просто сказать — вовсе не причем я тут . . .

Надзиратель проснулся, гремят ключи, точно кандалы, он дремотно советует:

— Нэ стой . . . далши отходи, у стена — нэлза.

— Середи двора — жарко, дядя.

— Вэздэ жарко, — справедливо говорит он, снова опуская голову, а сверху падает тихий вопрос Конёва:

— Ты — кто?

— Татьяну рязанскую помнишь?

— Эко — словно обидясь тихонько воскликнул он. — Не помню! Чать мы вместе судились . . .

— И она? По монете?

— А как же? Только она — тоже случаем попала, все равно, как и я . . .

Медленно шагаю вдоль стены, в душной тени ее; из окон подвала тянет запахом прелой кожи, кислого хлеба, веет сыростью, мне вспоминаются Татьянины слова:

— В большом горе и маленькая радость велика . . .

. . . Новую деревню хотела построить на земле, хотела создать какую-то новую хорошую жизнь . . .

Вспоминаю ее лицо, ее доверчивую, жаждущую грудь, а сверху торопливо падают на голову мне тихие, серые, как пепел, слова:

— Главный-то затейщик — любовник ее — попов сын, он в деле этом машинист . . . На десять годов заторкали его . . .

— А ее?

— Татьяну Васильевну — на шесть и меня эдак же. Послезавтра отправляюсь я в Сибирь . . . попала мышь в подбойку! В Кутаисе судили, у нас бы, в России, легше было . . . тут народишко дикой, злой народ, злодейский . . .

— Дети у нее были?

— При распутной-то жизни? Нет, какие там дети . . . Да и попович-то чахоточный, куда ему . . .

— Жалко ее . . .

— Еще бы те! — шипит Конёв оживленно. — Женщина, конечно, глупая, однако — прекрасная . . . просто сказать — редкая . . . Так до людей жалостлива . . .

— Ты тогда нашел ее?

— Это — когда?

— После Успеньева дня?

— Зимой настиг я ее, за Покров уже повернуло время, она около Батума у офицера старенького при детях была — жена у него сбежала, ну . . .

Точно курок револьвера щелкает сзади меня — это надзиратель хлопнул крышкой больших серебряных часов, спрятал их и потягиваясь зевает, широко распялив рот.

— Она, брат, деньги имела, она могла хорошо жить, кабы не распутство ее . . . да и распутство то — по жалости . . .

Надзиратель говорит:

— Кончал гулять, эй . . .

— А ты — кто? Лицо я помню, а где видал . . .

Я иду в камеру, до ярости обиженный тем, что слышал, и остановясь на ступени крыльца, кричу:

— Прощай, брат! Кланяйся ей . . .

— Чиго крычишь? — сердится наздиратель.

В коридоре сумрачно, густо пахнет парашей, надзиратель размахивает ключами и они звенят сухоньким, скупым звоном. Я подразниваю его, чтобы заглушить скорбь в душе, но это не помогает, а он, отворив дверь камеры, говорит мне гневно:

— Сыды дэсять лэт! . .

. . . Стою у окна. Через серые зубцы стены мне видно буйный бег Куры, сакли и дома, прилепленные на берегу ее, фигуры рабочих на крышах кожевенных заводов. Под окном ходит часовой, сдвинув фуражку на затылок.

. . . Память уныло считает десятки бесплодно и бессмысленно погибающих русских людей и сердце угрюмо сжимается великой, неизбывной, на всю жизнь данной тоскою.

В ущелье.

В горном ущелье, над маленькой речкой — притоком Сунжи — выстроили рабочий барак, — низенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба.

Он еще не докончен; десяток плотников возится около него, сшивая из тонкого теса жиденькие двери, сколачивая столы, скамьи, прилаживая рамы в пустые квадраты маленьких окон.

В помощь плотникам и для охраны барака ночами от вороватых горцев, молодой, крикливый студент-путеец, заведующий постройкой, прислал в ущелье троих сторожей: отставного солдата Павла Ивановича, меня и еще какого-то вихрастого человека с казачьим лицом.

Мы трое — люди «худые», а плотники — солидны, сыты, все в крепкой одёже, все — пожилые и есть в них что-то общее, тяжелое, — кабанье. Они не ответили на приветствие наше, смотрят на нас неласково, подозрительно и мы, обиженные холодной встречей, держимся в стороне от них: — набросали в узкую речку камней и, устроив брод, перешли на другой берег, на солнце, в хаос серых обломков горы.

Старшой у плотников — костлявый старичек, в белой рубахе и штанах. Точно к смерти оделся. Он ходит без шапки, у него желтая — во всю голову — лысина, широкий, серый нос; старая кожа на лице и шее ноздревата, как пемза, глаза мутно-зеленые. Но за темными губами — плотный ряд мелких зубов, серые волосы бороды, подстриженной по-татарски, густы и, видимо, мягки. Он не работает, а все время неутомимо ходит около барака по золотой стружке, заткнув за пояс очень отогнутые пальцы больших рук. Измеряя барак, людей, работу, неподвиж-

ным взглядом немых глаз, он поет гнусаво, подхалимисто, но внятно:

— Боже, Боже мой отец!
Дал мне тяжкий ты венец!
Буду я тебя просить:
Как же мне его носить?

Нам делать нечего и мои товарищи маются-страдают в скуке безделья: один полез зачем-то на гору, слышно как он там посвистывает и ломает тяжелыми ногами сухие ветви. Солдат устроил в щели, между камней пышное ложе из мелких веток, лежит на животе и непрерывно курит крепкий, горский табак из хорошей фарфоровой трубки, мутно-сонными глазами поглядывая на игру реки.

Я сижу над рекою на камне, опустив в холодную воду ступни ног, зашивая рубаху.

Гулкое эхо тревожно носит по ущелью чужие ему звуки: хряские удары топоров, плач пилы, всхлипывание рубанка, говор людей.

Из туманно-сизой глубины ущелья тянет сыроватый ветер, на горе за бараком тихонько шумят стройные лиственницы.

С высоты густо льется пьяный, жирный запах гниющей хвои, смолы, прелой земли, там, в тихой мгле, все время неясно звучит мягкий, усыпляющий шопот.

На сажень ниже барака бежит по камню, торопливо и звонко, пенно-белая река, звуков — немного, но кажется, что все вокруг поет и говорит, заставляя людей молчать.

Наш склон залит солнцем, все выгорело на нем, он покрыт золотисто-рыжей парчей и дышит сладким запахом иссохших трав. Из темных щелей между камня, огненными копьями напряженно поднялись на длинных стеблях красные конусы странных цветов, — это бесстыдные цветы упрямого растения, которое зовут каменоломкой. Глядя на них хочется громко петь, телом овладевает сладкая истома.

Хороша река, вся в трепетном кружеве снежной пены, она бежит, играя, по цветным камням, округленным ею, камни шелковисто просвечивают сквозь янтарное, на солнце, стекло воды, точно пестрый ковер или дорогая шаль из Кашмира.

Устье ущелья выходит в долину Сунжи, там строят железную дорогу на Каспий, в Петровск; оттуда врывается в горы глухой

гул, точно выстрелы из пушек, лязг железа о камень, свист рабочего паровоза, сердитые крики людей.

До выхода в долину не больше ста шагов и когда, выйдя, взглянешь влево — видно ровную степь Предкавказья, огражденную стеною синих гор, над ними — среброкованное седло Эльбруса. Степь почти вся в сухом желтом свете, она кажется песчаной, кое-где среди нее вспухли сады и от их темных пятен желтый свет еще горячей. Кусками сала или сахара разбросаны белые хаты хуторов, около них черные тополя, игрушечные люди, чуть передвигаются маленькие волы и все тает в струях знойного марева.

Степь точно шелками вышита; когда смотришь на нее и в синеву над нею — невольно, сами собою напрягаются мускулы, хочется встать и, закрыв глаза, итти, без конца итти, с тихой, о чем-то грустном, песней на устах.

С правой руки — извилистая долина Сунжи, снова горы, синее небо над ними, сизая мгла во впадинах гор и неугомонный шум работы, — глухие выстрелы, мощные взрывы освобожденной силы.

Но — пройдет минута, эхо нашего ущелья спрячет все звуки в лесу и морщинах камней — снова ущелье тихо и ласково поет свою песню.

Если смотреть в его глубину, оно, суживаясь, поднимается все выше в сизый туман; туман, густея, закрывает его синим занавесом, а еще выше, под самым небом, тоже синим, тает-плавится на невидимом солнце ледяная вершина Карадага, а над нею — светлая, непоколебимая тишина небес.

Преобладает сизовато-синий, странный цвет и должно быть от него, все время волнует душу незнакомое еще беспокойство, что-то неясное тревожит сердце, горит в нем пьяным пламенем, будит непонятные мысли и куда-то зовет.

Старик в белом смотрит из-под руки в нашу сторону и тянет, скрипит надоедно:

— Ай, — кто по лево стороне
Идет прямо Сатане.
Кто ж по право стороне
У того финик в руке . . .

— На-ко, вот, — слыхал? — сквозь зубы говорит солдат. — Финик, чу . . . Мнеманит видать, а то — молокан. Хоша

— это все едино у них, разобрать нельзя. Баловники. Финик! . .

Мне понятно раздражение солдата, — назойливое, однотонное пение старика не к месту здесь, где все поет само для себя так славно, что не хочется слышать ничего, кроме мягкого шороха леса, звона реки. Но особенно неуместными кажутся слова: финик, менонит . . .

Солдат не нравится мне, он тоже чему-то мешает. Это человек средних лет, коренастый, квадратный, обесцвеченный солнцем. Его полинявшие глаза смотрят с плоского лица не весело, смущенно. Нельзя понять — что он любит, чего он ищет? Обойдя весь Кавказ кругом от Хасав-Юрта до Новороссийска и от Батума до Дербента, трижды перевалив через хребет по Грузинской, Осетинской дорогам и по Дагестану, он говорит, неодобрительно усмехаясь:

— Нагромоздил Господь . . .

— Не нравится?

— Да — на что это? Лишнее все . . .

Медленно ворочая жилистой шеей, он оглядывается, добавляя:

— И леса не такие.

Калужанин, он служил в Ташкенте, дрался с текинцами, был ранен камнем в голову — рассказывает он об этом виновато усмехаясь, опустив стекляные глаза:

— Досадно сказать — баба меня тяпнула, — там, брат, у них и бабы воюют за всяко просто, не то-ли-что! Деревня эта ихняя, — Ахал-Тяпа, взята была, перекололи их не весть числа сколько, прямо — гроздьями лежат, кровища везде — итти мокро! Ну, и мы, — наша рота, — лезерв, тоже входим в улицу, вдруг как меня хватит по башке! Оказалось — баба с крыши камнем. Сейчас ее прикололи . . .

Он нахмурился и строго сказал:

— А что бабы у них бреются — это враки. Я — глядел: приподнимешь штыком подол у которой убитой — все, как следует. Баба, все больше, — сухая и хоша козлом пахнет, ну, — ничего все-таки . . .

— Страшно на войне?

— Не знаю. Другие, которые в сражениях бывали, говорят — страшно. Текинец — злой очень, и — не дается. Ну, я этого тоже не знаю, я все в лезерве был, наша рота в самую

штурму не ходила, а лежала на песочке, издаля пуцала. В лезерве — не страшно, а просто — тяжело очень. Там — сплошь песок и — нельзя понять из-за чего драка затеялась? Диви-бы, хорошая земля, ну, тогда, конечно, есть интерес отнять. А то — голым — голо! Рек — тоже не полагается, а — жарища и до смерти пить охота. Многие даже и помирали от жадьбы к воде. Растет там, братец мой, вроде проса, называется — джугара, пища противная на вкус и обманная — сколько хочешь ешь, сыт не будешь.

Рассказывает он нудно и бесцветно, с большими паузами, как будто ему тяжело вспоминать пережитое или он думает всегда не о том, что говорит. И рассказывая, он никогда не смотрит в лицо собеседника — глаза его виновато опущены.

Тяжелый, нездорово полный, он весь налит каким-то мутным недовольством, ленивым отрицанием.

— Это все земли неудобные для жилья, — говорит он, оглядываясь вокруг, — это для безделья земли. Тут и делать ничего не охота просто — живешь разинув глаза, вроде пьяного. Жара. Духи-запахи, все одно, как аптека, або — лазарет . . .

В этой жаре он, как очарованный, бродит, кружится восьмой год.

— Ты бы шел домой, в Рязань, — сказал я ему однажды.

— Ну, там делать мне тоже нечего осталось, — странно расставляя слова, сказал он сквозь зубы.

Я заметил его в Армавире, на станции, где он, багровый с натуги, дико вытаращив глаза, топал ногами, как лошадь и, взвизгивая, орал на двух греков:

— Ребра вырву с мясом!

Тощие, копченные, лохматые греки, оба на одно лицо, испуганно оскаливая белые, острые зубы, уговаривали его:

— Зито грисите?

Он бил себя кулаком в грудь, как в барабан, не слушая их кричал все яростней:

— Вы — где живете? В — России? Кто вас кормит? Россия, сказано, — матушка! А вы — что говорите?

Потом он стоял рядом с толстым седым жандармом в медалях и уныло жаловался ему:

— Все нас, — земляк, ругают, а все лезут к нам, — греки эти, немцы, серба всякая! Живут, пьют-едят, а ругают! Ну — не досада?

Третий из нас был человек лет за тридцать, в казачьей фуражке и с казачьим вихром над левым ухом, круглолицый, большеносый, с темными усами на вздернутой губе. Когда суетливый студент подвел его к нам и сказал:

— Вот еще этот с вами, — он взглянул на меня сквозь ресницы быстрым взглядом неуловимых глаз и сунул руки в карманы гурийских шаровар с широкой мотней; а когда мы пошли, он, вынув левую руку, медленно провел ею по темной щетине небритого лица и спросил звучно:

— Из России?

— Ну, а то откуда? — недружелюбно молвил солдат.

Человек молча закрутил правый ус и спрятал руку. Широкоплечий, сложенный ладно, он был, видимо, очень силен; шагал широко и легко, как человек, привыкший одолевать большие расстояния, но ни котомки, ни узелка не было у него. Брезгливо вздернутая губа его и глаза, прикрытые ресницами, стесняли меня, настраивая подозрительно, почти враждебно.

Но в ущелье, идя впереди нас по каменной тропе, вдоль речки, он вдруг обернулся к нам и, кивнув головой на веселую игру воды в реке, сказал:

— Сваха!

Солдат, приподняв белесые брови, подумал, поглядел вокруг, потом шепнул:

— Дурак!

А мне показалось, что человек сказал верно: эта бойкая, гибкая речка очень напомнила болтливую, веселую бабенку, которой нравится устраивать любовные дела, не только ради своих выгод, а больше для того, чтоб люди поскорей узнали великие радости любви, которыми она живет не уставая и весело торопит всех приобщиться к ним.

Придя к бараку, человек с казачьим лицом, снова поглядел на реку, на горы, в небо и все одобрил сочным, круглым словом:

— Славно!

Солдат, сняв со спины тяжелую котомку, выпрямился и спросил упершись руками в бока:

— Что — славно?

Тот посмотрел на широкую фигуру, обвешанную серыми лохмотьями, точно камень мохом, усмехнулся, говоря:

— А ты видишь? Гора, в горе — дыра, — али плохо?

Он отошел прочь, а солдат, глядя в спину ему, снова шепнул:
— Совсем дурак . . .
И громко, мрачно выговорил:
— Лихорадки, наверно, живут здесь здоровенные . . .

Под вечер две дородные бабы принесли плотникам ужин, шум работы тотчас оборвался, шорох леса и говор воды стали звучней.

Солдат, не торопясь и покрякивая, собрал большую кучу ветвей и щепы, зажег небольшой костер и, аккуратно прилаживая чайник над огнем, посоветовал мне:

— Ты бы тоже пособирал дров на ночь. Ночи здесь холодные, черные.

Собирая щепу я наткнулся в камнях около барака на вихрастого человека: опершись на локоть, поддерживая голову ладонью, он читал лежавший на земле большой лист крупно исписанной бумаги. Подняв на меня широко открытые глаза, он задумчиво и вопросительно взглянул в лицо мне, — один глаз у него был больше, другой — меньше.

Он, должно быть, понял, что интересует меня, улыбнулся, но я прошел мимо него, смущенный этой улыбкой.

Около барака молча ужинали плотники, усевшись в два кружка, в каждом — по женщине.

Ущелье заростало мглою, становясь все гуще и теплее, мгла размягчала склоны гор, камни как будто пухли, сливаясь в сплошную массу синеватой черноты, в глубине ущелье уже сплошь залилось ею, крутые склоны его оплыли и сомкнулись. Все вокруг таяло, неуловимо быстро выравниваясь в единое-огромное.

Красные цветы тихонько гасят свой волнующий огонь; вместо них мягко вспыхнула вершина Карадага, осененная багряной пылью заката, порозовела пена реки, но звон ее примолк, льется глуше, задумчивей и онемел лес, опустившись ближе к воде.

Пьяные запахи стали крепче и слаще, сытно пахнет смолистым дымом костра.

Солдат, сидя на корточках перед маленьким огнем, поправляет угли под чайником.

— А где тот? Зови его . . . — тихо говорит он.

Я иду, как во сне. У барака кто-то вздохнул густо и певуче:

— Сколь велика сия дело . . .

Два женских голоса негромко и голодно тянут:

— Тоску плоти смирю-у . . .
Тело духу покорю . . .
Душу вос-хва-лю-у . . .
Крепко плоть утолю . . .

Слова они выговаривают четко и в конце каждого стиха медленно опускают куда-то во тьму, в землю, волчий звук:

— У-у . . .

Когда я позвал ужинать человека с вихром, он гибко вскочил на ноги, смял письмо, сунул его в боковой карман истертого пиджака и сказал мне, улыбаясь:

— А я хотел к плотникам идти, — не дадут ли хлеба? Давно не ел . . .

И подойдя к солдату, он повторил эти слова, как бы удивляясь их смыслу.

— Они — не дали бы! — убежденно сказал солдат, развязывая котомку. — Они нас не любят.

— Кого — нас?

— А вот — тебя, меня. Русских. Они, вон, поют про финики, — это значит они — сехта, называемая меннониты . . .

— Просто — молокане, — сказал вихрастый подсаживаясь к огню.

— Ну, хоть молокане, все едино! Немецкая вера. Все они преданы немцу, а до нас — не приветливы.

Вихрастый взял краюху хлеба, отрезанную солдатом от коровая, луковицу, кусок сала и оглядывая все это добрыми глазами, взвешивая на ладони, говорил:

— У них тут не далеко, на Сунже, своя колонка, — был я там. Люди — черствые, это верно. А русских здесь никто не любит и — за дело, плохой все народ валится сюда из России . . .

— А ты откуда? — строго спросил солдат.

— Я? Положим — курский.

— Из России, значит!

— Ну, так что? Я себя хорошим человеком не считаю . . .

Солдат недоверчиво поглядел на него и сказал:

— Это — словесность, это просто — езуитство! Таких людей, чтобы хорошими себя не считали, — таких, брат, нету!

Вихрастый не ответил, набивая рот хлебом, солдат подождал, хмуро окинул его глазами и начал снова:

— А вид у тебя — будто ты с Дона . . .

— Бывал и на Дону . . .

— А на службе был?

— Нет. Один сын.

— Из мещан?

— Из купцов.

— А как звать?

— Василий, — не сразу и не охотно ответил курянин.

Было ясно, что он не хочет говорить про себя и солдат замолчал, снимая кипящий чайник с огня.

Молокане зажгли за углом барака костер; яркие отблески огня лизали желтый тес стены, она качалась, таяла, — вот-вот польется золотым ручьем по темной земле.

Невидимые нами плотники все громче пели; басы скучновато выводят:

— Возопой, Андел свят,

Высокие голоса недружно и холодно откликались:

Возопой! . . .
— Христу славу, Андел свят,
Возопой . . .
— Воспоем и мы с Тобой, —
Андел свят . . .

Это пение, не мешая слышать плеск воды и шорох камня в мелком русле реки, было не нужно здесь и возбуждало досаду на людей, не умеющих найти песню, которая звучала бы в лад со всем живым, что вздыхает вокруг них.

В ущелье совсем темно, только устье еще не завешено черным пологом южной ночи и синевато-светел блеск реки там, где она выбегает в долину, прикрытую густо-синим туманом.

Во тьме один из камней стал похож на монаха: стоя на коленях, согнув голову в острой скуфье, он молится и лицо его закрыто руками.

Стволы деревьев, освещенные огнем костра, шевелятся и тоже напоминают монахов, когда они медленно идя к заутрене, сквозь тьму ночи, всегда особенно густую в ограде монастыря, гуськом подходят к паперти храма.

Мне вспомнилось, как однажды в Задонске, на монастырском

дворе, вот такой же темной и жаркой ночью, сидя у стены длинного здания келий, я рассказывал послушникам разные истории, — вдруг из окна, над моей головой, кто-то сказал ласково и молодо:

— Благослови вас Матерь Божия на доброе миру!

Окно закрылось раньше, чем я успел увидать, кто сказал эти слова, но там был хромой, большеглазый монах очень похожий лицом на Василия — вероятно это он пожелал добра людям: — бывают такие минуты, когда всех людей чувствуешь как свое тело, а себя — сердцем всех людей.

. . . Василий, не торопясь, ест хлеб; отломив от краюхи небольшой кусок, он расправляет им усы и аккуратно прячет в рот; около ушей под кожей у него катаются шарики.

Солдат — поел, он ест мало и лениво; — бережно достал из-за пазухи трубку, насовал в нее табаку, достал пальцами уголь из костра, закурил и, прислушавшись к пению молокан, сказал:

— Сыты, а — воют! Все с Богом спорятся.

— А тебе что? — улыбнувшись спросил Василий.

— Не уважаю я этот народ. Не столь они праведники, сколько привередники . . . Бог у них — первое слово, а второе — целковый . . .

— Вот ты как? — удивленно воскликнул Василий и звучно засмеялся, со вкусом, сквозь смех, повторив:

— Бог — первое слово, второе — целковый! Это, земляк, очень верно! Ну, а все-таки, — ласково заговорил он, — стеснять людей не надо. Ты — их будешь стеснять, они — тебя, — что толку? У нас и так рта открыть нельзя, — свое слово сказать — сейчас все кулаки в твои зубы . . .

— Положим — так, — примирительно сказал солдат, взял в руку квадратный отрезок тесины и внимательно стал осматривать его.

— А какой ты народ уважаешь? — спросил Василий, помолчав.

— Уважаю я, — начал он внушительно, — русский народ, настоящий, который работает на трудной земле. А которые здесь — что такое? Здесь жить просто: и всякого злаку больше и земля легкая, благодушная, — копнул ее — она и родит, на — бери! Здесь земля — баловница! Прямо сказать — девка земля: раз ее коснулся и ребенок готов . . .

— Так, — сказал Василий, прихлебывая чай из жестяной кружки. — А я бы, вот, всех из России, сюда перевел.

— Это — для чего?

— Чтобы жить.

— А там — не умеют?

— Ты зачем сюда сошел?

— Я? Я человек одинокий.

— А отчего ты одинок?

— Ну... так мне положено! Судьба такая, стало быть...

— Тебе бы подумать, — зачем она такая...

Солдат вынул трубку изо рта, отнес руку с нею в сторону, а другою рукой удивленно огладил свое плоское лицо. Он — помолчал и вдруг ворчливо заговорил обиженным голосом, неуклюжими словами:

— Зачем, зачем! Причинов для того многое количество! Например: которые люди живут-думают несогласно со мной, то они мне все неприятны и я от них отхожу прочь. Я — не поп, не становой, или, там, что... Подумал бы! Ты один думаешь? Умник...

Он вдруг рассердился, сунул трубку в рот и замолчал, нахмурясь, а Василий поглядел на красное пред огнем его лицо и тихонько сказал:

— Вот то-то и оно: ни с кем не согласны мы, а своего устава у нас нету. Живем без корней, ходим из стороны в сторону, да всем мешаем, за то нас и не любят...

Солдат выпустил изо рта облако дыма и спрятался в нем. Хороший голос был у Василия, — гибкий, ласковый, слова он выговаривал четко и кругло.

В лесу назойливо кричит горная сова — пышная, рыжая птица с хитрым лицом кошки и острыми серыми ушами. Однажды я увидел эту птицу днем среди камней, над головою у себя и очень испугался ее стекляных глаз: круглые, как пуговицы, они были освещены изнутри каким-то угрожающим огнем, с минуту я стоял обомлев от страха, не понимая — что это?

— Откуда у тебя трубка такая хорошая? — свертывая папиросу, неожиданно спросил Василий. — Старая, немецкая трубка...

— Не бойсь, не украл! — ответил солдат, снова вынув трубку и с гордостью оглядывая ее. — Женщина одна подарила...

И, злодейски подмигнув, вздохнул.

— Рассказал бы, — как? — тихонько предложил Василий и вдруг, взмахнув руками, потягиваясь, с тоской пропел:

— Ночи же здесь . . . не дай Бог какие злые ночи! Будто хочется спать, а — не спится и гораздо лучше спишь днем, в тени, где-нибудь. А ночами — просто с ума сходишь, все думается, не знай о чем. И сердце растет, поет . . .

Внимательно вслушиваясь, солдат удивленно открывал рот, белые брови его вползали все выше.

— И у меня тоже! — тихо сказал он. — Всегда, почитай . . . Что такое?

Я хотел сказать:

— И у меня тоже, братцы!

Но они так странно всматривались друг в друга, точно каждый только сейчас увидал другого против себя. И тотчас же озабоченно, на перебой стали опрашивать один другого кто, где был, откуда и куда идет, — точно родственники, неожиданно встретившиеся и только сейчас узнавшие о своем родстве.

Над богатым огнем костра молокан протянулись черные, лохматые лапы сосен, — словно греются, ловят огонь, хотят обнять и погасить его. Иногда огонь потянет к реке, красные языки высунутся из-за угла барака, — кажется, что барак загорелся.

Ночь становится все гуще, душистей, все ласковее обнимает тело; в ней купаешься как в море и как морская волна смывает грязь кожи, так и эта тихо поющая тьма освежает душу. Такими ночами душа одета в свои лучшие ризы и точно невеста вся трепещет, напряженно ожидая: сейчас откроется пред нею нечто великое.

— Кривая? — тихо спрашивает Василий, а солдат, не торопясь, говорит:

— Сызмала, пяти годов упала с воза, ушибла глаз, вытек. Ну, это у нее не заметно: просто закрыт глазок. И вся она — аккуратная, круглая. Доброты в ней, гляжу, — как воды в ручье этом, неистребимо много. Ко всему свету добра: ко скоту, к нищему, ко мне. Защемило мне сердце: эх, думаю, чего с солдатом не бывало? Ну, пускай, хозяйская она любовница, а — попробую! Так, сяк — ничего! Выставит локоть супротив меня и — кончено! . .

Василий лежит на спине и, шевеля усами, жует былинку;

глаза у него широко открыты и ясно видно: левый глаз больше правого. Солдат сидит у его плеча, помешивая в костре обгорелым сучком, над костром летают золотые искры; какие-то серые мошки безмолвно вьются над ним, тяжелыми хлопьями падают в огонь ночные бабочки и, потрескивая, сгорают. Я лежу и, слушая знакомую мне историю, вспоминаю людей, мимо которых когда-то прошел, слова, коснувшиеся сердца.

— Вот раз я собрался с духом, застиг ее в амбаре, прижал в угол и говорю: «Ну, говорю, так или нет? Как хошь, а я — солдат, человек нетерпеливый!» Она — бьется: «Что ты, что ты?» И плачет, словно бы девица, и говорит сквозь слезы: «Не тронь меня, не гожусь я тебе; люблю, говорит, я другого человека, — не хозяина, а — другого», тоже работником жил у них, ушел он, сказал: «жди, найду хорошее для житья место — вернусь, уведу тебя туда». Семнадцатый месяц нет ни слуха, ни духа о нем, может — забыл, может пропал, убил кто. «Ты, говорит, сам мужчина и должен понимать, что надобно мне сохранить себя до времени!» Мне, конечно, обидно: чем я хуже другого-то? Обидно, а — и жаль ее, и грустно тоже, вроде как обманула она меня: всегда показывала себя веселой, а у самой — вон что на сердце! И погас я, не могу ее тронуть, хоть и в руках она у меня. «Ну, говорю, тогда — прощай, уйду я». «Уйди, говорит, Христа ради, пожалуйста». К вечеру на другой день заявил я хозяину расчет, а на заре, в воскресенье, собрался, ухожу, тут она мне и вынесла трубку эту: «Прими, говорит, Павл Иваныч, в память, ты, говорит, стал мне как брат родной, спасибо тебе!» Как пошел — чуть не заплакал, ей богу! Так, братец ты мой, сердце защемило — беда.

— Это — хорошо! — тихонько сказал Василий. — Вот так всегда и надо: да? Да! Сошлись. Нет? Нет! Разошлись. А стеснять друг друга — зачем?

Попыхивая серым дымом, солдат задумчиво проговорил:

— Хорошо-то, оно, брат, хорошо, да больно грустно . . .

— Это — бывает! — согласился Василий и, помолчав, добавил: — Это частенько бывает с хорошими людями, в ком совесть жива. Кто себя ценит, он и людей ценит . . . У нас это — редко, чтобы умел человек себя ценить . . .

— У кого — у нас?

— Да, вот — в России . . .

— Не уважаешь ты, брат, Россию-то видать . . . Что это ты? — спросил солдат странным тоном, как бы удивляясь и сожалея.

Тот не ответил и, подождав с минуту, солдат снова начал в полголоса:

— А то, вот, — еще была у меня история . . .

Люди за бараками угомонились, костер догорает, на стене барака дрожит красное, заревое пятно, с камней приподнимаются тени. Один из плотников, высокий мужик, с черной бородой, еще сидит у костра; в руке у него тяжелый сук, около правой ноги светится топор: это сторож, поставленный против нас, сторожей.

Не обидно.

Над ущельем, на изорванной по краям полосе неба сверкают синие звезды, кипит и звенит вода в реке, из плотной тьмы леса доносится тихий хруст, — осторожно ходит ночной зверь и все кричит уныло сова. Единое-огромное насквозь пропитано затаенной жизнью, сладко дышит — будит в сердце неутолимую жажду хорошего.

Голос солдата напоминает отдаленный звук бубна, редкие вопросы Василия задумчиво-певучи.

Мне нравятся эти двое людей, в тихой беседе их все растет что-то славное, человечье. Суждения вихрастого человека о России возбуждают сложное чувство: хочется спорить с ним и хочется, чтоб он говорил о родине больше, яснее. Нравится мне этой ночью вся жизнь, — все, что я видел в ней, теперь повторно идет предо мною, точно кто-то рассказывает, утешая, знакомую сказку.

. . . Жил в Казани студент, белобрысый вятич, — точно брат солдата и такой-же аккуратный, — однажды я слышал, как он сказал:

— Прежде всего я узнаю: есть Бог или нет? Начинать нужно с этого . . .

Там же была акушерка Велихова, женщина очень красивая и, — говорили, — распутная; однажды она стояла на горе, над рекой Казанкой, за Арским полем, глядя в луга и на синюю полосу Волги вдали; смотрела туда долго, немо и, вдруг, побледнев, радостно сверкая хорошими, в слезах, глазами, вскрикнула тихо:

— Нет, друзья мои! — поглядите же, какая земля наша милая,

какая она прекрасная! Давайте, поклянемся пред нею в том, что будем честно жить!

Поклялись: дьякон-студент духовной академии, мордвин из инородческой семинарии, ветеринар-студент и два учителя; после один из них сошел с ума и помер, разбив себе голову.

Вспомнился мне человек на пристани Пьяного Бора, на Каме, высокий, русый молодец с лицом озорника и хитрыми глазами. Было воскресенье, жаркий праздничный день, когда все с земли смотрит на солнце своей лучшей стороной и точно говорит ему, что не даром оно потратило светлую силу, живое золото свое. Человек стоял у борта пристани, одет в новую, синего сукна поддевку, в новом картузе на бекрень, в ярко начищенных сапогах, он смотрел на рыжую воду Камы, на изумрудное Закамье, в серебряной чешуе мелких озер, оставленных половодьем, — там, за Камой, солнце упало на луга и раскололось в куски. Человек улыбался; все хмельней становилась улыбка молодого — в темной бородке — лица, все ярче разгоралось оно радостью и вдруг, сорвав картуз с головы, парень сильным размахом шлепнул его в воду золотой реки, и закричал:

— Эх, Кама, матушка родная, — люблю! Не сдам!

. . . Много видел я хорошего!

Мне хочется пересказать товарищам все, что вспомнилось, хочется, чтоб они порадовались, посмеялись, но — они оба уже спят.

Над горою поднялась, выщербленной секирой, половинка луны, слабый свет лег на темные вершины деревьев и, падая в реку, серебряной тканью полощется в ней, освещает круглый камень, похожий на синий, бритый череп горца.

Солдат уснул сидя, — привалился спиною к своей котомке и похрапывает, свесив голову на плечо, устало положив руки на колена. Василий вытянулся струною; он лежит вверх лицом, руки под голову, его красиво очерченные темные брови чуть-чуть приподняты и усы тоже вздернулись. Он плачет во сне: по бурым его щекам текут слезы, в лунном свете они кажутся зеленоватыми, точно камень хризолит или горькая вода моря . . . Странно видеть слезы на этом мужественном лице.

Звенит река, потрескивает костер, перед ним согнулась, окаменев, темная фигура сторожа, красные отблески обнимают ее; топор на земле светится, как луна в небе.

Спит земля и все ближе к ней опускаются звезды.

В полусонном безделье медленно протек день, влажная теплынь, звон реки, пьяные запахи леса и цветов отравили нас ленью; с утра до вечера мы бесцельно шлялись по ущелью, почти не разговаривая друг с другом; ничего не хотелось и не думалось ни о чем.

Вечером, на закате солнца, когда пили чай у костра, солдат сказал:

— Вот бы на том свете эдакая жизнь, — тихо, смирно и никаких делов! Таешь, вроде как масло, и ниоткуда тебе — ни обиды, ни беспокойства.

Осторожно вынув трубку, он добавил, вздыхая:

— Н-да, ка-бы на том свете эдак-то, я бы очень Бога умолял: «Прими, Господи, душеньку мою поскорей!»

— На, тебе, Боже, что мне не гоже, — задумчиво перебил его речь Василий. — А я бы, вот не сумел так жить, — день, два, ну, ничего, можно, а долго — нельзя . . .

— Работал ты мало, — сказал солдат, сквозь зубы.

Все было, как и вчера, об эту пору: так же славно заливал ущелье сизоватый туман, сверкали в красном блеске солнца серебряные зубья гор, сонно покачивал мягкими вершинами лиственниц густо-темный лес на горе; таяли, во мгле, камни, рождая тени, пела свою песню сваха-река.

И так же не торопясь, тяжело, точно кабаны, возились около барака большие, гладкие плотники.

Не однажды — то один, то другой — мы пытались познакомиться с ними, потолковать у безделья, но они отвечали нам неохотно, односложно и каждый раз, когда затевался разговор, белый старичек ласково покрикивал своим:

— Эй, Павлуша-брат, поторапливайся, гляди!

Он заметнее других показывает, что не хочет знакомиться с нами; неустанно, однообразно, точно споря с рекою, он тихонько мурлыкал свои благочестивые песни, а иногда, поднимая гнусавый голос высоко и требовательно, пел их громко, наянливо: целый день они текли мутным ручейком, наводя тоску. И с утра до вечера, бережно переставляя с камня на камень свои тонкие ноги, он ходил около работы, описывая один и тот же круг, словно желал протоптать тропу, которая еще более заметно отделила бы нас от плотников.

С ним не хотелось говорить; его застывшие глаза холодно от-

талкивали еще издали. Однажды я подошел совсем близко к нему, но он, спрятав руки за спину, попятился назад и спросил не громко, строго:

— Ну, что?

И у меня пропала охота узнать — какие это песни поет он?

Солдат, обиженно следя за ним, ругался:

— Колдун. Снохач. Деньжищ, поди-ка, у него, благочестивца, накоплено . . .

И сейчас, раскуривая трубку, он, скосив пустой глаз в сторону плотников, сердито ворчал:

— Ведь какими благородиями держатся, сукины сыны, глядико ты!

— Это у нас всегда так, — сказал Василий, тоже сердито, — чуть только человек сыт немножко — сейчас нос кверху — барин!

— Что ты все говоришь — в нас, да в нас!

— Ну, в русских . . .

— Того лучше! А ты — немец, татарин?

— Не татарин, а — недостатки вижу . . .

Они уже не первый раз за день начинали этот спор, он, видимо, надоел им и теперь оба говорили лениво, без сердца.

— Недостатки, назад пятки, — попыхивая дымом мямлил солдат. — Не ладно ты говоришь, брат! Это — измена, твои слова . . .

— Кому?

— Русским . . .

— Еще что скажешь?

Новый звук долетел в ущелье, где-то в степи ударили в небольшой колокол: суббота была, звали ко всенощной. Солдат вынул трубку изо рта, замер, прислушался, а когда колокол крикнул третий раз он, сняв картуз, истово перекрестился, говоря:

— Церквей здесь маловато . . .

И тотчас, взглянув через реку, сказал, словно завидуя:

— Ишь ты, дьяволы, не крестятся, сехта окаянная . . . серба!

Василий покосился на него, шевеля усами, разгладил их левою рукой, взглянул вдоль ущелья, в небо, и опустил голову.

— Нет, — тихо заговорил он, — я ни в каком месте не могу долго жить, все мерещится, что лучше есть. У меня в сердце птица поет — иди, иди!

— Это во всяком поет, — угрюмо отозвался солдат.

Поочередно глядя на нас, Василий негромко засмеялся:

— Во всяком? А ведь это, не ладно! Ведь это значит — бездельники мы и наровим на готовое. Сами-то, значит, ничего того лучше, что есть, не можем сделать, а — подай нам!

Он смеялся, но глаза у него были грустные и пальцы правой руки, лежа на колене, шевелились судорожно, точно ловя что-то невидимое.

Солдат нахмурился, замычал; мне стало тревожно и жалко Василия, а он встал и, тихонько нависты вая, пошел берегом вниз по течению реки.

— Голова у него — дурная! — подмигивая вслед ему забормотал солдат. — Прямо — не в порядке голова, я это сразу увидал. Слова эти его против России, — к чему они? Про Россию, брат, нельзя говорить, что хочешь от своего ума. Кто ее знает, что есть Россия? Каждая губерния — своя душа. Это никому неизвестно, которая Божья Матерь ближе Богу — Смоленская али Казанская . . .

Соскабливая щепкой жирную копоть со дна и боков чайника, он долго, точно жалуясь на что-то, ворчал под нос себе и вдруг насторожился, вытянул шею, вслушиваясь:

— Стой-ка . . .

Все последующее было также неожиданно, как вихрь в жаркий день, когда вдруг с края знойного неба налетит злою птицей черно-синяя туча и, обрушив на землю обильный ливень с градом, изобьет все, все растопит в грязь.

С долины в ущелье, шумно, со свистом и гамом, ввалилось человек двадцать рабочих; они вытянулись по тропе вдоль реки широко, темной полосой, в руках передних тускло светились четвертные бутыли водки, почти у каждого за спиною висела котомка, некоторые несли на плечах мешки хлеба и харчей, двое надели на головы большие черные котлы, это придало им сходство с грибами.

— Полтора ведра, — крякнув, сообразил солдат, вставая на ноги.

— Полтора! — повторил он, и высунув кончик языка, положил его на губу, приоткрыл рот. Лицо у него стало удивленно-глупое, жадное, он замер и с минуту стоял неподвижно; казалось, его чем-то ударило, и вот он сейчас закричит.

Ущелье загудело, как бочка, когда на дно ее падают тяжести; кто-то бил кулаком в пустое железное ведро, кто-то пронзительно свистел, металось эхо, заглушая шум реки.

Все ближе к бараку подходили отрепанные люди в темном, сером и красном, с засученными рукавами, многие без шапок, в лохматых космах волос, все изогнутые усталостью, пошатываясь на развинченных ногах.

Глухой, разноголосый говор сердито вливался в трубу ущелья, кто-то хвастливо и надорванно кричал:

— Нет, говорю, шалишь! Разве мы ведро, говорю, пота-крови седня пролили?

— Озеро!

— Нет, поставь-ка полтора!

— Полтора, — третий раз сказал солдат вкусно и с уважением; покачнулся вперед, точно его толкнуло в шею, пошел через реку на перерез людям и потерялся среди них.

У барака суетливо бегали плотники, собирая инструменты, мелькал белый старичек; ко мне подошел Василий, сунув правую руку в карман, держа фуражку в левой.

— Здорово напьются, — сказал он, прищурив глаза. — Эх, беда наша, водочка эта! Пьешь?

— Нет.

— Слава Богу. Не пьешь — не пропадешь . . .

С минуту он молчал, невесело смотрел на ту сторону, потом заговорил, не шевелясь, не глядя на меня:

— Глаза у тебя примечательные, парень! Знакомые глаза, видал я их где-то. Может во сне, не знаю. Ты — откуда?

Когда я ответил, он туманно взглянул в лицо мне, отрипательно качнув головою.

— Не бывал в тех краях! Далеко!

— Сюда — еще дальше.

— Откуда?

— От Курска.

Он усмехнулся.

— Я — не курский, — псковской. Это я при солдате сказал, что курский, так себе, нарочно. Не нравится мне солдат, не хочется правду ему говорить, этого он не стоит. И зовут меня — Павел, а не Василий. Павел Николаев Силантьев, сказано в пачпорте, — у меня и пачпорт есть . . . все, как следует . . .

— Чего ты ходишь?

— Да . . . так, как-то! Глядел — глядел, махнул, рукой, а — ну вас! И пошел, пером по ветру . . .

— Молчать! Я сам староста! — грозно закричали у барака, и тотчас-же стал слышен голос солдата:

— Какие они работники? Они — сехта, они все песни поют . . .

И снова кто-то орал:

— Обязался ты, старый чорт, к воскресенью кончить постройку?

— Побросать у них струмент в речку! . .

— И начинается скандал, — равнодушно проговорил Силантьев, опускаясь на корточки пред углями костра.

Вокруг барака, четко выделяясь на светлой его полосе, суетились, как на пожаре, темные фигуры, ломали что-то, трещало и шаркало по камню дерево, звонкий голос весело командовал:

— Тихо-о! Сейчас я все налажу . . .

— Плотники — вертись живо! Дай сюда пилу . . .

Командовали трое: рыжебородый мужик в матросской фуфайке, высокий сутулый на тонких ногах; длинной рукою он держал старика в белом за шиворот, встряхивал его и с яростным наслаждением орал:

— А где у тебя нары, а? Готовы, а?

Очень заметен был молодой, широкоплечий парень в розовой рубахе, разорванной на спине от ворота до пояса: он совал в окно барака тесины, покрикивая звонко:

— Принимай! Настилай!

А третьим командиром был солдат, он толкался среди людей и злорадно пел, ядовито, разделяя слога:

— Ага-а, са-во-ла-чи, сехта! Они на меня никакого внимания, се-рба! Я говорю: ребята, торопись пожалуйста! Прибудет устамший народ . . .

— Чего ему надо? — тихонько спросил Силантьев, закуривая папиросу. — Водки? Водки дадут . . . А что, брат, жалко тебе народ? . .

Он смотрел сквозь синий дым табака на алые угли, они цвели на камнях точно маки; заботливо сдвигая их обгоревшим сучком ближе друг к другу, пскович строил золотисто-красный холм и в его красивых глазах светилась благочестивая любовь к огню. Должно быть вот так же смотрел на огонь древний, кочевой

человек, с такою же молитвенной лаской в сердце, играя благостным источником света и тепла.

— А мне народ жалко: бесчисленно много пропадает его зря! Глядишь-глядишь на это — просто беда, брат . . .

Еще на вершинах гор догорал день, но в ущелье уже отовсюду темно смотрела ночь, усыпляя нас. Говорить не хотелось и не хотелось слышать тяжелый шум на том берегу — неприятный шум этот даже тихому звону реки придавал сердитый тон.

Там зажгли большой костер, потом вспыхнул другой, два огня, шипя и потрескивая, окружаясь синими облаками дыма, стали спорить друг с другом, бросив на белую пену реки красные, кисейные ткани; между огнями метались почерневшие люди, сладкий голосок призывно покрикивал:

— Подходи, не задерживай, подходи!

Звенело стекло стакана, рыжий мужик внушительно и гулко сказал:

— Их учить надо!

Старичек плотник отделился от людей, осторожно щупая ногами камни, брошенные нами в реку, перешел на нашу сторону, присел на корточки и стал, фыркая, плескать водой в лицо себе, весь розовый, в густых отблесках огня.

— Ударили, должно быть, — тихо сказал Силантьев.

Да, ударили. Когда он подошел к нам, мы увидали, что по его усам и мокрой, белой бороде текут из носа темные струйки крови, а на рубахе, на груди — тоже пятна и полосы.

— Мир беседе, — строгим голосом сказал он и поклонился, прижав левую руку к животу.

— Садись, милости просим, — сказал пскович.

Теперь старик напоминал изображение святого отшельника — маленький, сухой и чистый, несмотря на рубаху в крови. От боли и обиды или от углей костра, его мертвые глаза как будто ожили, стали светлее. И еще строже. Смотреть на него было неловко, стыдно.

Покрякивая, шмыгая широким носом, он отер бороду ладонью, а ладонь — о колено, протянул над углями старые, темные руки и сказал:

— До чего вода в речке этой холодна — просто ледяная . . .

Силантьев спросил, взглянув из-под ресниц в лицо ему:

— Больно ушибли?

— Не-е . . . По переносице ткнул. Это место на кровь хлибкое. Господь с ним, ему с этого не прибудет, а мне страданье — в зачет перед Духом Святым . . .

Он поглядел на ту сторону реки: берегом шли двое людей, плотно прижавшись друг к другу, и тянули пьяными голосами:

— Умру я тё-омной ночью
Осеннею порой . . .

— Давно меня не били! — заговорил старик, приглядываясь к ним из-под руки. — Годов . . . годов с двадцать, поди-ка, не били уж! И сейчас — зря, никакой моей вины нет. Гвоздей мне не додано, деревянным колышком многое пришлось вязать. Тесу не хватает, того, сего . . . Ну, — не поспел и к сроку, а вина — не моя. Они, — для экономности, — воруют, что попало, старшие-главные, я не отвечаю. Конечно, я признаю это; дело казенное, люди они, — молодые, жадные — сделай милость, воруй! Всякому хорошего охота взять за дешево . . . А моей вины в этом нет. Озорники. Пилу порвали у старшего сына моего, новая пила. Мне, старику, кровушку пустили . . .

Его маленькое, серое лицо сморщилось, стало еще меньше; он прикрыл глаза и всхлипнул сухим, скрипучим звуком.

Силантьев завозился, тяжко отдуваясь, — старик внимательно взглянул на него, высморкался, вытер руку о штаны и спокойно спросил:

— Будто видел я тебя где?

— Видел; весной был я у вас в станице . . . Молотилки чинил . . .

— Так, так! То-то я гляжу. Значит это ты? Несогласный? . .

Качая головою, старик усмехнулся:

— Помню я речи твои, да! Все так и думаешь?

— С чего мне думать иначе . . . — хмуро спросил Силантьев.

— Так . . .

Старик снова протянул над углями темные руки; далеко отогнутые большие пальцы странно топырились, шевелясь не в лад с другими.

— Так и думаешь все, — строго и насмешливо заговорил старик, — супроти Богом установленного бороться надо, а? Терпенье — зло, а боренье — добро, а? Эх, парень, слабая твоя душа. Токмо духом Сатану победишь, духом, знай . . .

Не торопясь, Силантьев встал на ноги и сердито, грубо, не своим голосом сказал, тыкая рукою в сторону старика:

— Слыхал я это, не от тебя одного слыхал! Не люблю я вас, эдаких вот, духовных . . .

Он крепко выругался.

— И не с Сатаной бороться надобно, а вот — с вами, воронье чортово! Мертвяки . . .

Отшвырнув ногою камень от костра, он тяжело пошел прочь, сунув руки в карманы, плотно прижав локти к бокам, а старик, усмехнувшись, сказал мне тихо:

— Гордый! Ну, это не на долгое время . . .

— Почему?

— Уж я знаю, — сказал он и замолчал, склонив голову на плечо, вслушиваясь в крики за рекою — люди там все пьянели и кто-то вызывающе бухал:

— Хо-хо! Я? Ха!

Я посмотрел как Силантьев, легко прыгая с камня на камень, перешел реку и вмешался в толпу, безрукий, издали заметный среди людей; мне стало скучно без него.

Шевеля пальцами, точно колдуя, старик все держал пальцы над углями; переносье у него вспухло, под глазами вздулись желваки, он смотрел из-за них и беззвучно двигал двумя полосками темных губ, оттененных белыми усами и бородой. Уродливое лицо его, очень древнее, в крови, плохо смытой из морщин, снова напоминало великих грешников, уходивших от мира в леса и пустыни.

— Видал я гордых, — заговорил он, встряхивая головою без шапки, чуть покрытой жидкими волосами. — Большой огонь — скоро и горит, а вот эти угольки, золой, пеплом прикроются — до восхода солнца могут тлеть, уцелеть . . . Ты, паренек, подумай над этим! Это есть не простые слова, а — учение . . .

Надвинулась, налегла мягкой тяжестью черная ночь, такая же как вчера — душистая и теплая, ласковая, как мать. Ярко пылали огромные костры, их жар доходил до нас через золотую реку дымным теплом.

Старик сложил руки на груди, сунул ладони под мышки и уселся поудобней.

Я хотел положить на угли сучьев и стружек, — он строго сказал:

— Не надо!

— Отчего?

— Увидят они огонь — полезут сюда . . .

И отодвинул ногою наломанные мною сучья, повторив:

— Не надо!

Сквозь жидкий огонь в реке к нам, не спеша, перебрались двое плотников с ящиками за спиною, с топорами в руках.

— А те — ушли? — спросил старик.

— Все ушли, — ответил большой мужик без бороды, с обвисшими усами.

— Отыди ото зла — сотворишь благое.

— Нам бы тоже уйти . . .

— От неконченного дела — нельзя уходить. Посылал я в обед, Олёшу, сказывал — не пускали бы людей, а они — на-ко, вот! Еще сожгут барак, напившись яду . . .

Я курил; усатый плотник потянул носом сладкий дым и сплюнул на угли. Другой, молодой и пухлый, точно пожилая баба-калачница, как сел, так и задремал тотчас же, опустив встрепанную голову на грудь.

Шум за рекою стал тише, а в центре его настойчиво возвышался пьяный, воющий голос солдата:

— Стой, отвечай мне! Как ты можешь Россию не уважать? А-а, Рязань — не Россия? А кто — Россия?

— Кабак, — тихонько сказал старичек, но сейчас же добавил громче и обращаясь ко мне:

— Это я про них: кабак, мол . . . Чу, как надсаживаются, веселые . . .

Теперь кричал парень в розовой рубахе:

— Взы, солдат, кусай его за горло, взы!

Был слышен суровый возглас Силантьева:

— Ты, что — собак травишь?

— Нет, ты мне отвечай! — выл солдат.

Старичек спокойно заметил:

— Должна быть драка . . .

Я встал, пошел на ту сторону и слышал, как он негромко сказал своим:

— Ну, вот, слава Богу, и этот откатился . . .

Встречу мне с того берега черной кучей валились люди ухая, гикая, кряхтя, точно они поднимали и волокли большую тяжесть; бабий тонкий голос визжал:

— Я — вша-а?

— Бро-осьте!

— Бей его!

— Бросьте-е!

Из толпы вырвался Силантьев, выпрямился, страшно и широко взмахнув правой рукою, снова прыгнул на людей; парень в розовой рубахе тоже замахнулся огромным кулаком и тотчас раздался мягкий, хряский удар, — Силантьев отпрянул назад и беззвучно осел в воду, под ноги мне.

— Так, — внушительно сказал кто-то.

На секунду шум оборвался и в уши сладко влилось пение воды, потом кто-то бросил в реку большой камень, кто-то тупо захохотал.

На меня лезли люди; я наклонился к Силантьеву, пытаясь поднять его; он лежал на половину в воде, грудью и головой на камнях.

— Убили человека, — крикнул я, не веря в это, только для того, чтоб напугать, остановить людей, мешавших мне.

Кто-то трезвым голосом, недоверчиво спросил:

— Ну-у?

Парень в розовой рубахе пошел прочь, покрикивая с фальшивой обидой в голосе:

— А хоша-бы? Он — не лай! Какой я разоритель земли?

— Где солдат этот, который подзуживал, который сторож?

— Несите огня сюда . . .

Говорили все трезвее, спокойней и тише. Маленький мужичок, с головой, повязанной красным платком, наклонился, приподнял голову Силантьева, но тотчас небрежно выпустил ее из рук, сунул руки в воду и четко сказал три слова:

— Верно, убили, помер . . .

Я не поверил словам, но взглянув как вода реки перекатывается через ноги Силантьева, поворачивает их, и они шевелятся, словно пытаясь сбросить истоптанные сапоги, вдруг всем телом почувствовал, что держу в руках руки мертвого, выпустил их и они шлепнулись в воду, как мокрые тряпки.

На берегу стояло человек десять, но когда мужик сказал свои слова, они, все сразу, метнулись прочь, нелепо толкаясь, покрикивая озабоченно, устало:

— Который ударил?

— Погонят теперь с работы.
— Солдат волынку эту завел . . .
— Верно, он . . .
— На него и показывать!
Парень в розовой рубахе ныл:
— Братцы, я — по чести! Драка, ведь . . .
— Колом бить, это, милый, не драка.
— Ох — камнем, а не колом . . .
Тонкий бабий голос искренно возопил:
— Ах, ты, Господи! Всегда у нас что нибудь случается . . .

Я сидел на камнях, отупевший, ушибленный, все видя, ничего не понимая. В груди странно опустело, крики людей будили желание орать во всю силу, кричать, в ночи, медной трубою.

Подошло двое людей; передний нес в руках пылающую головню, помахивал ею, чтоб не погасла и сеял на пути своем золотые искры. Он был маленький, лысый, узкий, как щука, поставленная на хвост, а из-за его плеча выглядывало чье-то серое, каменное лицо, с открытым ртом и круглыми совиными глазами.

Подойдя к трупу, он наклонился, упираясь одной рукой в свое колено и осветил измятое тело Силантьева, свернутую на плечо голову; я не узнал красивое, казацкое лицо: задорный вихор исчез в большой шишке черно-красной грязи, вздувшейся над левым ухом, скрыв его; усы и рот сдвинулись на сторону, обнажив зубы кривой, страшной улыбкой; еще страшней был левый глаз — он выкатился из орбиты и, безобразно огромный, напряженно смотрел на открытую полу пиджака, во внутренний карман, откуда высунулась белая каёмка бумаги.

Осыпая искрами это искаженное и жалкое лицо в красных полосках влажно блестевшей крови, человек рисовал головнею в воздухе над ним огненный венец и, причмокивая, ворчал:
— Ну, конешно . . . чего тут?

Искры падали на голову Силантьеву, на мокрую щеку и гасли, в яблоке глаза играл отблеск огня, от этого глаз казался еще мертвей.

Человек медленно расправил согнутую спину, швырнул головню в реку, сплюнул вслед ей и, поглаживая лысый череп, зеленоватый в темноте, сказал своему товарищу:
— Ну, ты ступай тихонько, бережком, до того барака, скажи там: человека, мол, прикончили . . .
— Я боюсь один . . .

— Бояться нечего, иди, знай . . .

— Жуть . . .

— А ты — не дури-ко! . .

Над моей головой раздался спокойный голосок старика-плотника:

— Я с тобой пойду, ничего . . .

Он натягивал на белую голову измятый картуз и брезгливо говорил, шаркая ногою о камень:

— Кровища-то до чего не хорошо пахнет! Ногой, видно, попал я в кровищу, в эту . . .

Лысый, сощурившись, присматривался к нему; белый старик тоже озирал лысого неподвижными глазами, продолжая строго и холодно:

— Все — водочка, да табачек, сатанинское зелье . . .

Они оба были похожи друг на друга и на колдунов: оба маленькие, острые, как шилья, зеленоватые во тьме как лишаи.

— Идем, брат, со Духом Святым . . .

Не спросив, кто убитый, не взглянув на него и даже не поклонясь покойнику, — как требует обычай, — старый плотник пошел по течению реки, осторожно переступая с камня на камень; за ним, нерешительно качаясь, стал шагать длинный, серый человек, они уплывали во тьму беззвучно, как два облака.

Узкогрудый, лысый пощупал меня острыми глазами, вынул папиросу из жестяной коробочки, звучно щелкнул крышкой ее, зажег спичку и сначала осветил лицо убитого, потом уже закурил, тихонько говоря:

— Это вот, шестого убивает на моих глазах . . .

— Как это: убивает? Убивают! . .

Помолчав, он спросил:

— Чего ты сказал? Не пойму . . .

Я об'яснил:

— Убивают люди друг друга . . .

— Ну, это все равно! Люди-ли, машина-ли, молонья, али так, что нибудь. Одного земляка машина прихватила около Бахмача, одного — вот эдак же — в драке прирезали. Бадьей, в шахте, пришибло тоже . . .

Считал он спокойно, но ошибся: насчитал только пятерых. Стал озабоченно вспоминать снова — получилось семеро.

— Ну, все едино, — сказал он вздохнув и затягиваясь так

сильно, что все лицо его облилось красным отблеском огня папиросы. — Всех — не сосчитать, которые вот так — по случаю — пропадают. Не будь я старенький, то и я бы где нибудь пропал, ну — старость зависти не порождает. И — живу. Ничего, славате, Господи!

Кивнув головой на Силантьева, он продолжал:

— Родные его, али жена, будут теперь вестей, писем ждать от него. Не пишет. Тут они подумают: загулял, дескать . . . Забыл своих . . .

Около барака становилось все тише, костры догорали, люди таяли во тьме. С гладкой, желтой стены пристально смотрели на реку, темные, круглые глаза сучьев. Одно окошко без рамы мутно осветилось, из него вылетали на волю отрывистые, сердитые возгласы:

— Сдавай скорей!

— Хлюст в трефях . . .

— А здесь — козырной с барданом! . .

— Фу, ты, дьявол! Вот — судьба.

— В картах — не судьба, а — ловкость, — сказал лысый, сдувая с папиросы пепел.

Неслышно перешел реку усатый плотник, остановился около нас и тяжко вздохнул.

— Что, землячок? — спросил его лысый.

— Да, вот, — не громко, смущенно сказал плотник, такой огромный, мягкий в темноте, — дали бы вы мне курнуть разок.

— Можно! На, папироску . . .

— Спаси Христос! А то — баба забыла табачку мне принесть, да и дедушка у нас на счет курева строгий . . .

— Это — который ушел? . .

— Ну, да, он . . .

Закурив, плотник спросил:

— До смерти убили?

— Помер . . .

И оба замолчали, покуривая.

Перевалило уже за полночь. Изорванная полоса неба над ущельем была похожа на синюю реку, течет она тихонько над землей, окутанной ночью, и плывут в ее гладких волнах яркие звезды.

Становится все тише, ночнее . . .

И, как будто не случилось ничего особенного . . .

Калинин.

Осень, осень — свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны, — в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и воздух насыщен влажной соленой пылью.

Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они качают вершинами, сгибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в горы, одетые тяжелой шубой темных облаков.

Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездонные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. — Тени скользят по изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к острым бокам гор, тучи устало ползут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там.

Все вокруг нахмурено, спорит друг с другом, сердито отемняется и холодно блестит, ослепляя глаза; по узкой дороге, прикрытой с моря грядою заласканных волнами камней, бегут, гонясь друг за другом, листья платанов, черноклена, дуба, алычи. Плеск, шорох, свист — все скипелось в один непрерывный звук, его слушаешь, как песню, равномерные удары волн о камни звучат, точно рифмы.

— Разыгрался Змиулан, окианский царь! — кричит в ухо мне мой спутник, высокий, сутулый человек, с круглым лицом ребенка и светлым взглядом прозрачных детских глаз.

— Кто?

— Царь Змиулан . . .

Молчу, — никогда не слыхал про такого царя.

Ветер толкает нас, желая загнать в горы; его напор так силен, что иногда мы останавливаемся, повернувшись спинами к морю, широко расставив ноги, опираемся на палки и с минуту стоим как бы на трех ногах, а мягкая тяжесть давит нас, срывая платье.

Мой спутник кряхтит, как в бане на полке, а мне — смешно: уши у него большие, вялые, точно у собаки, выгоревшая скуфейка не прикрывает их и, загнутые ветром вперед, они придают его маленькой голове уморительное сходство с глиняным рукомойником. Солидный, длинный нос, словно чужой на мелком лице — он еще более усиливает смешное сходство, являясь рыльцем рукомойника.

Странное у него лицо и весь он — не обычный, чем и пленил меня сразу же, как только я увидел его в церкви Ново-Афонского монастыря, за всенощной. Выпрямив сухое, тонкое тело, склонив голову чуть-чуть на бок, он смотрел на Распятие, и, шевеля тонкими губами, улыбаясь сияющей улыбочкой, каза, лось, беседовал со Христом, как с добрым другом. На круглом, гладком лице — без бороды, точно у скопца — с двумя светлыми кустиками в углах губ, светилось никогда невиданное мною выражение интимности, сознания исключительной близости с Сыном Божиим. Это ясное отсутствие обычного — рабьего, пугливого отношения к своему Богу — заинтересовало меня и всю службу я с великим любопытством наблюдал, как человек беседует с Богом, не кланяясь Ему, очень редко осеняя себя знамением креста, без слез и вздохов.

После ужина в рабочей казарме, я пошел в странноприимную и там, в светлом круге под лампой, опускавшейся с потолка, увидал его за столом, среди женщин и богомольцев, услыхал негромкий, но какой-то светлый голос — внятную, полновесную речь проповедника, привыкшего говорить с людьми.

— Иное, конечно, надобно показать, иное — надо скрыть; ибо — ежели что бестолковое и вредное — зачем оно? Также и напротив: хороший человек не должен высовываться вперед — глядите-де, сколь я хорош! Есть люди, которые вроде как бы хвастаются своею горькой судьбой: поглядите, послушайте, добрые люди, как горька моя жизнь! Это тоже нехорошо . . .

Чернобородый человек в поддевке, с темными глазами разбойника на иссохшем лице аскета, встал из-за стола, медленно расправил мощное тело и глухо спросил:

— А вот у меня жена и сынишко сожглись живьем в керосине — это как? Молчать об этом?

Несколько секунд все молчали. Потом кто-то негромко проворчал:

— Опять . . .

И тотчас в углу — в душном сумраке — родился уверенный ответ:

— Божие наказание за грехи . . .

— В три года — грехи? Ему три года было . . . это он и опрокинул лампу на себя, а она его схватила и загорелась сама . . . слабая была, на одиннадцатый день после родов . . .

— За грехи отца-матери, — попрежнему уверенно выползли слова из угла. Чернобородый, должно быть, не слышал их — разводя руками, рассекая ими воздух, он торопливо, без удержу подробно сказывал о том, как сгорели жена и сын — чувствовалось, что он говорит об этом часто и долго не кончит свой ужасный рассказ. Его мохнатые брови сошлись в одну черную полосу, под ними, налитые кровью, блестели белки глаз и тревожно перекатывались матовые черные зрачки.

Но вот, в маленький промежуток его угрюмой речи втиснулся свободно и бодро светлый голос христолюбивого странника:

— Это неправильно, землячок, винить Господа Бога за неловкий случай или за ошибку и за глупость . . .

— Стой, — ежели — Бог, то отвечает за все!

— Нет, никак! Дан тебе разум . . .

— Что мне — разум, ежели я не могу понять? . .

— Чего?

— А того . . . всего! Почему — моя жена сгорела, а — не соседова, ну?

Злой старушечий голос отчетливо проговорил:

— Ай-яй-яй! В монастырь пришел, а — воюет . . .

Чернобородый гневно сверкнул глазами, склонил голову, как бык, но вдруг махнув рукой, быстрыми шагами, грузно топая, пошел к двери, — странник не торопясь встал, закачался и, всем кланяясь, тоже стал двигаться вон из странноприимной.

— Наскрозь огорченное сердце, — сказал он улыбаясь. — Мне показалось, что в улыбке этой нет сострадания.

А из угла кто-то снова и неодобрительно сказал:

— Любит он историю эту размазывать . . .

— И напрасно, — остановясь в дверях заключил странник, — только ведь терзает себя и других! Про такие дела забывать надо . . .

Через минуту я выхожу на двор и слышу у ворот ограды его спокойный голос:

— Ничего, отец, не беспокойся . . .

— Гляди, — сердито говорит привратник, отец Серафим, здоровенный ветлужанин, — по ночам тут абхаз голодный бродит.

— Мне абхаз не вреден . . .

Я тоже иду к воротам.

— Куда? — спрашивает Серафим, приблизив ко мне свое волосатое, звериное и бесконечно доброе лицо. — Ага, это ты, нижегороцкой! Напрасно, поди-ка, беспокоишь себя — бабы то все спать полегли . . .

И смеется, — рычит, как медведь.

За оградой великая тишина осенней ночи — усталая тишина земли, истощенной летом. Сладко пахнет увядшими травами и еще чем-то осенним, возбуждающим бодрость. Черные деревья висят в теплом и влажном воздухе, точно обрывки туч. Во тьме чуть слышно вздыхает, ластится к берегу полусонное море; небо окутано облаками, только в одном месте среди них опаловое пятно луны и далеко на темной воде колышется другое, такое же . . .

Под деревьями — скамья и на ней человечья фигура, округленная тьмою; подхожу, сажусь рядом.

— Откуда, земляк?

— Воронежский. А ты?

Русский человек всегда так охотно рассказывает о себе, точно не уверен, что он — это именно он, и хочет, чтобы его самоличность была подтверждена со стороны, извне. Рассеялись люди по большой земле и, чем более ясна им ее огромность, тем, как будто, меньше становятся они в своих глазах; плутают по тысячеверстным дорогам, теряя себя, а если встретится случай рассказать о себе — расскажет подробно все пережитое, виданное и выдуманное. И всего чаще в рассказах этих слышишь не утверждение:

— Вот — я!,

а вопрос:

— Я ли это? . .

— Тебя как звать?

— Очень просто: Алексей Калинин!

— Ты мне — тезка.

— Ну?

И дотронувшись рукою до моего колена, он говорит:

— Тезка, у меня — известка, у тебя — вода, айда — штукатурить города!

. . . Звонят в тишине невысокие, легкие волны; за спиною угасает хлопотливый шум хозяйственного монастыря, светлый голос Калинина немножко погашен ночью, звучит мягче, менее уверенно.

— Мать моя — была нянька, я у нее пригульный и с двадцати лет — лакей, это — из-за высокого роста. Тут вышло так: поглядел на меня однажды генерал Степун — материн барин — и сказал: «Евгенья, скажи-ка Федору», — лакею-же, старичку из солдат, — «чтобы он приучал сына твоего служить за столом — он вполне вырос для этого!» И служил я у генерала девять лет, лето в лето. Потом, случилось . . . потом — хворал я . . . У купца, градского головы, служил двадцать один месяц. В Харькове, в гостинице, с год . . . все чаще приходилось менять места, хотя я слуга аккуратный, трезвый, да — осанки нет у меня настоящей — должностной . . . главное же — характер образовался гордый, не идущий к делу . . . я назначен служить самому себе, а не людям . . .

Сзади нас, по шоссе, в направлении к Сухуму идут невидимые люди, сразу понятно, что они не привыкли ходить пешком — шаркают ногами по земле тяжело. Красивый голос тихо запевает:

— «Выхожу один я на дорогу» . . .

Слово — один — громче других и, подчеркнутое, звучит печально.

Гулкий бас говорит лениво и внятно:

— Афон . . . Афония — потеря речи, до степени . . . до какой степени, мудрая Вера Васильевна?

— Почти до полной утраты членораздельности, — отвечает молодой женский голос.

Во тьме над землею призрачно плывут два черных пятна и между ними — белое.

— Странно!

— Что?

— Слова здесь какие-то . . . намекающие! Гора — Накапиоба. Они, тут, накопили достаточно . . . умеют копить!

— А я не могу запомнить: Симон Канонит, и всегда говорю — каинит . . .

— Знаете что, господа? — как-то нарочито громко говорит красивый голос. — Смотрю я на всю эту красоту, дышу тишиной и думаю: а что, если бросить все, ко всем чертям и — жить . . .

Монастырский колокол сухо отбивая часы заглушил речь. Потом издали тоскливо донеслось:

— О, если б в единое слово-о
Излить все, что на сердце есть! . .

Мой сосед, вслушиваясь, странно наклонился на бок, точно слова гуляющих людей тянули его за собою, а когда голоса потерялись вдали, он выпрямился и сказал, вздыхая:

— Вот: видно, что образованные люди, говорят обо всем, а — однако, тоже самое . . .

— Что?

— Да — слышал? — не сразу ответил он. — Бросить, говорит, надобно все . . .

Наклонился ко мне, всматриваясь, точно близорукий, продолжал полушепотом:

— Все больше людей думают этак — бросить надо все! И я тоже: долгие годы соображал — зачем служу, какая выгода? Ну — двенадцать, двадцать, хоша бы и пятьдесят рублей в месяц — чтож такое? А человек где? Может быть, для меня полезнее ничего не делать и в пустое место смотреть . . . сидеть вот так ночью и смотреть . . . и больше ничего!

— Ты что давеча говорил людям?

— Каким это?

— В странноприимной, бородатому?

— А! Не люблю я этого . . . людей этих, которые разносят по земле свое горе, бросают его под ноги всякому встречному . . . Что такое? Каждый сам по себе . . . Какая мне надобность в чужой слезе? Своя довольно солона . . . К тому же всякий, свое то горе любя, считает его самым замечательным и горьким на земле. Знаю я это . . .

Он неожиданно встал, длинный и тонкий.

— Надо поспать, завтра рано я ухожу . . .

— Куда?

— В Новороссийск . . .

Была суббота, перед всенощной я получил в монастырской

конторе мой недельный заработок. В Новороссийск — мне не по дороге и уходить из монастыря не охота, но человек этот интересен, таких людей на земле всегда — только двое, и один из них — я.

— Я тоже завтра иду.

— Значит — вместе . . .

. . . Мы вышли из монастыря на рассвете и вот — шагаем. Мысленно я поднимаюсь вверх и смотрю оттуда: берегом моря, по узкой тропе идет пара длинных людей; один — в серой солдатской шинели и шляпе с прорванным верхом; другой — в рыжем кафтане и плисовой скуфье. Под ноги им плещет белой пеной безграничное море, ползут по камню дороги высушенные солнцем ленты водорослей, кружатся золотые листья. Ветер шумит, качая и толкая путников, летят над ними облака, с правой руки вознеслись в небо горы, и облака жмутся к ним, устало и бессильно; слева — распростерлась пустыня, вся в белом кружеве; рыщет над нею ветер и гонит прозрачные столбы водной пыли.

В бурные осенние дни на берегу моря как-то особенно весело и бодро: песни ветра и волн, быстрый бег облаков, и в синих провалах неба купается солнце, как увядающий чудесный цветок — в этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли — маленькое человечье сердце об'ято мятежным пламенем и, сгорая, кричит миру:

— Я тебя люблю!

Страшно хочется жить, — так жить, чтоб смеялись старые камни и белые кони моря еще выше вставали бы на дыбы; хочется петь хвалебную песню земле, чтоб она, опьянев от похвал, еще более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою, возбужденная любовью одного из своих созданий — человека, который любит землю, как женщину, и охвачен желанием оплодотворить ее новою красотою.

Но слова тяжелы, точно камни, убивая фантазию, они ложатся над трупом ее серым холмом — смотришь на себя пред этой могилой и смеешься над собою.

Иду точно во сне, и сквозь плеск волн, горячее шипение пены, слышу незнакомые слова:

— Гиман, Димон, Игамон, Змиулан — это есть добрые беси . . .

— А Христос — как, с ними?

— Христос — ничего!

— Во вражде?

— Он — с этими? Зачем? Это беси особые, беси добрые . . . И, к тому же, Христос ни с кем не враждует . . .

— А — торгаши во храме?

— Ну, один раз веревкой побил, эка важность! И, ведь, не по вражде к ним, а — для порядка.

Тропа, точно испугавшись напора волн, круто изогнулась вправо в кусты; перед нами — горы в облаках, облака темнеют все более сердито — наверное будет дождь.

Калинин поучительно рассказывает, взмахами палки отбивая цепкие ветви с тропы.

— Это опасное место, тут малярная лихорадка живет — маляр один костромской наслал самую злую сестру — лихорадку сюда... Денег ему не додали, что-ли, не помню причины случая . . .

На море плотно налегли тени и оно стало траурным — черное с белым. Вдали виден Гудаут, весь захлестанный пеной — точно сугробы снега ползут на него.

— Ты мне расскажи про этих бесов.

— Изволь! Что?

— Что знаешь.

— Я все знаю!

Он весело подмигивает мне, повторяя:

— Все! У меня, брат, мать замечательная была — заговоры, заклятия всякие, сказки, святые жития — все знала! Лягу я спать в кухне, за печью, а она на печи — она уже на покое жила, без работы: выняньчила трех детей у генерала . . .

Он остановился, потыкал в землю палкой, оглянулся назад и пошел, шагая широко, твердо.

— Была еще у генерала племянница, Валентина Игнатьевна, — удивительная!

— Чем?

— Так уж. Всем.

В сыром воздухе над нами тяжело проплыл баклан, — птица жадная и не умная. Перо сильных крыльев свистело в воздухе, вызывая какое-то темное воспоминание, недобрую мысль . . .

— Ну, рассказывай!

— Так вот — лежу я на полу, на печь не влезал — не люблю я печной жары, а она сидит на печи, свеся ноги,

мне и не видать ее в темноте, только то вижу, про что она говорит. Идет на меня сверху все это — иной раз даже бывало жутко, так я кричу: мамка, не надо! Я ведь страшного не люблю, я его и помню плохо . . . она сама была довольно страшная, умирала она тогда, внутренности гнили. Сорок три года ей, а вся седая и помирает — запах от нее, все на кухне ругаются . . .

— Ну, а беси?

— Сейчас!

Все плотней надвигается к траве цепкий, причудливо запутанный кустарник; мы точно плывем среди шумных зеленых волн, нас легонько хлещут ветви, как бы внушая:

— Идите скорее, дождь захватит!

Замедлив шаг, мой спутник мерно, немножко нараспев сказывает:

— Когда Сыне Божий Исус Христос ушел в пустыню собраться с мыслями — послал Сатана бесов к Нему для искушения. Был в ту пору Христос молодой, ... сидит Он среди пустыни на песке горючем, думает — как быть? — а Сам набрал горсть камушков — играет. Вот подходят к нему беси: Гимал, Димон, Игамон, Змиулан — тоже все молоденькие, и, еще издали, видя Христа, пожалели они Его: дескать — какой бессчастной судьбе предан! Подходят: прими и нас поиграть! Христос улыбается им — ну, садитесь! Сели в кружок и начали они тут свое дело исполнять: кто из них камень вверх ни кинет — упадет камень на горючий песок нагой женщиной, лежит она вся свободная и руки ко Христу простирая, манит Его на грех. А Он улыбнется ей, дунет духом уст своих, — тут она растает в парок и тотчас взлетит на воздух. Сам Он кинет камушек — обернется камень шестикрылатым голубем и затрепещется во храм Ерусалимский. Долго бились неумеющие беси — видят: никак не может соблазниться Христос! . . . . . И сказал ему старший бес, Змиулан:

— «Нет, Господи, больше мы не станем соблазнять Тебя — ничего у нас не выходит! Хоть мы и беси — а не удается!

— «Никогда не удастся, — сказал Христос, — уж коли Я что задумал, так сделаю! А что беси вы — это я знаю и что вы — еще издали видя — пожалели Меня, тоже знаю. Вот вы теперь правду о себе не скрыли — будьте же за это на всю жизнь — добрыми, это легче будет для вас! Ты, Змиулан, будь окианским

царем — отгоняй морским ветром гнилой дух от земли; ты, Димон, гляди, чтобы скот не ел ядовитых трав — пусть все ядовитые травы будут колючими; ты, Игамон, утешай по ночам безутешных вдов, которые Бога обвиняют за смерть мужей; ты, Гиман, самый молодой, выбери себе что нравится!

— «Я, Господи, хохотать люблю!»

— «Вот и смеши людей, только — не в церкви».

— «Я-бы, Господи, и в церкви тоже хотел!»

«Усмехнулся тут Исус Христос:»

«Ну, Бог с тобой, смеши и в церкви, только потихоньку!» —

— Так и обратил Христос злые беси в добрые.

. . . Над зеленым морем кустарника поднялись в небо древние дубы, желтый лист зябко трясется на них; могучее ореховое дерево сбрасывает увядшие одежды; мелкою дрожью дрожит алыча и благородно кланяется земле полуголый каштан.

— Хорошая история?

— Хорошая. Христос хорош.

— Он всегда такой, — с гордостью говорит Калинин. — Знаешь, как про него в Смоленской губернии одна старуха пела?

— Нет.

Этот чудной человек остановился и, притопывая ногою, запел нарочито дрожащим, старческим голосом:

У небеси расцвел цветок —
Сыне Божья!
Он всем радостям исток —
Сыне Божья!
Красным солнышком цветет —
Сыне Божья!
Благодать земле несет —
Сыне Божья!

С каждым стихом голос Калинина молодел, последний стих был пропет высоким, приятным тенором.

— Всему миру Он один —

Вдруг сверкнул ослепительно синий луч, в горах глухо бухнуло, над землею и морем раскатилось стоголосое эхо — Калинин открыл рот, обнажив красивые ровные зубы, потом стал часто креститься и забормотал:

— Боже страшный, Боже добрый, седяй в вышних, на престоле злате в золотой палате, казни Сатану, да во гресех не потону! . .

И повернув ко мне маленькое, испуганное лицо, мигая светлыми глазами, деловито заговорил:

— Бежим, брат, я грозы боюсь . . . бежим скорее, куда ни есть! . . Дождик хлынет, гляди, а тут — лихорадка эта . . .

Побежали, ветер толкает в спины, гремят наши чайники и котелки, котомка бьет меня по пояснице большим мягким кулаком. До гор — далеко, вокруг — никакого жилья. Кусты хватают за полы, под ногами прыгают камни, стало темно и кажется, что горы плывут встречу нам.

Снова из черных туч стремительно излился небесный огонь и море, вспыхнув синими сапфирами, точно выплеснулось из берегов; дрогнула земля, а из горных ущелий посыпался громкий скрежет каменных зубов.

— Свят, свят, свят, — кричит Калинин, исчезая в кустах.

Сзади хлещут волны, догоняя бегущих, впереди, во тьме — скрип и шорох; чьи то длинные черные руки машут над головами, на вершинах гор, за густым пологом туч оглушительно грохочет железная колесница Грома; все чаще сверкают молнии, гудит земля и в разрывах тьмы в голубом сиянии шумят, качаются, бегут огромные деревья, а их уже сечет косой холодный дождь.

Жутко, но — весело. Тонкие струны дождя бьют по лицу, тело охвачено хмельной бодростью, кажется, что можно бежать под дождем и громом бесконечно долго — вплоть до ясного дня.

— Стой, — гляди! — кричит Калинин.

На секунду озаренный молнией, пред нами ствол дуба и в нем, точно дверь, — широкая черная щель; мы, смеясь, лезем в нее, как два мышенка.

— Тут места даже на троих довольно! — говорит мой спутник. — Выжжено дупло-то, — экие озорники! В живом дереве огонь разводят!

Тесно; пахнет гнилым листом и дымом; на голову и плечи шлепают тяжелые капли. При каждом ударе грома, дерево, вздрагивая, гудит; среди воющего шума, мы точно в море на узком челноке, и когда сверкнет молния — видно, как дождь убегает от нас, он стелется в воздухе сетью синеватых лент, мелькает кусочками стекла.

Ветер свистит тише, словно удовлетворился тем, что нагнал

на землю столь сильный дождь — он способен размыть горы, размягчить камни.

— Уо-уу-уо! — кричит где-то невысоко над нами и близко от нас горный филин.

— Думает — ночь! — шепотом сказал Калинин.

— Уо-уу-уо! — вторит птица.

— Ошибаешься, брат! — громко крикнул человек.

Холодновато. Торопливо струится светлосерая влага, занавешивая полупрозрачной тканью стволы деревьев, толстые, как бочки, корявые и ощетинившиеся молодой порослью, еще не потерявшей мелкого листа.

Однотонный звук широко течет над землею и гасит мысли. Невольно, со вниманием, которое становится все напряженнее, вслушиваешься, как дождь сечет опавший лист, бьет камни, хлещет о стволы деревьев, как журчат и всхлипывают ручьи, сбегая к морю, гудят в горах потоки, гремя камнями, скрипят деревья под ветром, равномерно бухает волна — тысячи звуков сцепились в один тяжелый, сырой и хочется раз'единить их — разместить, как слова в песне.

Калинин возится, толкает меня и ворчит:

— Однако — тесно же! Не люблю я тесноты . . .

Он устроился удобнее меня: влез в дупло глубже, присел на корточки и как-то особенно ловко сложился в маленький комок. Дождь почти не мочит его. Вообще, у него, видимо, очень хорошо развита ловкость привычного бродяги — уменье быстро найти при всех неблагоприятных условиях самое выгодное положение.

— Вот — и дождь, и холод, и все, — тихонько говорит он, — а хорошо ведь!

— Чем — хорошо?

— Никому, кроме Бога, не обязан. Ежели сносить неприятности, так лучше от Него, а не от себе подобного . . .

— Ты, видно, не очень любишь себе подобного-то?

— Возлюби ближнего твоего, яко собака палку, — ответил он, а помолчав спросил: — За что его любить?

Я тогда тоже не знал — за что.

Не дождавшись моего ответа, Калинин снова спросил:

— Ты в лакеях не служил?

— Нет.

— То-то. Лакею ближнего любить трудно.

— Отчего?

— Послужи — узнаешь! Ежели кому служишь, так уж тут, братец мой, любить его не приходится . . . А дождь этот надо-олго!

Отовсюда текут всхлипывания, плач — точно вся земля тихо и горестно рыдает, прощаясь с летом накануне зимних бурь.

— Как ты попал на Кавказ?

— Шел, шел и пришел! — отвечает Калинин. — На Кавказ попасть всякому хочется . . .

— Почему?

— А — как же? С малых лет слышишь: Кавказ, Кавказ! Бывало — генерал заговорит — даже ощетинится весь и глаза выкатываются. Тоже и мать: она ведь тоже была здесь. На Кавказ, брат, всякого тянет: здесь жить просто — солнышка много, зима короткая, не злая, как у нас, фруктов множество . . . вообще — веселее!

— А — люди?

— А что — люди? Держись в стороне, они не помешают.

— Чему?

Калинин, снисходительно усмехаясь, взглянул на меня и сказал:

— Экой ты чудак — спрашиваешь, спрашиваешь, о самом о простом! . . Ты — грамотный? Ну — должен сам все понимать . . .

Изменив голос на сердитый и гнусавый, он пропел, точно молитву.

— Не попусти, Господи, сглазить ни черницу, ни чинцу, ни попу, ни дьяку, ни великому грамотнику . . . Это — мать моя часто говаривала . . .

Дождь стал тише, его линии истончились, сеть их стала прозрачней — яснее видны угрюмые стволы почерневших дубов, ярче золото и зелень листвы. В дупле посветлело, обугленные стенки блестят, точно атлас — Калинин ковыряет уголь пальцем и говорит:

— Это пастухи выжгли . . . Видишь — и сено натаскано, и сухой лист. Хорошая жизнь у пастуха здесь! . .

Точно приготовляясь уснуть, он обнял затылок руками, воткнул подбородок между колен и замер.

Мимо нашего дерева, омывая его обнаженные корни, торопливо светлой змеею бежит ручей, унося красный и рыжий лист. Хорош должен быть такой лист далеко среди моря: в небе только солнце, а на синем шелке моря — одна эта красная звезда . . .

Мой спутник мурлычет, точно кот, какую то песню. Мелодия знакома — «Спрятался месяц за тучку», но — я слышу другие слова:

— Удивительная Валентина —
Вы прекрасней всех цветов!
Горит сердце нянькина сына
И на все он для вас готов . . .

— Что это за песня?

Калинин разогнулся, завозился, гибкий, точно ящерица, крепко повел ладонями по лицу.

— Это — сочинение. Военный писарь один сочинил . . . помер он в чахотке. Дружок мой был, за всю жизнь — один, истинный! Тоже — удивительный человек!

— А — Валентина кто?

— Конечно — барышня, — неохотно ответил он.

— Писарь влюблен в нее был?

— Нисколько даже.

Видимо, он не хотел говорить об этом, снова с'ежился, спрятал голову и проворчал:

— Костер бы развести . . . а все мокрое . . .

Скучновато посвистывает ветер, встряхивая деревья; упорный мелкий дождь сечет землю.

— Человек я маленький и бедный,
И другим не буду никогда,

— снова тихонько запел Калинин и взметнув голову быстрым, несвойственным ему движением, внушительно сказал:

— Это очень печальная песня . . . она может до слез взять за сердце. Ее только двое знали: я, да он . . . ну, еще она, конечно . . . но она, конечно, и позабыла сразу . . .

И улыбаясь светлыми глазами, он предложил снисходительно:

— Вот что: ты — человек молодой, и тебе надобно знать, где опасности для жизни — расскажу я тебе историю одну . . .

Дождь тоже стал как бы прислушиваться: сквозь его шелковистый усыпляющий скукою шорох мирно потекла человечья речь:

— Это не Лукьянов влюбился, а я, — он только стихи писал, по моей просьбе. Шел мне девятнадцатый год, когда она появилась, и как я взглянул на нее — так и понял, что в ней моя судьба — даже сердце замерло и вся жизнь пролетела, как пылинка в огонь. И весь я в роде бы окрылился: так себя почувствовал, как, примерно, часовой на страже пред начальством — подтянулся весь, окреп и эдакая тревога в сердце: вот сейчас что нибудь случится. Лет ей — Валентине Игнатьевне — было двадцать пять, может — побольше . . . очень красивая! Просто — удивительная! Была она сирота: папашу турки убили, мамаша в Самарканде от оспы померла . . . Генералу она приходилась племянницей по жене. Барышня рыжеватая и белая, как фарфор с золотом, глаза — изумруды . . . Округлая такая вся . . . словно просвира . . . Заняла она угловую комнату, рядом с кухней, — у генерала, конечно, дом собственный — и еще дали ей светлый чуланчик. Наставила она везде свои странные вещи: бутылочки, чашечки стекляные, медную трубу и круг, тоже стекляный в меди, она его вертит, а от него — огненные искры скачут, потрескивают, этого она нисколько не боится и поет:

— Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется
И сердце радостью забьется
Не для меня, не для меня . . .

— Всегда она это пела. Блестит на меня глазками и говорит, очень просительно:

— «Вы, Алексей, ничего у меня не троньте, эти вещи опасные! . .» А у меня, действительно, все при ней из рук падает; и эта ее песня . . . не для меня — обидно мне за нее: как не для тебя? Все — для тебя! Тянет сердце мое куда то вверх. Купил гитару, а играть — не умею, на этом и познакомился с Лукьяновым, с писарем, — штаб дивизии находился в одной улице с нами. Был этот Лукьянов маленький, черноволосый, из крещеных евреев . . . лицо — желтое, а глаза точно шилья. Отличный человек и на гитаре играл — незабвенно . . . Говорит он мне: — в жизни всего возможно достичь . . . Нашему брату терять нечего. Откуда все существующее? От простейших людей: человек не родится генералом, но достигает звания. А женщина — говорит — начало и конец; и нужно ее стихами брать; я тебе

напишу стихи, а ты ей подложи . . . Мысли у него были прямые, бесстрашные . . .

Калинин рассказывал быстро, воодушевленно и вдруг как бы погас: замолчал на несколько секунд и продолжал уже тише, медленнее, как-то недовольно:

— Сразу то я ему поверил, а потом все оказалось не так: и женщина — обман, и стихи — чепуха, и невозможно человеку ускользнуть от своей судьбы. А храбрость — это на войне удобно, в мирной жизни она просто — голое озорство! Тут, братец мой, надобно знать закон основания жизни: есть люди высокого звания и низкого звания, и пока они на своем месте — это хорошо; а как только кто полез сверху вниз или снизу вверх — кончено! Застревает человек на полудороге — ни туда, ни сюда и так — на всю жизнь! На всю жизнь, брат! Значит — сиди тихо при своем месте, как дозволено судьбою . . . Дождик, кажись, перестает?

Да, капли падают все более редко и устало, сквозь мокрые сучья в сыром небе видны светлые пятна, они напоминают о солнце.

— Рассказывай!

Калинин усмехнулся.

— Интересно? Н-ну, хорошо, поверил я Павлу — пиши стихи, сделай милость! Он на другой же день очень ловко и приготовил их . . . забыл я слова . . . как-то так, что-де и дни, и недели ваши глазки сердце мне ели любовным огнем и — пожалейте о нем! Подсунул я ей стихи под бумагу на стол — дрожу, конечно. На другой день утром убираю комнату — вдруг она выходит в распашном таком капоте красном, папироса в зубах, улыбается ласково и говорит, показывая мне бумажку:

— «Это вы, Алексей, написали?»

— «Так точно, — говорю, — простите, Христа ради!»

— «У вас говорит, есть фантазия и это очень жалко, потому что я занята: дядя меня выдает за доктора Клячку, ничего невозможно сделать!»

Обомлел я: так ласково и сожалительно она сказала. Клячка — доктор, красный, угреватый, усищи до плеч, тяжелый такой человек и все хохочет, кричит:

— «Нет ни начала, ни конца, а только одно удовольствие!»

Генерал тоже хохочет над ним, трясется весь:

— «Вы», — говорит, — «доктор — комик» — это значит — паяц, балаганщик. Я же в то время был как тростинка, лицо — румяное, волосы вьются, жил чисто. С девицами обращался осторожно, проституток вовсе презирал . . . вообще — берег себя для высшей ступени, имея в душе направляющую мечту. И вина не пил, противно было мне . . . потом пил. В бане мылся каждую субботу.

— Вечером все они — и Клячка — поехали в театр — лошади у генерала, конечно, свои — а я — к Лукьянову: так, мол, и так!

— «Ну, — говорит, — поздравляю, ставь пару пива, дело твое кругло, как шар! Давай трешницу, я тебе еще стихов накатаю. Стихи, — говорит, — это дело колдовское, вроде заклинания». И написал песню про удивительную Валентину — очень жалобно и так понятно все. О, Господи . . .

Калинин задумчиво тряхнул головою и уставился детскими глазами на голубые пятна неба, промытого дождем.

— Нашла она стихи, — нехотя, против воли говорил он, — кликнула меня к себе, спрашивает:

— «Как же нам быть, Алексей?»

— А сама — полуодета, чуть не всю грудь мне видно и ноги голые, в одних туфельках; сидит в кресле, качает ножкой, дразнит.

— «Как же нам быть?» — говорит.

— Разве я знаю? Меня словно и нет на земле.

— «Вы умеете молчать?» — спрашивает она.

— Я — головой киваю, совсем онемевши. Нахмурилась она, встала, взяла какие-то две баночки, отсыпала из них порошка в конверт, дает мне и говорит:

— «Я, — говорит, — вижу один исход из мук наших египетских: вот — порошок, доктор сегодня обедает у нас, так высыпьте ему порошок этот в тарелку и через несколько дней я буду свободна для вас!»

— Перекрестился я, взял конверт, а у меня туман в глазах и даже ноги окоченели. Не помню что со мной было, обмер я изнутри, и, до самого прихода Клячки этого — ничего не понимал . . .

Калинин вздрогнул, стукнули его зубы, испуганно глядя на меня, он торопливо завозился.

— Обязательно надо костер — дрожу я! Ну-ко, вылезай . . .

По мокрой земле, светлым камням и траве, осеребренной

дождем, устало влачились тени изорванных туч. На вершине горы они осели тяжелой лавиной, край ее курился белым дымом. Море, успокоенное дождем, плескалось тише, печальнее, синие пятна неба стали мягче и теплей. Там и тут рассеянно касались земли и воды лучи солнца, упадет луч на траву — вспыхнет трава изумрудом и жемчугом, темно-синее море горит изменчивыми красками, отражая щедрый свет. Все вокруг так хорошо так много обещает, точно ветер и дождь прогнали осень и снова на землю возвращается благотворное лето.

Сквозь влажный шорох наших шагов и веселое падение дождевых капель я слушаю ворчливый, усталый рассказ:

— Ну . . . Открыл я ему дверь и не могу в глаза взглянуть, сама собою голова падает, а он поднял ее за подбородок и спросил:

— «Ты что это, какой желтый, а? В чем дело?»

Он был добрый . . . кроме того, что на чай жирно давал и вообще всегда как-то говорил со мной отлично . . . будто я не лакей . . .

— Нездоровится, — говорю, — мне . . .

— «Ну, — говорит, — я тебя после обеда осмотрю, не падай духом.»

— Тут понял я, что не могу отравить его, а нужно самому мне принять порошок этот, да, самому! Вроде, как молонья озарила сердце мне — вижу, что не той дорогой иду, которая указана мне судьбою, бросился в свою комнатку, налил стакан воды, всыпал порошок — замутилась вода, зашипела, пеною покрывшись. Страшно! Однако — выпил. Не обожгло. Прислушиваюсь ко внутренностям — ничего, а в голове даже светлее стало, хотя и жалко себя, чуть не до слез . . . Давай-ко, устроимся здесь!

Огромный камень в темно-зеленой шапке моха и ползучих растений добродушно наклонил над землею широкое, плоское лицо — точно Святогор богатырь ушел в землю, увлеченный тягою ее, осталась над землею только голова и лицо, стертое вековыми думами. Со всех сторон тесно обросли, обступили его дубы, тоже как будто иссеченные из камня; ветви их касаются морщин старой скалы. Под навесом камня сухо и уютно — сидя на корточках и ломая сучья, Калинин говорит:

— Вот где бы нам дождь-то переждать . . .

— Ну — продолжай историю . . .

— Да . . . Ты — запаливай . . .

Вдвинув тонкое тело глубоко под камень, он вытянулся на земле и вяло продолжал:

— Иду тихонько в буфетную, ноги у меня пляшут, в груди — холодно. Вдруг — в гостиной Валентина Игнатьевна очень весело смеется, и через столовую слышу я генераловы слова:

— «Вот он — народ ваш, что-с? Он за пятак на все согласен!»

А возлюбленная мною — кричит:

— «Дядя! Разве мне пятак цена?»

И доктор тоже говорит:

— «Ты чего ему дала?»

— «Соды с кислотой. Господи, вот смешно будет . . .»

Калинин замолчал, закрыл глаза.

Вздыхает влажный ветер, относя густой дым на черные ветви деревьев.

— Сначала обрадовался я, что не умру — сода с кислотой — это не вредно, это с похмелья пьют. А потом вдруг ударило меня соображение: разве можно так шутить? Ведь я же — не кутенок! . . Все-таки, стало легче мне. Начали обедать, подаю бульон в чашках, все молчат. Доктор первый отведал бульон, поднял башку, сморщился и спрашивает:

— «Позвольте, что такое?»

Ну, нет, думаю, не удалось вам, господа, пошутить! Да и говорю вполне вежливо:

— Не извольте беспокоится, господин доктор, порошок я самолично принял . . .

Генерал с генеральшей не поняли, что шутка не состоялась и — хохочут, а те двое — молчат, глаза у Валентины Игнатьевны большие-большие сделались и тихонько так она спрашивает:

— «Вы знали, что это безвредно?»

— Нет, — говорю, когда принимал — не знал . . . И тут я свалился с ног, лишившись чувств своих окончательно.

Маленькое лицо его болезненно сморщилось, стало старым и жалким. Он повернулся грудью к неяркому костру, помахал рукою, отгоняя дым, озорниковато и лениво тянувшийся в угол.

— Хворал я семнадцать дён. Приходил доктор этот, Клячка — фамилия же! . . Сядет около меня, спрашивает:

— «Значит — ты сам хотел отравиться, чудак-человек?»

— Так и зовет меня: чудак-человек. А что ему за дело? Я

сам себя могу хоть собакам скормить . . . Валентина Игнатьевна ни одного разу не заглянула ко мне... так я ее и никогда и не видал больше . . . Они в скорости повенчались и уехали в Харьков, Клячка место получил при Чугуевском лагере. Остался я один с генералом, он — ничего был старик, с разумом, только, конечно, грубый. Выздоровел я — он меня призвал и внушает:

— «Ты-де совершенный дурак, и все это подлые книжки испортили тебя!» — а я никаких книжек не читывал, не люблю этого. — «Это, говорит, только в сказках дураки на царевнах женятся. Жизнь, говорит, шахматы, каждая фигура имеет свой собственный ход, а без этого — игры нет!»

Калинин простер над огнем руки — тонкие, не рабочие — и усмехнулся, подмигивая мне.

— Эти его слова я принял очень серьезно: значит — вот как? — думаю себе. А ежели я не желаю играть с вами и проигрывать мою жизнь неведомо для чего?

Он торжествующе поднял голос.

— И тогда стал я, братец ты мой, всматриваться в эту их игру и увидал я, что живут все они в разных ненужностях, очень обременены ими и все это не имеет серьезной цены. Книжечки, рамочки, вазочки и всякая мелкая дребедень, а я — ходи промеж этого, стирай пыль и опасайся разбить, сломать. Не хочу! Разве для этих забот мать моя в муках родила меня и для этой жизни обречен я по гроб? Нет, не хочу, и позвольте мне наплевать на игру вашу, а жить я буду, как мне лучше, как нравится . . .

В его глазах вспыхнули зеленые искорки, пальцы рук судорожно сцепились, и он взмахнул ими над огнем, как бы отсекая красные кудри.

— Конечно, я не сразу понял это, а — исподволь дошел. Окончательно же утвердил меня в этих мыслях один старец в Баку — мудрейший человек! «Ничем», говорит, «не надобно связывать душу свою: ни службой, ни имуществом, ни женщиной, ни же иным преклонением пред соблазном мира, живи один, только Христа любя. И это — едино что навсегда верно, единое навеки крепкое» . . .

— Ух! — воодушевленно крикнул он, надув щеки и покраснев от какого-то внутреннего усилия. — Весьма много видел я и земли, и людей, и уже много есть на Руси таких, которые понимают себя и пустякам предаваться не хочут. «Отойди ото зла и

тем сотворишь благо», говорил мне старичек, а я уже до него понял это! Сам даже множеству людей говорил так и говорю, и буду . . . Однако — солнце-то вон где! — вдруг оборвал он самодовольную речь восклицанием тревожным и жалобным.

Большое красное солнце тяжело опускалось в море; между ним и водою — невысокие темные холмы облаков со снеговыми вершинами.

— Пожалуй, захватит ночь, — ощупывая кафтан, ворчал Калинин. — А тут — чекалки по ночам рыщут. Чекалок — знаешь?

— Шакалов?

— Правильно называется — чекалка.

Три облака похожи на турок в темно-красных халатах и белых чалмах, они соткнулись головами, тайно беседуя о чем-то, у одного на спине вздулся горб, на чалме другого выросло бело-розовое перо, оторвалось и всплыло в небо, к задумчивому солнцу, без лучей и подобному луне. Третий турок выдвинулся вперед и согнувшись над морем закрыл собеседников своих, из под чалмы его вспух большой красный нос и смешно нюхает море.

— Слепой старик лапоть ловчее плетёт, чем многие умные люди составляют свою жизнь, — слышен сквозь треск и шипение костра ровный голос Калинина.

Мне уже не хочется слушать его; нити, привлекавшие меня к нему, как-то сразу перегорели, оборвались. Хочется молча смотреть в море и думать о чем-то, что, по вечернему тихо и ласково, волнует душу. Запоздалыми каплями дождя падают его слова.

— Все суются, спрашивают друг друга: ты как живешь? Учат — ты не так живешь, вот как надобно! А кому известно, как надо жить для полного моего здоровья? Никто ничего не может знать — пускай каждый живет, как хочет, без принуждения! Я ничего от тебя не хочу и ты от меня ничего не требуй. И не жди. А отец Виталий доказывает обратное: человек должен быть в мире ратником супротив зла . . .

В темной пустыне лежит кроваво-красная толпа — не по ней ли прошли и невидимо идут, теряя плодотворно горячую кровь, лучшие люди мира?

Справа и слева от этой живой полосы огня, море странного, темно малинового цвета, дальше оно — черное и мягкое, точно

бархат, где то далеко на востоке бесшумно вспыхивает молния, точно незримая рука зажигает о сырое небо спичку и не может зажечь.

Калинин обиженно говорит о старце Виталии, смотрителе за работами в Ново-Афонском монастыре, — вспоминается умное, веселое лицо монаха, с жемчужными зубами в шелке черной и серебряной бороды; прищурив красивые, женские глаза, он говорит внушительным баском, подчеркивая «о»:

— Когда мы, теперешние, прибыли сюда — был тут хаос довременный и бесово-хозяйство: росло всякое ползучее растение, окаянное держи-дерево за ноги цапало и тому подобное! А ныне — глядите-ко, сколь великую красу и радость сотворили руки человечьи и благолепие какое!

Он гордо очерчивает крепкой рукою и взглядом широкий круг в воздухе: в этот круг, как в раму, заключена гора, разработанная уступами под фруктовый сад — земля, точно пух взбита на ней — под ногами Виталия серебряная полоса водопада и лестница, высеченная в камне — она ведет в пещеру Симона Канонита. А внизу горят на полуденном солнце золотые главы новой церкви, тают белые корпуса гостинниц и служб, зеркалом лежат рыбные пруды и всюду — царственно важные, холеные деревья.

— «Братие, — когда захочет человек — дано ему одолеть всяческий хаос!» — торжественно говорит Виталий.

— Тут я его и прижал: Христос наш — говорю — тоже был человек бездомный и надземный; он вашу земную заботливую жизнь отвергал! — рассказывает Калинин, потряхивая головою и уши у него тоже трясутся. — Был Он не для низких и не для высоких, а — как все великие справедливцы — ни туда, ни сюда! А когда с Юрием да Николою ходил по земле русской, по деревням, то даже и не вмешивался в дела их — они спорят о человеке, а Он — молчит! Уел я его этим, рассердился Виталий, кричит: ах, ты, невежа, еретик!

Под камнем душно, дымно. Костер — точно охапка красных маков, азалий и еще каких-то желтых цветов; он живет своей красивой жизнью, сгорая и согревая, умно и весело смеясь ярким смехом.

С гор, из туч, тихо спускается сырой вечер, земля дышет тяжело и влажно, море густо поет неясную, задумчивую песню.

— Значит — здесь заночуем? — деловито спрашивает Калинин.

— Нет, я пойду.

— Ну, что ж! Идем . . .

— Мне — не по дороге с тобой . . .

Он, сидя на корточках, вынимал из котомки хлеб и груши, но после моего ответа, снова сунул в нее вынутое и захлестнул котомку, сердито спросив:

— Зачем же ты шел?

— Поговорить. Человек ты интересный . . .

— Конечно — интересный, — таких, как я, не много, брат!

Солнце, похожее на огромную чечевицу, тускло красное, еще не скрылось, и волны не могут захлестнуть огненного пути к земле. Но скоро оно утонет в облаках, тогда тьма сразу выльется на землю, точно из опрокинутой чаши, и сразу в небе вспыхнут большие, ласковые звезды. Земля во тьме станет маленькой, как человечье сердце.

— Прощай!

Я пожимаю небольшую, без мускулов, кисть руки — человек детски ясно смотрит в глаза мне и говорит:

— А я скорей тебя дойду!

— До Гудаута?

— Ну, да . . .

. . . Вот я и один, в ночи, на милой мне земле всем одинаково чужой и всему равно близкий; щедро оплодотворяемый жизнью, по мере сил оплодотворяющий ее.

С каждым днем все более неисчислимы нити, связующие мое сердце с миром и сердце копит что то, от чего все растет в нем чувство любви к жизни.

Поет море ночной гимн; камни, заласканные волнами, глухо гудят в ответ. Неясное — белое носится стаями по черной пустыне; вдали над нею еще не погасла вечерняя заря, а в зените неба уже ярко пылают звезды.

Засыпая вздрагивают вершины деревьев — на землю сыплются капли дождя. Всхлипывает вода под ногами — звук робкий и сонный.

Иду во тьме и сам себе свечу; мне кажется, что живой фонарь, в груди моей красным огнем горит сердце, и так жарко хочется, чтобы кто-то боязливый, заплутавшийся в ночи — увидал этот маленький огонь . . .

Едут...

Дует, порывами, мощный ветер из Хивы, бьется в черные горы Дагестана, отраженный, падает на холодную воду Каспия, разъел, у берега, острую, короткую волну.

Тысячи белых холмов высоко вздулись на море, кружатся, пляшут, — точно расплавленное стекло буйно кипит в огромном котле: рыбаки называют эту игру моря и ветра — «толчея».

Кисейными облаками летит над морем белая пыль, осыпая старую шкуну о двух мачтах, она идет из Персии, от реки Сефидруда в Астрахань, гружена сухими фруктами — кишмишем, урюком, шапталой; — на ней едут человек сто рыболовов с «Божьего промысла», всё верхне-волжские лесные мужики, здоровый, литой народ, обожженный жаркими ветрами, просоливший в горькой воде моря, бородатое, доброе зверьё. Они хорошо заработали, рады, что едут домой и возятся на палубе, как медведи.

Сквозь белые ризы волн просвечивает, дышет, зеленое тело моря; шкуна режет его острым носом, как плуг землю и, по борта зарываясь в снега кудрявой пены, мочит в холодной осенней воде косые кливера.

Паруса вздулись шарами, трещат на них заплаты, скрипят реи, туго натянутый такелаж струнно гудит, — все вокруг напряжено в стремительном полете, по небе тоже мчатся облака, между ними купается серебряное солнце; море и небо странно похожи друг на друга, — небо тоже кипит.

Сердито свистя, ветер разносит по морю голоса людей, густой смех, слова песни, — ее давно поют, но все еще не могут наладить стройно, как следует, ветер гонит в лица певцов соленую, мелкую

пыль, и лишь изредка слышен надорванный голос женщины, он тягуче и жалобно выкрикивает:

— Змеем огненным . . .

Сладко и густо пахнет жирным урюком, даже сильный запах моря не может убить этот аромат.

Уже миновали Уч-косу, скоро будет Чечень-остров, места, издревле знакомые русским, — отсюда еще киевляне ходили грабить Табаристан. С левого борта в прозрачной синеве осени являются и исчезают темные горы Кавказа.

Около грот мачты, прислонясь к ней широкой спиною, сидит богатырь-парень, в белой холщевой рубахе, в синих персидских портах, безбородый, безусый; пухлые красные губы, голубые детские глаза, очень ясные, пьяные молодой радостью. На коленях его ног, широко раскинутых по палубе, легла такая-же как он большая — и грузная — молодая баба-резальщица, с красным от ветра и солнца шаршавым, в малижах, лицом; брови у нее черные, густые и велики, точно крылья ласточки, глаза сонно прикрыты, голова утомленно запрокинута через ногу парня, а из складок красной, растегнутой кофты, поднялись твердые, как из кости резаные груди, с девственными сосками и голубым узором жилок вокруг них.

Парень положил на левую ее грудь широкую, черную как чугун, лапу длинной узловатой руки, по локоть голой и тяжко гладит добротное тело женщины, в другой руке у него жестяная кружка с густым вином, — лиловые капли вина падают на белую грудь его рубахи.

Около них завистливо кружатся люди, придерживая срываемые ветром шапки, запахивая одёжу и жадными глазами ощупывают распластавшуюся женщину; через борта, — то справа, то слева, — заглядывают косматые, зеленые волны, в пестром небе несутся облака, кричат ненасытные чайки, осеннее солнце точно пляшет по вспененной воде — то оденет синеватыми тенями, то зажжет на ней самоцветные камни.

Люди на шкуне кричат, поют, смеются, на куче мешков шапталы лежит большой бурдюк кахетинского вина, около него шумно трутся огромные бородатые мужики: все имеет старинный, сказочный вид, — вспоминается возвращение Степана Разина из Персидского похода.

Персы-матросы, одетые в синее, костлявые как верблюды, дружелюбно оскалив жемчужные зубы, смотрят на веселую Русь, — в сонных глазах людей Востока тихонько тлеют непонятные улыбки.

Встрепанный ветром угрюмый старик с кривым носом на мохнатом лице колдуна, проходя мимо парня и женщины, зашнулся о ее ногу, остановился, не по-старчески сильно взметнул головою, закричал:

— А, чтоб-те розорвало! Чего на пути легла? Бесстыжа рожа, оголилась как, — тьфу!

Женщина и не пошевелилась, даже не открыла глаз, только губы ее чуть дрогнули, а парень потянулся вверх, поставил кружку на палубу, положил и другую руку на грудь женщины и крепко сказал:

— Что, Яким Петров, завидно? Ну, айда, беда мимо! Не зарься, не страдай зря-то! Не твоему зубу сахар есть . . .

Приподнял лапы и снова опустив их на грудь женщины победно добавил:

— Всю Россию выкормим!

Тут женщина улыбнулась медленно и все вокруг словно глубоко вздохнуло, приподнялось как одна грудь, вместе со шкуной, со всеми людями, а потом о борт шумно ударилась волна, окропила всех солеными брызгами, окропила и женщину; тогда она, чуть приоткрыв темные глаза, посмотрела на старика, на парня — на все — добрым взглядом и не торопясь прикрыла тело.

— Не надо! — сказал парень, отнимая ее руки. — Пускай глядят! Не жалей . . .

На корме мужики и бабы играют плясовую, охмеляющий молодой голос внятно частит:

— Мне не нанно богачества твово, —
Не милее оно милого мово . . .

Стучат по палубе каблуки сапог, кто-то ухает, точно огромный филин, тонко звенит треугольник, поет калмыцкая жалейка и, восходя все выше женский голос задорно выводит:

— Воют волки во поле —
С голодухи воют;
Вот-бы свекра слопали, —
Он этого стоит!

Хохочут люди, кто-то оглушительно кричит:

— Ладно ли, снохачи?!

Ветер сеет по морю праздничный смех.

Большой парень лениво накинул на грудь женщины полу армяка и, задумчиво выкатив круглые детские глаза, говорит, глядя вперед:

— Прибудем домой — развернем дела! Эх, Марья, сильно развернем!

Огненнокрылое солнце летит к западу, облака гонятся за ним и — не успевают, оседая снежными холмами на черных ребрах гор.

Покойник.

. . . Я шагаю не торопясь по мягкой серой дороге между высоких — по грудь мне — хлебов; дорога так узка, что колосья опачканы дегтем, спутаны, поломаны и лежат в колеях раздавленные.

Шуршат мыши, качается и никнет к сухой земле тяжелый колос; в небе мелькают стрижи и ласточки, значит — где-то близко река и жилье. Глаза, блуждая в золотом море, ищут колокольни, поднятой в небо, как мачта корабля; ищут деревьев, издали подобных темным парусам, но — вокруг ничего не видать, кроме парчевой степи: мягкими увалами она опускается к юго-западу; пустынна, как небо, и так же тиха.

В степи чувствуешь себя, как муха на блюде — в самом центре его, чувствуешь, что земля живет внутри неба в об'ятии солнца, в сонме звезд, ослепленных его красотою.

Вот оно — большое, рдяно-красное — далеко впереди на синем краю неба важно опускается в белоснежные бугры облаков; колосья осыпаны розовой пылью заката, васильки уже потемнели и в предвечерней тишине ясно слышишь всё, о чем поет земля.

В небе веером раскинуты красные лучи, один из них касается моей груди и точно жезл Моисея вызывает к жизни горячий поток мирных чувств: хочется крепко обнять вечернюю землю и говорить ей певучие, большие, никем не сказанные слова.

Посеяны звезды в небе и земля — звезда; посеяны люди на земле и я среди них, чтобы бесстрашно ходить по всем дорогам, видеть всякое горе, всю радость жизни и вместе с людьми пить мед и яд.

. . . Есть хочется, а в котомке с утра — ни кусочка, это мешает думать и несколько обидно. Такая богатая земля и так много сработал на ней человек, а кто-то голоден . . .

Вдруг дорога повернула в правую сторону — распахнулась стена хлебов и открыла степную балку, по дну ее вьется голубая река, новый мост висит над нею, отраженный в воде — мост желтый, точно из репы вырезан. За мостом приникли к пологому угорью семь белых хат, на угорье — левада, высокие осокори бросают на деревню длинные пушистые тени, стреноженный конь ходит между серо-серебрянных стволов, взмахивая хвостом; густо веет дымом, дегтем, моченой коноплей, кудахчут куры и устало плачет ребенок — сейчас он заснет. Если бы не эти звуки, можно думать, что все в балке наскоро, но умелою рукой написано ласковыми красками — они уже поблекли на солнце.

В полукруге хат — криница, рядом с нею — красная часовенка, узкая и высокая, она — точно одноглазый сторож. Наклоняется к земле поскрипывая длинный журавль; баба, вся белая, черпает воду, подняла вверх голые руки, вытянулась и кажется, что сейчас взлетит на воздух легкая как облако.

Около криницы блестит черная грязь, точно измятый бархат; двое молодцов, лет пяти и трех, оба бесштанные, заголившись по пояс, молча тискают грязь желтыми ногами, точно желая вмесить во влажную массу красный блеск солнца. Эта добрая работа очень занимает меня, я смотрю на солидных мальцов сочувственно, с живым интересом — солнце и в грязи на своем месте, чем глубже в землю проникнет оно, тем лучше и земле, и людям!

Сверху — все словно на ладони. Семь хат на хуторе — не найдешь здесь никакой работы, но — приятно будет поболтать вечерок с добрыми людьми. Иду на мост, полный задорного и веселого желания рассказывать людям разные чудесные истории — ведь это необходимо для них, как хлеб.

Из-под моста, встречу мне — точно кусок земли ожил — поднялся крепкий, давно нечесанный, небритый человек в широких синих штанах, в раскрытой холщевой рубахе, серой от грязи.

— Добрый вечер!

— И вам. Где идете?

— Это какая река?

— Это? А Сагайдак же . . .

На его большой круглой голове буйно вьются полуседые кудри, усы коротко подстрижены. Маленькие глаза смотрят зорко, не-

доверчиво и видимо считают количество дыр и заплат на моей одежде. Вздохнув глубоко, он вынул из кармана глиняную трубку на камышевом чубуке, прищурив глаз внимательно посмотрел в черную ее дыру и спросил:

— Спички есть?

— Есть.

— А табак?

— И табаку есть немного.

Он подумал, глядя на солнце, утопающее в облаках, потом сказал:

— Дайте ж мне табаку! Спички я тоже имею.

Закурили. Положив локти на перила моста, он оперся спиною о брус, долго пускал в воздух голубые струйки дыма, принюхиваясь к ним. Сморщил нос, сплюнул.

— Московский табак?

— Роменский, Рымаренка.

— Ого, — сказал он, распарив морщины на носу, — добрый табак!

Неловко итти в хату прежде хозяина; я стоял рядом с этим человеком и, ожидая когда он кончит свои неторопливые расспросы — кто я, откуда, куда, зачем — немножко сердился на него: хотелось поскорее знать, чем встретит хутор.

— Работа? — цедил он сквозь усы. — Ни, работы нема. Какая ж теперь работа?

Отвернулся и сплюнул в реку.

На том берегу, важно качаясь, шла гусыня, за нею желтыми шариками пуха катились гусенята; две девочки провожали их, одна — в красном платке и с прутом в руке — побольше гусыни, другая — такая же, как птица, белая, толстая, косолапая и важная.

— Юфим! — надрывно кричал невидимый голос — человек качнул головою и одобрительно сказал:

— Вот глотка!

Потом стал шевелить пальцами черной потрескавшейся ноги, долго разглядывал обломанные ногти и, наконец, спросил:

— Мабудь вы — письменный?

— А что?

— То, коли письменный, може почитали бы книгу по покойнику?

Видимо ему понравилось это предложение — веселая рябь прошла по его плюшевому лицу.

— Разве же это не работа? — говорил он, пряча карие зрачки. — Дали бы вам копиек десять, да еще и смертную рубаху покойникову.

— И — накормят, — вслух подумал я.

— А как же!

— Где покойник?

— У своей хате, — идемте?

Пошли встречу надсадному крику.

— Юфи-им . . . а, бо дай . . .

Встречу нам по мягкой дороге ползли тени, за кустами на реке шумела детвора, плескалась вода, кто-то строгал доску — в воздухе плавал всхлипывающий звук. Человек не торопясь сказал:

— Была читалка старушка — вот ведьма была! Свезли ее до города, ноги у нее отнялись . . . а надо бы — языку! Такая была надобная, только лаялась очень . . .

Черный щенок, величиною в большую жабу, подкатился на трех лапах под ноги нам, поднял хвост и грозно зарычал, нюхая воздух розовым детским носом.

— Тю!

Выскочила откуда-то сбоку молодая голоногая баба и гневно всплеснув руками закричала:

— Юфим, да я ж тебя зову, зову . . .

— Хиба ж я не слышу . . .

— Где ж ты был?

Мой спутник молча показал ей дулю и ввел меня во двор хаты, соседней с тою, у которой осталась голоногая женщина, истекая крепкой руганью и нелюбезными пожеланиями.

Две старухи сидели в двери маленькой хатки, одна — круглая, встрепанная, как разбитый ударами кожаный мяч, другая костлявая, переломленная в спине, с темным сердитым лицом; у ног их лежала, вывалив тряпичный язык, большая, как овца, собака, с вытертою шерстью и красными слезящимися глазами.

Юфим подробно рассказал, как он меня встретил и на что я годен — две пары глаз молча смотрели на него, одна старуха дергала головой на тонкой черной шее, другая, послушав, предложила мне:

— Седайте, я соберу вам вечеряти . . .

Маленький дворик густо зарос просвирняком и розетками подорожника, посреди него — телега без колес, с черными, как головни, концами осей. Гонят стадо, на хутор медленно льется широкий поток мягких звуков; изо всех углов двора ползут серые тени и ложатся на траву, отемняя ее.

— Все помрем, ненько, — уверенно говорит Юфим, постукивая трубкой о стену, а в воротах стоит голоногая, краснощекая баба и пониженным голосом спрашивает:

— Ты идешь или нет?

— Да надо ж сначала одно дело доделать, а потом . . .

Мне дали краюху хлеба, горшок молока — собака встала, положила на колени мои слюнявую, старую морду и, глядя в лицо мне тусклыми зрачками, словно спрашивает:

— Вкусно?

Точно ветер вечерний шуршит сухою травой — стелется по двору хриплый голос горбатой старухи:

— Просишь-молишься: убави, Боже, горя, а оно на тебя вдвое.

Темная, как судьба, она поводит длинной шеей, змеиная голова мерно, сонно качается, и вяло падают на землю, к ногам моим однотонные, ветхие слова.

— Те работают, сколько хочут, иншие — вовсе ничего не работают, а наши — больше сил своих, и нет им награды . . .

Слышен тихий шепот маленькой старухи:

— Наградит Матерь Божия . . . Она всех наградит . . .

Минута глубокого молчания.

Полновесное, оно кажется чреватым чем-то значительным: оно внушает уверенность, что сейчас рождаются какие-то важные мысли, и скоро я услышу особенные слова.

— Тебе скажу, — пытаясь выпрямить спину говорит старуха, — был у моего человека между многих недругов один друг, Андрием звали, и когда не стало нам силы жить там, в дедовщине, на Донце, — заторкали, загрызли люди моего, аж до слез и немоты, то пришел до нас Андрий и говорит: «Не опускать бы тебе, Яков, рук, земля — велика и везде дана человеку: если здесь люди злы — это они от глупости и тесноты, и ты их за то не суди, живи просто: они — свое, а ты — свое! Тихо живи, а не уступай никому ничего и тогда одолеешь всех».

— Так и мой Василь говаривал часто: они — свое, а мы — свое . . .

— Ну, да, хорошее слово не помрет, где ни скажи его — оно летит по всей земле, как ласточка . . .

— Это верно, — сказал Юфим, согласно кивая головою. — Это как раз так! Так и говорится: хорошее слово — Христово, а дурное — попово . . .

Резко вскинув голову, старуха захрипела:

— Не попово, а твое . . . Ой, Юфим, седой ты, а говоришь не думая . . .

Тут вступила Юфимова баба; размахивая руками, точно держа в них решето, она начала торопливо сеять крикливые слова:

— Боже ж мой! Что это за человек? Ни сказать, ни послушать, а только все лает, как та собака на месяц . . .

— Ну-у! — протянул Юфим. — Вот, уж начала, эх . . .

На западе ростут и пухнут облака, похожие на сизый дым и кровавое пламя — кажется, что вот сейчас вся степь вспыхнет. Тихий вечерний ветер гладит ее, хлеб сонно клонится к земле, красноватые волны ходят по степи. А на востоке уже темно, и наползает оттуда черная душная ночь.

Из окна хаты над моею головой струится теплый запах покойника — ноздри и седые усы собаки дрожат, глаза, жалобно мигая, косятся на окно. Юфим, глядя в небо, убеждает сам себя:

— Дождя не буде, ни . . .

— А у вас есть Псалтирь? — спрашиваю я.

— Чего?

— Книга, Псалтирь.

Все молчат.

Все быстрее идет южная ночь, стирая с земли яркое, точно пыль. Хорошо бы закопаться в душистое сено и уснуть до восхода солнца.

— Мабудь у Панка есть, — сконфуженно говорит Юфим. — У него аж с малюнкамы . . .

Потом они пошептавшись уходят со двора, а кругленькая старушка говорит мне, вздыхая:

— Пойдите, посмотрите на него, коли хочете . . .

Голова у нее маленькая, милая, покорно согнутая. Сложив руки на груди, старушка тихо шепчет:

— Пресвятая Мати . . .

Покойник — строг и важен. Его густые седые брови сдвинуты над большим носом глубокой складкой, нос загнут в усы, вва-

лившиеся глаза прикрыты неплотно, рот тоже полуоткрыт — кажется, что человек этот упрямо думает о чем-то, думы его гневны и вот он сейчас жутко крикнет какое то особенное, последнее свое слово.

Над головой его горит тонкая свеча, синий дымок пугливо дрожал, сея слабенький свет, и не мог согнать мертвых теней под глазами усопшего и в глубоких морщинах щек. На сером пятне сорочки двумя буграми лежат темные кисти рук; пальцы — кривые, даже и смерть не расправила их. По хате, от окна к двери, струится воздух, насыщенный запахами полыни, мяты, чабреца и тления.

Все горячее и яснее шопот старухи; шепчет она и сухо всхлипывает, а за окном, на черном квадрате неба грозно мигают зарницы, и когда в тесную, как гроб, хатку хлынет через окно синий свет — огонь оплывшей свечи словно прячется, улетает, седые волосы на лице умершего блестят, как рыбья чешуя, лицо сурово хмурится.

Шепот старухи просачивается в грудь, сердцу горько и холодно, в памяти встают — не утоляя скорби — старые важные слова:

«Не рыдай мене, Мати, зряща во гробѣ, возстану бо . . .»

Этот — не восстанет.

. . . Пришла костлявая старуха и об'явила, что Псалтиря нет на хуторах, а вот есть другая книжка — не годится ли?

Другая книжка оказалась грамматикой церковно-славянского языка, первые страницы ее были оторваны и она начиналась словами: «друг», «други», «друже».

— Что же будет? — горестно спросила маленькая старушка, когда я сказал, что грамматика не годится покойнику. Ее детское личико обиженно задрожало, опухшие глаза еще раз налились слезами.

— Жил человек, жил, — говорила она, всхлипывая, — а честного погребения себе не выжил!

Я сказал ей, что буду читать над мужем ее все молитвы и псалмы, какие знаю, только чтоб она вышла из хаты: мне это дело не свычно и не вспомню я всех молитв, если меня будут слушать живые.

Она не поняла меня или не поверила мне и долго толклась в дверях, шмыгая носом, отирая рукавом маленькое изношенное лицо.

Потом — ушла.

Пылают зарницы в черном небе на краю степном, там где степь подходит к морю; хата наливается синим туманом, безмолвно мечется в ней тьма душной ночи, цветет робкий огонек свечи — человек лежит и смотрит полуоткрытыми глазами на трепет теней, скользящих по груди его, по белым стенам и потолку.

Я искоса сторожко поглядываю на него — ведь неизвестно на что способен покойник? — и добросовестно читаю вполголоса:

«Прости вся, елико ти согрѣшихъ, яко человѣкъ, паче же не яко человѣкъ, но горѣе скота . . .»

Рядом с этими словами идут мысли, отрицающие их:

— Не грех труден и горек, а — праведность . . .

«вольная моя грѣхи и невольная, вѣдомая и невѣдомая, яже отъ юности и отъ науки злы и яже суть отъ наглства и унынія . . .»

— Не идет все это к тебе, брат . . .

Голубые звезды сверкают в бездонной тьме небес, — кто еще, — кроме меня, — видит их в этот час?

Вдали гудит гром, и все колышется в трепете зарниц.

Стуча когтями по глинобитному полу вошла собака — она все время шляется взад и вперед, понюхает ноги мои, тихонько заворчит и снова тащится вон. Должно быть, слишком стара чтобы отпеть хозяина тоскливым воем, как это делают ее сородичи. Когда она выходит вон, мне кажется, что тени тоже хотят излиться вслед за нею — они текут к дверям, овевая лицо мое прохладным веянием. Качается огонек свечи, точно желая сорваться со светильни и улететь к звездам — среди них есть такие же маленькие и жалкие, как он. Мне не хочется, чтобы он исчез, я слежу за ним так напряженно, что больно глазам; мне душно, жутко, я стою у плеча покойника неподвижно и зачем-то усиленно вслушиваюсь в тишину . . .

Одолевает сон, бороться с ним трудно; с великими усилиями вспоминаются красивые песнопения Макария Великого, Златоуста, Дамаскина, а в голове точно комары гудят слова шестого правила «для отходящих на одр сна»:

«Аще обрящеши возглавицу мягку, остави ю, а камень подложи Христа ради. Аще ти зима будет спящу, потерпи, глаголя: яко иніе отнюдь не спят».

Чтобы не уснуть, я тихонько пою кондак:

«Душу мою, Господи, во грѣсѣхъ всяческихъ лютѣ разслаблену воздвигни.»

За дверью чуть слышно шелестит сухой шепот:

— Владычица милосердная, прими и мою душеньку . . .

Мне кажется, что душа у нее серенькая, как чечетка, и пугливая такая же. Когда она прилетит к престолу Богоматери и Та протянет к ней Свою белую, нежную, добрую руку, — эта маленькая душа встрепенется вся, взмахнет короткими крыльями и в радостном испуге умрет.

Тогда Богоматерь тихо скажет Сыну Своему:

— Вот, до чего запуганы люди Твои на земле и как непривычна им радость! Хорошо ли это, Сыне Мой?

А что Он ответит Ей?

Не знаю . . . . . .

. . . . . .

С воли из густой тишины как будто отвечают мне — тоже поют. Тишина такая полная, глубокая — этот отдаленный звук, утопающий в ней, кажется неестественным, призрачным эхом моего голоса. Я молчу, слушаю — звук ближе все, яснее, кто-то идет, тяжко шаркая ногами, идет и бормочет . . .

— Н-нет . . . И не будет . . .

— Почему не лают собаки? — думаю я, протирая глаза.

Мне кажется, что брови усопшего дрожат, в усах его шевелится хмурая улыбка.

На дворе гудит тяжелый хриплый голос:

— Что-о? Эх, старая . . . Я знал, что помрет, ну . . . молчи! Такие всегда стоят до последнего часа, да сразу и лягут, чтоб не встать . . . Кто? Проходящий . . . ага! . . .

Что-то большое, бесформенное заткнуло дверь, потом сопя и всхрапывая ввалилось в хату, разрослось в ней почти до потолка; широко размахивая рукою человечище перекрестился на огонь свечи, покачнулся вперед и почти касаясь лбом ног умершего, спросил тихо:

— Что, Василь?

И — всхлипнул.

Крепко запахло водкой. В двери стояла старушка, умоляюще говоря:

— Вы, отец Демид, дайте им книгу . . .

— Зачем? Я сам буду читать . . .

Тяжелая рука легла мне на плечо, большое волосатое лицо наклонилось к моему.

— Молодой еще — э! Из духовных?

Голова у него огромная и, точно помело — вся в космах длинных волос — даже при бедном мерцании одинокой свечи они отливали золотом. Он качается и покачивает меня, то приближая к себе, то отталкивая. Горячий запах водки густо обливает мне лицо.

— Вы, отец Демид, — настойчиво и плаксиво говорила старуха — он грозно перебил ее речь:

— Я ж тебе сколько раз говорил, что дьячка не дозволяется называть отцом! Иди себе, спи, тут мое дело будет, иди! . . А ты зажги еще свечу — я ничего не вижу . . .

Сел на скамью и, хлопнув книгой по колену, спросил:

— Горилку пьешь?

— Здесь нет ее.

— Как же нет? — строго сказал он. — Да, — вот у меня в кармане бутылка — хо!

— Не подобает здесь пить.

— Это — верно! — забормотал он, подумав. — Нужно выйти на двор, — это верно!

— Что ж вы будете — сидя читать?

— Я? А я . . . не буду, читай ты . . . я — не в себе . . . да! «Попраша мя врази мои весь день яко мнози борющія мя съ высоты» — а по сему я, несколько, выпил . . .

Он сунул книгу в живот мне и, наклонив голову, тяжело закачал ею.

— Умирают люди один за другим, а на земле все же таки тесно . . . умирают люди, не видя добра себе . . .

— Это не Псалтирь, — сказал я, посмотрев книгу.

— Врешь!

— Глядите.

Он отмахнул крышку переплета и, водя свечею над страницей, прочитал красные буквы.

— Окто-их . . .

Очень удивился.

— Октоих? Это . . . как же? Ну-ну, вот, что случилось . . . Ведь и величина другая — Псалтирь — коротенький, толстый, а это . . . это с того, что я торопился . . .

Ошибка словно отрезвила его, он встал, подвинулся к покойнику и придерживая бороду наклонился над ним.

— Извини, Василь . . . что ж делать?

Выпрямившись, откинул руками назад длинные космы, вынул из кармана бутылку и воткнув горлышко в рот себе, долго сосал вино, свистя носом.

— Хошь?

— Я спать хочу, выпью — свалюсь.

— А и вались . . .

— А читать?

— Кому здесь нужно, чтоб ты бормотал слова, которых не понимаешь?

Сел на лавку, согнулся, взял голову в руки и замолчал.

Июльская ночь уже таяла, тьма ее тихо расползалась по углам; в окно веяло утренней росистой свежестью. Свет двух свеч стал еще более бледен, огни их были как глаза испуганного ребенка.

— Жив был ты, Василь, — ворчал дьячок, — было у меня куда ходить, а теперь — некуда мне идти, бо помер последний человек . . . Господи — где правда Твоя?

Я сидел у окна, высунув голову на воздух, курил, подремывая, и слушал тяжелые жалобы.

— Сглодали жену мою они и меня сожрут, как свиньи капусту . . . верно это, Василь . . .

Дьячок снова вынул бутылку, пососал вина, вытер бороду и наклонясь над покойником, поцеловал его в лоб.

— Прощай, друже . . .

Обернулся ко мне, говоря с неожиданной ясностью и силой:

— Простой это был человек, незаметный в людях, как грач средь грачей, а был он не грач — белый голубь и никто того не знал, только я . . . да! . . И вот — удалился он «от горькие работы фараони», а я — жив, но при смерти душа моя «истягоша ю и оплеваша врази мои».

— Большое горе у вас?

Он ответил не сразу и глухо:

— Горя у всех больше, чем надо . . . и у меня столько ж! Твое дойдет до тебя.

Споткнувшись о свою же ногу, он навалился на меня, говоря:

— Петь мне хочется, а — нельзя того, побудишь людей, станут лаять. Ну, все ж таки, очень хочется петь!

И негромко загудел в ухо мне:

— Кому повем печаль мою?
Кому я скорби воспою?
Кто р-рук-ку . . .

Жесткие волосы бороды щекотали мне шею, я отклонился.

— Не любишь? Ну, чорт с тобой, дрыхни . . .

— Да вы же щекотите меня бородой . . .

— Что ж — обриться для тебя, сахар?

Он сел на пол, подумал, посопел и сердито приказал:

— Ну, читай, а я лягу спать. Да гляди не убеги с книгой, это книга церковная! Дорогая. Знаю я вас, голодранцев! Что вы бегаете везде, зачем ходите? А, — в конце концов, — ходите, куда тянет! Иди и ты. И скажи — погиб дьячок, скажи кому-нибудь хорошему, кто пожалеет. Диомид Кубасов, дьячок, — это я — совсем и без возврата . . .

Он заснул. Раскрыв книгу наугад, я читаю:

«Невоздѣланная земле возрастившая всѣхъ питателя развертзающа руку и благоволеніемъ своимъ насыщающа всякое животное . . .»

«Всѣхъ питатель» лежит предо мною, обложенный сухими пахучими травами, я смотрю сквозь дрему в его темное загадочное лицо и думаю о человеке, который не одну тысячу раз прошел по своей полосе на этой земле, в заботе о том, чтобы мертвое претворилось в живое. Возникает странный образ: по степи, пустынной и голой, ходит кругами, все шире охватывая землю, огромный, тысячерукий человек, и следом за ним оживает мертвая степь, покрываясь трепетными сочными злаками, и все ростут на ней села, города, а он все дальше ко краям идет, идет, неустанно сея живое, свое, человечье. Уважительно и ласково думается обо всех людях земли: все призваны таинственной силой, в них живущей, победить смерть, вечно и необоримо претворяя мертвое в живое, все идут смертными путями к бессмертию, поглощает людей сень смертная и — не может поглотить.

Бьются в сердце разные мысли, радостно и холодно от веяния их крыльев, хочется о многом спросить кого-то, кто может ответить бесстрашно, честно и просто.

Около меня — мертвый и спящий, а в сенях — шуршит отжившая. Но — ничего! На земле людей много, не сегодня — завтра, а уж я найду совопросника душе моей . . .

Мысленно ухожу из хаты в степь и смотрю оттуда на это жилье, затерянное на огромной земле: прижались к ней хатки, окна их слепы и черны, а в одном чуть мерцает над головою умершего человека плененный им огонь . . .

Это сердце, переставшее жить, — все ли, о чем думало оно при жизни, сказано им на земле, бедной мыслями сердца? Я знаю, что умер маленький, обычный человек, но — думаю обо всей работе его, и она мне кажется поражающе большой . . . Вспоминаются недозрелые измятые колосья, в колеях степной дороги, ласточки, в синем небе, над золотою парчей хлебов, степной коршун, застывший в пустоте, над широким кругом земли . . .

Слышен свист крыльев — тень птицы мелькнула на светлой зелени двора, поседевшей от росы.

Перекликаются петухи — их пятеро, проснулись гуси, мычит корова, и уже где-то скрипит плетень.

Я думаю о том, как уйду в степь и буду спать там на меже, на земле, сухой и теплой; дьячок — спит у ног моих, лежа вверх грудью, широкой, точно у битюга. Огненные волосы — как сияние вокруг головы, красное толстое лицо сердито надулось, рот открыт и усы шевелятся. Руки у него длинные и в кистях как лопаты.

Невольно думаешь о том, как этот мощный человек обнимает женщину — вероятно все ее лицо тонет в бороде, и она смеется от щекотки, закидывая голову назад. Сколько у него может быть детей?

И так неприятно, обидно знать, что этот человек носит горе в своей груди — радостям надо бы жить в ней!

В дверь смотрит кроткое лицо старухи, а в окно — первый солнечный луч.

Над рекою, шелковой и светлой, курится прозрачный туман, деревья и травы переживают тот странный момент напряженной неподвижности, когда ждешь, что вот сейчас они вздрогнув запоют, заговорят понятными душе голосами о великих тайнах своей жизни.

— Такой хороший человек, — шепчет старуха, жалобно глядя на огромное тело дьячка.

И точно читая книгу, невидимую мне, она тихо и просто рассказывает историю о жене его.

— Согрешила она с одним человеком, а они заприметили это, да и навели его, мужа, на них, а после засмеяли ее, да и Демида, за то, что он ей простил грех. Она, с того смеха над нею, удавилась в чулане, а он, вот, непробудно запил . . . Уже второй год это, и скоро его сгонят с места. Мой не пил много, да все уговаривал его: ой, Демиде, не поддавайся людям, живи просто; они — свое, а ты — свое . . .

Из маленьких тусклых глаз текут мелкие слезы и тают в припухших морщинах оплаканных щек. Маленькая голова трясется, как увядший лист осенью, — нельзя смотреть в это кроткое лицо, измятое старостью и печалью! Я ищу в душе — что бы сказать утешительного этому человеку? Не нахожу ни слова и чувствую себя обиженным.

Вспоминаются давно прочитанные где-то, странные слова:

«Слуги богов не должны стонать, но смеяться, ибо стоны причиняют скорбь людям и богам».

— Мне надобно идти, — говорю я смущенный.

— О?

Ее восклицание торопливо, как будто она испугана моими словами, неверной рукою она шарит в юбке, и темные губы ее безмолвно шевелятся.

— Мне не надо денег, хозяйка, дайте хлеба, коли есть . . .

— Не треба гроший? — переспрашивает она недоверчиво.

— А на что они мне?

— Ну, як хочете, — соглашается старуха подумав. — Як хочете . . . Тоди — спасыби вам!

. . . Предо мною в синем небе улыбается солнце, хвастливо распустив над землею павлиний хвост своих лучей.

Я ему подмигиваю: знакомо оно мне — пройдет часа два времени, и его улыбки будут жечь, как огонь. Но пока мы друг другу нравимся; я иду меж хлебов и пою песнь ему, Владыке жизни.

— Неприступный естествомъ
Приступенъ мне бывъ
Въ мене облекохся
Все мое естество осветли
И своимъ вознесениемъ возведе мя
Превыше всякого начала и власти!

. . . Будем жить просто: они — свое, а мы — свое! . .

Ералаш.

Прошла по полям весна, оставив за собою голубые следы, — лужи талого снега; расковала речку Студенец, бежит речка мимо села Тулунги, закидывая на черный масляный берег цепкие волнишки, смывая сухие стебли подсолнухов, — в мутной воде кувыркаются мохнатые комья корней.

Тепло вздыхает ветер, стремясь за рекой, покрывая воду золотистой рябью; на берегу покачиваются таловые кусты, распуская почки, некоторые уже раскрылись, — на солнце трепещут желтоватые мотыльки новорожденных листьев.

Над бархатом черных полей, над серебряными пятнами луж стоит голубоватый парок, — влажное дыхание оттаявшей земли. Круг земной свободен, широк, уютно накрыт шатром небес; над селом и полями царствует апрельское солнце, — небо расцвело огненным цветом. Полдень; тепло и радостно.

За рекою, на взгорье, празднично высветлилось богатое село; на одном его конце встала в небо колокольня, — плавится на солнце золоченый крест; на другом, красивой булавою, поднят минарет мечети. Вокруг колокольни вьются белые голуби, — точно веселый звон превратился в белых птиц. В селе тихо и пусто, — только голуби да колокольный звон, а люди ушли навстречу иконе Богоматери — ее несут в город из древнего монастыря за тридцать верст от Тулунги.

Трое рослых татар, с заступами в руках, молча уравнивают упругую землю, — с'езд к парому. Один возится на самом пароме, расковыривая ломом доски, еще один, — мешая ему, — метет паром измызганной метлой, ими тихо командует статный юноша в лиловой тюбитейке, — у него очень белое лицо, — большие грустные глаза и ярко красные губы. Я сижу на скамье у ворот постоялого двора, любуюсь тихо-умной работой татар,

голубями, — на душе у меня удивительно хорошо, точно я сам сделал все это: солнце, небо, землю и все, что на ней. Недурно сделал и тихонько радуюсь.

Постоялый двор держит Устин Сутырин, мещанин из Темрюка, маленький человечек, суетливый как цыпленок; ему помогает сестра, грудастая мелкозубая баба с плутоватыми глазами; работница, рябая и огромная и такой же огромный, рыжебородый татарин; под этими двумя — земля гнется.

Все они начали шуметь и вертеться с рассвета; пекли, варили, ругались, устраивали столы на улице, под окнами широко развалившейся пятиоконной избы. Я пришел сюда вчера днем, а вечером написал Устину ядовитое прошение на мужиков, которые украли у него жмыхи и убили борова, — прошение очень понравилось Сутырину, особенно пленился он словами: «А по сему и принимая во внимание».

— Круто завинчено! — восхищался он, осматривая меня бойкими глазами веселого жулика. — Ты, парень, останься у нас на завтрее, — завтра веселый день у нас, Владычицу встречаем, ералаш будет!

Теперь Устин, босой, в синем жилете сверху кумачной рубахи, оводом носится по двору, по улице и командует, сбивая с толка всех своих помощников.

— Ясан, — слепой ты, али что? Как ты кóзлы уставил? Тыщу лет живете, шайтаны . . . Дарья, — стой, — куда весы, кто велел?

Со двора павой выходит сноха Устина, Марья, синеокая вдова, — муж ее, два года тому назад, в день зимнего Николы, убит в честном бою с татарами на реке Студенце. Вдова одета праздничнo: на ней синий жакет, желтая, с зелеными цветами, юбка, козловые башмаки с подковами и пунцовый платок на светлых волосах. Устин, поперхнувшись словом, глядит на нее, открыв рот, точно впервые увидал, глядит и восхищенно бормочет:

— Выпялилась, — дама козырей!

— И тотчас же неистово орет:

— Куда-те поманило, а?

Надвигаясь прямо на него, она спрашивает сочным голосом:

— Ну, а што?

— Ер-ралаш, — отмахнувшись от нее, кричит Устин и убегает во двор.

Юноша татарин поправил тюбитейку и вынул из-за пазухи кожаный кисет; женщина, подняв сзади юбку на высоту спины, села рядом со мной, вздохнув:

— Тепло!

О том, кто я, откуда, куда иду, — она выспросила меня еще вчера, и теперь ей не о чем говорить. Сидит и дышит, равномерно приподнимая высокую грудь, синие глаза скошены на татарина, он посматривает на нее и курит маленькую трубочку. Ласково плещется река, звенят невидимые жаворонки. На дворе непрерывно гудит басовитый голос сестры Устина, надрывается его тонкий голосок. Среди грязной дороги, на сухом сером островке, сидит собака и, вывесив язык, смотрит, как в зеркало, в лужу. Жарко ей на солнце, а уйти, видимо, лень. Исступленно свистят скворцы, где-то далеко за селом щелкает плеть пастуха, а в селе тонко плачет ребенок. Легко, точно детскую коляску, Ясан выкатил со двора телегу на железном ходу, накрыл ее досками, разостлал на доски рядно и, подняв оглобли, пристраивает к ним весы. Юноша тихонько говорит ему что-то.

— Иок, — мрачно ответил Ясан.

— По ихнему — ёк, а по нашему — нет, — просвещает меня соседка и спрашивает работника:

— Чего он?

— Не снай.

— А сказал — нет?

— Ты сам снайт.

— Чего такое? — вдруг, точно с крыши соскочил Устин.

— Нисява.

— Тыщу лет живете, а говорить по-человечьи не можете . . . Марья, что ж ты сидишь, побойся Бога!

— Ну, а што?

— Дак — сахар же надо колоть!

— Наколола уже.

— Наколола, наколола . . .

Передразнил и убежал, чмокая подошвами по сырой земле. Женщина, усмехнувшись, толкнула меня локтем.

— Ревнущий!

— Ну?

— Бяда!

И, вздохнув, говорит:

— Совсем окаянный. Полугода не минуло, как сына схоронил, а уж говорит мне: хошь, говорит, жить у меня, дак ты и спи со мной, а нет — уходи . . . Вон какой!

— Лакомый. Ну, а вы?

— Чего?

— Не ушли?

— Куда?

— К родным?

— Сирота я.

— На работу!

— Из богатого-то дома? Ишь ты . . .

— Коли не стыдно, так — ладно!

— А чего еще? Иде ж стыд? Тут — скрозь они, снохари. Особо у казаков. У них жалнерки эти — все под свекром.

Молодой татарин идет на паром, женщина беспокойно двигается, толкая меня, хрупко шумит ситец. От ее волос крепко пахнет гнилым жиром, — это, должно быть, помада.

— Хорош молодец, — говорю я о татарине.

— Это который? — невинно спрашивает она.

— А вот, на которого вы смотрите.

— Али я на него гляжу? На что он мне, нехрись!

— Разве вы всегда только на то смотрите, что вам нужно?

— А, ведь, и то правда! — подумав, говорит она и почтительно заглядывает в лицо мне. — Ну, ну . . . что значит, когда грамотей! Гляди-ка ты, как . . .

В дали, на краю степном, являются, одна за другой, какие-то пестренькие шишки и тихонько катятся по черному бархату земли, непонятно исчезая в светлом блеске луж. Татары кончили работать, пятеро собрались на пароме, юноша незаметно, боком как-то, приблизился к нам.

— Его — Мустафой зовут, — бормочет женщина. — Богатый, у отца маслобойня, жмыхом торгуют, яйца скупают . . .

— Женат?

— Вдовый, с того года. Женили на малолетке, так она родами и померла.

Распустив толстые губы в улыбку, она говорит:

— Кабы не татарин . . .

— Что ж тогда?

— Сам знаешь . . .

Она белая, румяная, сытая. Ее томит весенний хмель, синие глаза подернуты влагой и смотрят жалобно. Весна зажгла в этом полнокровном теле свои жадные стремления, — женщина тлеет на солнце, как сырое полено в костре. От нее исходит некий пьяный чад. Не очень ловко мне рядом с ней, но и уйти не хочется. Ей — жарко. Медленно растегивая тугие крючки жакета, она смотрит на свою грудь в броне жесткого ситца и спрашивает меня:

— В твоей стороне татары есть?

— Живут.

— Везде они есть! Чать, наших-то все-таки больше, а?

— Побольше. А что?

Она сумрачно говорит:

— Уж крестились бы все в одну веру, без забот . . .

— Для вас какая вера приятнее?

— Своя. Спросил тоже!

— Какая — своя?

— Ну — наша! Христова!

Она смотрит на меня сердито и видимо хочет сказать что-то неприятное мне, но вдруг лицо ее изменило выражение, и она говорит не весело:

— Вера у нас — лучше, а мужики — хуже. Татаре вина совсем почти не пьют, да и не дерутся.

— А — многоженство?

— Ну, это старики богатые жадуют, а молодые редко!

Помолчав, подумав — она решительно говорит:

— Бабам это очень мешает — разноверие: татаре, мордва, столоверы разные, штунда.

— Мешает?

— Конешно. Бабам все мешает.

И снова помолчав, родит еще мысль:

— Вот, говорят: Бог для всех один.

— Да?

— А люди — разные.

— Так что же?

Она сердито бормочет:

— Привязался! Что, да что . . .

Молодой татарин кружится по берегу, глядя в землю, точно он деньги потерял и все ищет их. Он — точно теленок, привя-

занный невидимой веревкой на невидимый кол. Женщина, исподлобья поглядывая на него, смешно облизывает губы.

На полях теплая, черная земля неустанно и обильно родит людей; они являются, точно суслики из нор, и пестрой, рассеяной кучей ползут к селу. Сзади их, далеко, на мутно-синей полосе неба сверкает золото хоругвей, — точно вспыхнули какие-то дневные звезды. Течет над землей тихий, сочный гул, — от него звон жаворонков становится еще задорнее и радостнее колокольный звон.

Поет земля.

Выскочил Устин, смазанный маслом, в ярко начищенных сапогах, по животу пущена серебряная, кучерская цепочка; он смотрит из-под ладони в поле и, без всякой надобности, надрывно кричит:

— Идут! Марфа — идут! Марья, что же ты все сидишь, а? Ясан, где ж ты? А, Господи . . .

Он весь дрожит, точно лететь собрался, а сзади на него лезет испуганный Ясан и тоже кричит:

— Гирь бул по пуд четыр, бачка, стал — тыри! Куда девал — не снай!

— Бултыри, сталтыри, — орет Устин, топая ногами, — дьяволы! Тыщу лет живете . . . Прохожий, вот — гляди: тыщу лет живут!

Со двора вышел черный петух, приподнялся на ногах, взмахнул крыльями и возгласил:

— Реку-у . . .

— Марья, гони его, задавят!

— Гони сам . . .

— Отчего?

— Что мне — и в праздник отдыху нет?

— Пропаду я с вами!

К перевозу шариками катятся мальчишки, быстро идут девицы, подобрав юбки до колен, в черных башмаках жирной грязи.

— О, Всепетая Мати, — глухо несется с поля; там, над мохнатыми головами людей сверкает, ослепляя, квадратный кусок золота, весь облеплен солнцем. Впереди иконы едет седобородый урядник верхом на белом коне, обрызганном грязью.

Краснолицая, веселая баба звонко кричит:

— Дядя Юстин, на степи, с версту от балки, мертвяк лежит, совсем раскис . . .

— А ты — ори больше, дура! Наш?

— Не знай . . .

— Ну — царство небесное, только и всего . . . О, Господи, Владыка Пресвятая . . . Марь, становись к весам, гляди в оба. Ясан, — где сестра?

Тысячная толпа темным валом катится к речке, готовая запрудить ее, лезет на паром, толкаясь и шумя, над нею колеблется икона, реют хоругви и, золотом в куске черной руды, сверкают ризы священников. Марья стоит бок-о-бок со мною, крестится, вздыхает, шепчет красными губами:

— Милая, сердешная . . . спаси-помилуй-сохрани . . . Мати Господня . . .

И деловито говорит мне:

— Постой у весов с Ясаном, постереги, пожалуйста, как бы гири не украли, — я отбегу на минутку, на одну . . .

Икону внесли на паром, он дрогнул и отделился от берега, разукрашенный ярким ситцем, кумачем и золотом.

— Тиш-ше! — кричит урядник, а монахи, толстые точно караси, стройно поют:

— О, Всепетая Мати . . .

На реке, вокруг парома, полощутся яркие пятна отражений, по улице мечется, растопырив крылья, черный петух, дородная Марфа сладко распевает:

— Оладышки да пышки, покупай мальчишки, с патокой, да медом . . .

Сзади меня кто-то говорит вполголоса:

— Лежит он верх грудью, знаш, голова-те по ухи в земле затонула, а рот раззявил, — таково ли страшно, — беда!

— Эй, — кричит Устин, хватая меня за плечо, — где Марья?

— На пароме, кажись.

— На пароме?

Он смотрит из-под ладони на реку и бормочет:

— Ералаш . . . А по сему . . .

Богомолы тесно окружают телегу, на которой Ясан и Марфа торгуют хлебом, баранками, жареным мясом, аладьями; на дворе за столом люди пьют чай, им служит работница, безмолвно, точно немая, а на улице дудит в дудку слепой старик с ястреби-

ным носом и поводырь его, черноволосый мальчик, звонко кричит:

— Ой, дудка моя,
Ух, я!
Весялуха моя,
Ух, я!

Над землей стоит весенний гул, победно звучат голоса девиц и женщин; задорен смех, бойки прибаутки, благозвонно поют колокола, и надо всем радостно царит пресветлое солнце, родоначальниче людей и богов.

Сияет солнце, как бы внушая ласково:

— Прощается вам, людишки, — земная тварь, — все прощается, — живите бойко!

Вечер.

С реки веет холодом; мутноокие туманы вздымаются на полях и белой толпою плывут к селу. Из-за края степи выкатился в небо оранжевый жернов луны, заря играет в зеркалах вешней воды. День промчался на золотом коне, оставив в душе моей сладкое утомление, насытив ее радостями, — я точно в бирюльки наигрался, — хорошо! Сижу во дворе, на телеге, сыт по горло, в меру пьян.

Сутырин разлегся на соломе и говорит похмельно:

— Собираются бить меня мужики, а по сему и тебя, наверно, вздуют! Уж спрашивали Степаху, работницу: который тут у вас прошение составлял? Чуешь? Тебе бы, того . . . уйти от греха, к ночи-то . . .

Молчу, уходить не хочется.

— Дремлешь?

— Нет.

— Выпить мы с тобой можем однако же! — хвастается Устин и шмыгает носом. — Лешие, положили мертвеца по эту сторону — перевезли бы на ту. Ему в селе место, около сборной, а не подле меня.

В сыром воздухе тошнотворно пахнет гнилым мясом. На селе девки водят хоровод, ясно слышны задорные слова песни:

— А кто вдовушку полюбит —
Вечное спасенье!
А кто девушку полюбит —
Всем грехам прощенье!

— Ф-фу, — вздыхает Устин, — тяжело мне несколько . . .

Встретив икону, он немедленно и тяжко напился, отколотил сестру, укравшую из выручки два целковых, задавил черного петуха и уснул, но к вечеру проснулся, как встрепанный, опохмелился и снова беспокоится.

— Марью не видал?

— Нет.

— Врешь!

— Зачем?

— Мало ли зачем! Без вранья не прожить. Человек безо лжи, как петух без перьев — лысый!

Но, подумав, говорит:

— Лысых петухов не бывает. Сманила меня баба эта, ей-богу! Конешно — грех, ну — она вдовая, я — тоже. Необыкновенная же до чего! Просто — смерть! А мне, всего на всё, сорок девять годов . . . Хороша баба?

— Хороша!

— То-то, вот и оно! Дявол! На село, видно, улизнула. Тут есть один татарченок . . . ноги ему перебить надо!

Он выскочил из телеги, точно уколотый, и побежал со двора к реке, растрепанный, нечесанный, с соломой в волосах. Покурив, я тоже пошел за ним, но он уже колыхался по средине реки, в маленькой лодке, часто размахивая веслами.

У парома, на сырой, плотно утоптанной земле лежал мертвец, высунув из-под рогожи ноги в истоптанных лаптях и огромную, с отвалившимся большим пальцем руку; над ним сидел, покуривая трубку, маленький старичок, с палкой на коленях.

— Не признали — что за человек?

Старик помотал головою, указывая пальцами на свои уши. Глухонемой, видно. Паром — на той стороне, лодок нет, — не попадешь в село!

Я пошел берегом против течения реки, подальше от мертвеца, к остаткам моста, сорванного половодьем, сел на сухое место под кустами, думая о жизни. Забавно жить и отличное удовольствие — жизнь, когда тебя извне никто не держит за горло, а изнутри ты дружески связан со всем вокруг тебя.

Село шумно ликует; слышно, как двое пьяных налаживаются петь; заливчато и звонко хохочет девица, надрывается гармоника,

орут мальчишки. Благодушие до того одолевает, что даже спать хочется.

По реке неумело скользит челнок, — точно длинная, черная рыба извивается вперед хвостом. Тихо булькает весло, опускаясь в масляную воду. Добравшись до берега, шагов на десять выше меня, челнок прячется в кусты, и сквозь шорох голых веток о борта я слышу знакомый голос Марьи:

— Иде загряз по сю пору? Я ждала, ждала . . .

Кто-то тихонько говорит непонятные слова, и вновь голос женщины:

— У, нехрись! Да, постой, не тискай!

Целуются, и так смачно, что, наверно, в селе слышно.

— Ой, Мишенька . . . Ой, милый, увел бы ты меня куда-нибудь!

«Бедняга» — думаю я о Мустафе, полагая, что Мишенька — это не он, но женщина говорит:

— Хрестись ты, пожалуйста!

— Ныльза!

— А то — пришиби моего-то свинью . . .

— Гырех пришибать ему . . .

— Ну, еще . . . А вот эдак-то, со мной, не грех?

Тихо. Только кусты, колеблемые течением, шуршат о челнок. Тяжелая луна, поднявшись на сажень над землей, больше не может и снова опускается к степи, лениво, как Марья.

— Вон, Марфа, живет же с Ясашкой, а я — хуже ее, что ли? И ты его не хуже.

— Нисява!

— Тебе все — ничего.

Плеснулась рыба, по звуку — лещ, он всегда шлепается о воду плашмя. Паром идет, как-будто часть берега оторвалась и островом перегородила Студенец. В селе ударили собаку, она визжит отчаянно и жалобно.

— Кабы извести его, так и Марфа довольна будет, тогда все хозяйство — ей!

— Турма будит, острог тибе!

— Эхма, ведь — как хочешь, а — не доскочешь! . .

— Яса-ан, — кричит с парома Сутырин.

В кустах беспокойно завозились, зашептались, а я, повинуясь желанию созорничать, громко говорю:

— Не бойтесь, я его задержу . . .

— Ух, — испуганно вздыхает женщина, я вижу над кустами белое пятно ее лица.

— Прохожий, ты?

— Я.

— Ой . . . Господи!

Я иду прочь, но через несколько шагов она догоняет меня и, застегивая на ходу кофту, заправляя под платок волосы, горячо шепчет:

— Ты уж молчи, милый, я тебе за то полтинку дам, молчи, родной, а? . . Ты, — молодой, должен понимать какое это все . . . А? . .

Уверяю ее, что буду молчать, как мертвец, но говорю:

— Что ж ты, умница, не нашла другого места для эдаких разговоров?

— А ты — не стыди меня, — шепчет баба, прижимаясь ко мне. — Уж, конешно, грешница я . . . да — сам ты говорил, — красивый он! А что татарин, — так у нас вон попов сын, доктор, на французинке женат . . .

— Да я тебе не про это, Бог с тобой! А, вот, уговаривала ты его, чтобы свекра пришибить . . .

— Да какой он мне свекор, коли у меня мужа-то нет? — угрюмо говорит она и вдруг предлагает просто, как работу:

— А, может, ты возьмешься, пристукнешь его? Слушай-ко: чего тебе боятся? Сегодня ты здесь, а завтра — никто не знает где. А я бы тебя уж так-то ли поблагодарила! И он тоже, — он, гляди, богатый! А?

Смотрю в ее милое лицо, размалеванное природой самыми яркими красками, смотрю в синие глаза, большие, выпуклые, точно у куклы. Такая лубочная, но чистая красота, сильная и спокойная, как весенняя земля, нагретая солнцем . . .

— Я этакими делами не занимаюсь.

— Да, ведь, — один раз! — мягко убеждает она. — Стукнул да ушел, только и всего!

— Не подходит это дело для меня, нет!

— Ой, Господи! Да ты — подумай . . .

— Мар-рь! — визжит Устин Сутырин, качаясь в сумраке, впереди нас, смачно шлепая по грязи и размахивая руками.

— Это кто? Прохожий? А-а . . . Ты — чего? Ну — ладно!

Я тебе, нижегороцкой, верю. Ха! А по сему и — кончено! Дави их!

Он хорошо пьян, как раз в меру: удали много, а на ногах крепок

— Сейчас Коська Бичугин в ухо мне закатил: «Не жалуйся», кричит! Ты нас грабишь, мы не жалимся. Ты меня, прохожий, на нехорошее дело подбил, да! Это, брат, тебе даром не пройдет. Они тебе покажут, — Коська с Петром, они тебя угостят тяжелым по мягкому.

— Стой-ка, — говорю я, — да ведь ты сам же просил меня жалобу написать. Просил, али нет?

— Мало ли чего я, по глупости, прошу! А ты — не поддавайся. У тебя плачут, просят, а ты — реви, да не давай! Марь — так ли?

Он обнял ее за плечи и, увлекая в грязь, на средину дороги, просит:

— Давай, запоем, ну!

Закрыл глаза, закинул голову и тоненько начал пронзительным тенером:

— Эх, да и ой . . . и вот — а-а . . .

Марья, положив руку на плечо ему, выгнула кадык, уверенно подхватив хорошим альтом:

— Да вот и по дороге — эх . . .

— Верно!

Эй, скрозь высо-окие хлеба . . .

— Поддерживай, нижегороцкой. Я татарам не верю!

— Шла молодка-а, —

поет Марья.

— Он-на в синем шушуне — а-э!

У ворот постоялого двора стоит Марфа, упираясь руками в крутые бока, похожая на огромный самовар.

— Эх, — кричит она, — загуляли наши!

На селе визжат, свистят, задорится гармоника, кто-то большой тяжко бьет землю, — гул идет через черную дорогу реки.

За плечом Марфы смущенно улыбается рыжебородый Ясан.

— Родные мои, — растроганно кричит Устин Сутырин, — люблю я вас до конца жизни! Марь — действуй!

— По над полем, ох . . .
Золот месяц гуляе - э, —

поет Марья, — хорошо поет, душевно!

В поле над туманами сверкают звезды, луна коснулась краем до черной степи и замерла, стоит недвижимо, точно слушая праздничный шум милой грешной земли.

Сутырин, захлебываясь воодушевлением, выводит:

— Ай, да молодка
Путь — дорогу не знае — э-эй!

Вечер у Шамова.

По субботам у Максима Ильича Шамова собираются лучшие люди города и разные «интересные парни», — я причислен к последним и поэтому тоже охотно допускаюсь на субботы Шамова.

Эти вечера для меня, как всенощная для верующего. Люди, которые служат ее, во многом чужды мне, мое отношение к ним мучительно неясно: нравятся они мне и — нет, восхищают и — злят; иногда хочется сказать им слова сердечно-ласковые, а через час — мною овладевает нестерпимое желание нагрубить этим красивым дамам, приятным кавалерам. Но я всегда отношусь благоговейно к мыслям и словам этих людей, их беседа для меня — богослужение.

Мне двадцать один год. Я чувствую себя на земле неуютно и непрочно. Я — точно телега, неумело перегруженная всяким хламом; тащит меня куда-то, неведомым путем, невидимая сила, и вот-вот опрокинусь я на следующем повороте дороги.

Я очень много и упрямо вожусь сам с собою, стараясь поставить себя возможно тверже среди нелепых и обидных противоречий, которые отовсюду бьют и толкают меня, часто доводя до болезненного состояния, близкого буйному безумию. Года полтора тому назад я до того устал от этой возни, что пытался покончить с собою, — всадил себе в грудь пулю из отвратительного неуклюжего тульского револьвера, (такими револьверами в свое время вооружали барабанщиков). Эта глупая и нечистоплотная выходка вызвала у меня к себе самому чувство некоторого недоверия и почти презрения.

Теперь я живу в саду у пьяного попа, в хижине над грязным оврагом; эта хижина раньше была баней. В двух низеньких комнатах ее стоит запах мыла и прелых веников, — гнилой

запах, отравляющий кровь. Углы комнат промерзают насквозь; — в этом жилище даже мышам холодно и плохо, — ночами они залезают ко мне на постель.

Вокруг бани густо разросся одичавший малинник, в непогоду его цепкие прутья стучат в окна, царапают черные, кривые бревна стены. Я живу бедно и дико, в неясных мечтах о какой-то другой, светлой и легкой жизни, о рыцарской любви, о высоких подвигах самоотвержения. Печатаю в плохонькой местной газете косноязычные рассказы и убежден, что печатать их — не следует, что ими я оскорбляю литературу, которую люблю страстно, как женщину. Но — печатаю. Надобно есть.

В гостиной Шамова я забываю о себе; сижу где-нибудь в углу, в тени и жадно слушаю, весь — одно большое, чуткое ухо. — Здесь все, от мебели до людей, как-то особенно интересно, красноречиво, и все облито ласковым, почти солнечным светом ярких ламп, затененных оранжевыми абажурами.

Со стен, тепло-светлых, смотрят глаза Герцена, Белинского, я вижу нечеловечье лицо Бетховена, мне улыбается улыбкой озорника бронзовый Вольтер и всех заметнее, всего милей — детская головка Сикстинской Мадонны. В углу, за пальмой, возвышается, точно в воздухе стоя, Венера. Всюду — масса каких-то бесполезных вещей, но все они, в этой большой, уютной комнате, являются необходимыми; каждая — точно слово в песне. Драпировки на окнах и дверях пропитаны запахом духов и хорошего табака. Кое-где поблескивает золото рам, напоминая о церкви, и все люди, скромно одетые в темное, точно сектанты в тайной молельне.

Говорят они легко и ловко, как-будто бегают на коньках, капризно рисуя замысловатые узоры слов; всех громче и увереннее звучит баритон адвоката Ляхова, — это высокий, стройный человек с острой бородкой, излишне удлиняющей его бледное, светлоглазое лицо. Говорят, что он — великий распутник, мне кажется, это так и есть; он смотрит на женщин глазами хозяина, как-будто каждая из них была или будет горничной его.

Уже все собрались и сообщили друг другу городские новости, новостей мало, и они ничтожны: губернаторша сказала дерзость прокурору, супруг ее снова по привычке, превысил пределы своей власти, купцы в думе наговорили чепухи по школьному

вопросу, богатый мельник Самородов избил сноху, застрелился земский статистик, доктор Дубков снова развелся с женой.

Теперь философствуют о народе, государстве; начальственно звучит голос самоуверенного Ляхова:

— Когда пред нами откроется свободный путь к сердцу народа . . .

— Кто же откроет вам этот путь? — насмешливо перебивает речь Асеев, маленький, горбатый инженер с глазами великомученика . . .

— История!

Дама, изящная, как статуэтка на подзеркальнике, спрашивает Ляхова:

— Вы читали «Скучную историю»?

Я смотрю на нее с досадой и думаю:

«У вас, сударыня, слова рождают мысли, а не мысли слова . . .»

Асеев, закуривая папироску, говорит тихонько:

— История — это мы, люди . . .

Как у всех горбатых, лицо у него неправильное, некрасивое, в профиль оно кажется злым. Но великолепные глаза скрашивают уродство тела, — в этих глазах неисчерпаемо много тоскливого внимания к людям.

— Странное произведение! — хрипло кричит Шамов, веселый холостяк, сытый, круглый, с лицом монгола и жадным взглядом крошечных глаз, спрятанных в мешочках жирной кожи. — Можете вы представить себе на месте чеховского профессора — Пирогова, Боткина, Сеченова?

Он выпячивает живот, победоносно взмахивая пухлой дамской ручкой, с изумрудом на пальце. Он уверен, что всегда говорит нечто неоспоримое, убийственное. Беседуют они — точно битую птицу щиплют. Ощипав Чехова, живо ощипали Бурже и выдергивают перья из Толстого.

— Все эти «скучные истории» современных писателей вызваны «Смертью Ивана Ильича» . . .

— Совершенно верно!

— Толстой первый поставил ценность личного бытия выше ценности бытия мира . . .

— Положим, индивидуализм утвержден еще Кантом . . .

— У Герцена мы тоже встречаем нечто очень близкое «арзамасскому ужасу» Толстого . . .

— Резиньяция?

Спор разгорается, напоминая игру в карты; у Асеева больше козырей, чем у всех других.

В углу, около меня, изящная дама убеждает толстую в золотом пенснэ на глазах совы:

— Некрасов так же устарел, как Державин . . .

— О, Господи! . .

— Да, да! Теперь нужно читать Фофанова.

Мне жутко и приятно, что эти люди так легко снимают ризы с моих икон, хотя я не совсем понимаю — почему они делают это с таким удовольствием? И мне почти больно, когда о Чехове говорят слишком громко, неуважительно. После «Припадка» я считаю Чехова писателем, который в совершенстве обладает «талантом человеческим, тонким, великолепным чутьем к боли» и обиде за людей. Хотя мне странно видеть, что у него нет чутья к радостям жизни. Слишком стремительно мечутся мысли в этой светлой, уютной комнате, и порою кажется, что не тревога за жизнь, за людей родит их, а — иное чувство, не ясное мне.

Меня особенно удивляет инженер Асеев, — он так богат знаниями. Но иногда он напоминает мне тех зажиточных деревенских парней, которые и в хорошую погоду, в солнечный день, выходят гулять на улицу с дождевым зонтиком и в галошах. Я знаю, что они делают это не из осторожности, а ради хвастовства.

Октябрь. Слезятся стекла в окнах, снаружи дробно стучит дождь, посвистывает ветер. С громом проехала пожарная команда, кто-то сказал:

— Опять пожар!

На маленьком, капризно изогнутом диване, сидит студент, новенький, блестящий, как только что отчеканенный гривенник; он вполголоса читает изящной даме сладкие стихи:

— Что ты сказала мне, я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то.

— Позвольте, — густо кричит Тулун, огромный, седой человек с длинными усами. — Хосударство требовает з нас усю енергию, усю волю и совэсть, а шо воно дае нам?

Тулун — татарин, он долго служил членом окружного суда в Литве, потом — в Сибири. Теперь — не служит, купил маленький дом на окраине города, занимается цветоводством и живет со

своей кухаркой, толстой косоглазой сибирячкой. Он не скрывает своих отношений к ней и зовет кухарку «Сибирской язвой». Глаза у него черные, неподвижные, остановились на чем-то и не могут оторваться, а когда он спорит — белки глаз густо наливаются кровью, и тогда глаза удивительно похожи на раскаленные угли. Он об'ехал всю Русь, бывал за-границей, но рассказать ничего не может; говорит он странно, ломая язык, и очень похоже, что он делает это нарочно. Печатает хорошие рассказы в охотничьих журналах. Ему лет шестьдесят. Так странно, что он не нашел в жизни ничего лучше косоглазой кухарки.

— Да, прошептала, а что — неизвестно, —

громко читает студент и спрашивает даму:

— Это получше Надсона, неправда ли?

Эти люди все знают, они — точно кожаные мешки, туго набитые золотом слов и мыслей. Они, видимо, чувствуют себя творцами и хозяевами всех идей.

А вот я не могу чувствовать себя так: для меня слова и мысли, как живые, я знаю много идей, враждебных мне, они стремятся к власти надо мною, и необходимо бороться с ними.

Я и двигаться не могу так легко и ловко, как умеют эти люди; длинное, жилистое тело мое удивительно неуклюже, а руки — враждебны мне, они всегда ненужно задевают кого-нибудь или что-нибудь. Особенно боюсь я женщин, эта боязнь усиливает мою неловкость, и я толкаю бедных дам локтями, коленями, плечом. Лицо у меня неудобное, на нем видно все, о чем я думаю; чтобы скрыть этот недостаток, я морщусь, делаю злые и суровые гримасы. И вообще я — неудобный человек, среди благовоспитанных людей.

К тому же мне всегда хочется рассказать им о том, что я видел, что знаю о другой жизни, которая как-то особенно ядовито похожа и непохожа на их жизнь. Но рассказываю я грубо, неумело. Трудно мне на субботах у Шамова . . .

Резво, точно ласточка, по гостиной летают острые, красивые слова. Звучит смех, но смеются мало, меньше, чем хотел бы я слышать.

Пришел адвокат Спешнев, сухой, длинный, как Дон-Кихот рисунка Дорэ; он стоит среди гостиной и, нервно размахивая сухими руками, надорванным голосом поносит губернатора:

— Дутый герой, палач, выпоровший мужиков Александровки . . .

Лицо Спешнева землистое, больное, ноги его дрожат, кажется, что он сейчас упадет. Тесно и жарко. Разноцветно, разнозвучно играют умы. Ляхов громко читает стихи Барбье, Спешнев кричит, перебивая его:

— А знаете, с какой песней шли французы против пруссаков в семидесятом году?

И притоптывая ногою, болезненно нахмурясь, он распевает в темп марша загробным голосом:

— Nous aimons pourtant la vie,
Mais nous partons — ton - ton,
Comme les moutons,
Comme les moutons,
Pour la boucherie!
On nous massacrera — ra - ra
Comme les rats,
Comme les rats.
Ah! Que Bismarque rira!

— Вы понимаете? — спрашивает он, улыбаясь насмешливо и горько. — Итти на смерть с такой песней, а? Мы любим жизнь . . .

— Хосударство, — пожимая плечами, говорит Тулун, а горбатый инженер начинает рассказывать о «Левиафане» Гоббса.

Пришла m-me Локтева, она в гладком платье серого шелка, гибкая, как рыба. Она очень красива и хорошо знает это. От любви к ней застрелился поручик, спился до нищенства купец Конёв; о ней говорят много злого и грязного. Она прекрасно играет в шахматы, увлекается фантазиями Радда-Бай и говорит непонятные мне речи об индусах. Я считаю ее необыкновенным человеком и чего-то боюсь в ней. Иногда она смотрит в глаза мне так пристально, что у меня кружится голова, но я не могу опустить глаз под ее взглядом. Как-то раз она неожиданно спросила меня:

— Вы верите в чудеса?

— Нет.

— Напрасно. Надо верить! Жизнь есть чудо, человек — тоже чудо . . .

В другой раз, так же внезапно, она подошла ко мне и деловито осведомилась.

— Как вы думаете жить?

— Не знаю.

— Вам нужно уехать отсюда.

— Куда?

— Все равно. В Индию . . .

Положив красивую руку на острое плечо Спешнева, она просит побеждающим голосом:

— Пожалуйста — «Три смерти»!

И обращается к хозяину:

— Милый эпикуреец, — да?

Шамов ласково мычит, целуя ладонь обаятельной женщины, Ляхов смотрит на нее сумрачно, он стоит, напряженно вытянувшись, точно солдат; глаза Асеева становятся еще прекраснее, а женщины — улыбаются. Не очень охотно. Локтева смотрит на всех темным, притягивающим взглядом, рот ее как-то особенно полуоткрыт, точно она готова радостно целоваться со всем миром. Ясно, что она чувствует себя добрым владыкой всех людей, — самая красивая и радостная среди них. Зачем ей «Три смерти»?

Шумно двигают креслами и стульями, усаживаясь в тесный полукруг. Шамов, Спешнев и Асеев отходят в угол к маленькому круглому столу.

— Безумно люблю эту поэму, — заявляет изящная дама.

— Внимание! — командует Локтева.

Положив пухлые руки на край стола, Шамов странно улыбается, и в тишину лениво падает его сытый голос:

— Мудрец отличен от глупца
Тем, что он мыслит до конца . . .

Я — изумлен. Этот рыхлый, всегда и все примиряющий человек, масляный и обидно самодовольный, — глубоко несимпатичен мне. Но сейчас его круглое, калмыцкое лицо удивительно облагородилось священным сиянием иронии; слова поэмы изменяют его липкий, сладкий голос, и весь он стал непохож на себя. Или он — вполне и до конца стал самим собою?

— В час смерти шутки неприличны! —

говорит Спешнев, негодуя, взмахнув растрепанными волосами.

Великолепные глаза Асеева задумчиво прищурены. Все слушают чтение серьезно, сосредоточенно, только Локтева улыбается, как мать, наблюдающая забавную игру детей. В

тишине, изредка нарушаемой шелестом шелка юбок, властно плавают слова Люция-Шамова

— Прошу покорно — верь поэтам!
. . . Вы все на колокол похожи,
В который может зазвонить
На площади любой прохожий!
То — смерть зовет, то — хочет жить . . .
— Оставьте спор! —

говорит Асеев, подняв прозрачную на огне руку. Его измученное лицо спокойно; с глубоким убеждением он читает:

В душе за сим земным пределом
Проснутся, выглянут на свет
Иные чувства, роем целым,
Которым органа здесь нет . . .

И снова лениво идут иронические слова Люция:

— Я спорить не хочу, Сенека . . .
. . . Твое, как молот, сильно слово, —
Но — убеждаюсь я в ином,
Существования другого —
Не постигаю я умом! . .

Горячо звучит надорванный голос Спешнева:

— Нет, не страшат меня загадки
Того, что будет впереди, —
Жаль бросить славных дел зачатки!

Землистое лицо его краснеет, глаза горят, и он все громче, отчаяннее жалуется на гнусную обиду Смерти:

— Титан, грозивший небесам,
Ужели станет горстью пепла? . .
. . . И это — цель
Трудов, великих начинаний?

Тихо. Все замерли.

Встал Ляхов и, глядя на Локтеву, торжественно говорит:

— Декрет сената!

Захлебываясь гневом и тоскою, Спешнев кричит:

— Певец у Рима умирает!
Сенека гибнет! А народ —
Молчит!

Эти крики гасит холодный, иронический голос Шамова:

— Себя не трудно умертвить.
Но, жизнь поняв, остаться жить —
Клянусь, — не малое геройство!

Все эти слова падают на душу мне раскаленными углями. Я тоже хочу писать стихи и — буду писать!

Теперь эти люди странно близки мне, небывало приятны. Меня трогает задумчивая сосредоточенность одних, восторженное внимание других; мне нравятся нахмуренные лица, печальные улыбки людей, нравится их приобщение к идеям умной поэмы. Я крепко уверен, что, испытав столь глубокие волнения духа, все они уже не в силах будут жить, как жили вчера.

В задумчивом молчании гостиной медленно текут слова Люция:

— Для дел великих отдых нужен,
Веселый дух и — добрый ужин . . .

Шамов обводит всех маленькими глазками, включает и меня в невидимый круг и, легонько вздохнув, говорит, улыбаясь:

— И что за счастье, что когда-то
Укажет ритор бородатый
В тебе для школьников урок!

Он произносит слова все более неохотно и тихо, точно засыпает, утомленный беседой с друзьями.

В дверях, прячась за темной портьерой, стоит тоненькая, стройная горничная, с золотой, змеиной головкой в кружевной наколке на рыжих волосах, на ее белом лице остро блестят зеленоватые глаза.

— И я умру шутя . . .

мечтает Шамов, тонко улыбаясь.

Он кончил, слушатели дружно рукоплещут, а Локтева целует его в лысину.

— Вы очаровательно читаете, Макс. Ах, Боже мой . . .

— Польщен. Но, «как истый сибарит», — приглашаю кушать! Вашу лапку, дорогая . . .

Стало шумно и очень весело. Люди парами идут в столовую, сзади всех — горбатый Асеев. Он качается на ногах, точно пьяный, одной рукой он потирает высокий лоб, исписанный морщинами, в другой — папироса; он мнет ее пальцами, посыпая ковер табаком.

— Волшебница, — английской или хинной? — громко спрашивает Шамов.

В столовой, под яркой люстрой, на огромном столе сверкает

хрусталь, светится серебро, три вазы с фруктами, как три огромных цветка. Дама в пенснэ рассказывает Ляхову:

— В воскресенье, у Ещепуховых меня угощали медвежьим окороком. Я не нашла в нем ничего особенного.

А Тулун басом внушает кому-то:

— Возьмите перцу — так! Теперь — уксус! Ага?

Я незаметно пробираюсь в прихожую, — я уж научился уходить незаметно. В прихожей, на диване, сидит и дремлет, раскрыв рыбий рот, младшая горничная Дуня, круглая, как боченок, и пестрая, как маляр. Шамов рассказывает про нее, что в первые дни службы, эта рабыня с'ела у него кусок туалетного мыла.

— Ой! — вскрикивает она, просыпаясь. — Извините. Которое ваше?

Но, видя, что я уже надел пальто, спрашивает:

— Сели есть?

— Да.

— Ну, слава Богу! . . Прощайте! . .

Ветер гоняет по улице тучи мокрого пепла; в черной сети ветвей дерева странным желтым цветом расцвел огонь фонаря. Ночь прижала дома к земле, и город кажется маленьким в мокром кулаке ночи.

Я шагаю по жидкой грязи, сквозь тяжелую сырую тишину, в голове у меня горит костер новых слов, мыслей, я благодатно взволнован.

В памяти звучат слова эпикурейца:

— Когда ж насыщусь до избытка,
Она смертельного напитка,
Умильно улыбаясь, мне,
Сама не зная, даст в вине . . .

Само собою слагаются в стихи другие слова:

— Душа, одинокая и слепая,
Бредет по улице грязной.

Едет ночной извозчик, сгорбившись на козлах разбитой, гремящей пролетки. Качает головою черная, мохнатая лошадь. В конце улицы трещит трещотка сторожа.

Со мною что-то случилось: такая тоска сжимает сердце, такая тоска . . .

Вечер у Панашкина.

Насытясь вкусной духовной пищей у Шамова, — в воскресенье, вечером, я иду к Панашкину; у него тоже поучительно.

Панашкин торгует на Балчуге старой рухлядью — обломками, обносками. Ему за пятьдесят лет, он болен чахоткой. Руки у него беспокойные, длинные, ноги — тонкие, шея искривлена и на ней тревожно болтается маленькая головка с рыжими бровями ужа. Он похож на выдернутый из земли сухой корень. Сморщенная кожа его щек поросла кустиками волос мочального цвета. Фигура очень унылая, а глаза — веселые, точно Панашкин всегда видит пред собой что-то неожиданно-приятное и внутренно восклицает:

— Вот так штука!

Очень любит смеяться тихим, слезно всхлипывающим смехом, и, так как жизнь не удалась ему, любит философствовать.

— Всякий человек, каков он ни есть, должен есть, — вот-те и вся премудрость! Значится: разумейте языцы и покоряйтеся! — говорит он. — В этом — и математика . . .

— Один умный человек сказал: «Любовь и голод правят миром» — вспоминаю я.

— Это — Дюма, что ли?

Дюма-отец — для Панашкина величайший ум. Дмитрий Павлович прочитал все его романы по два и по три раза. А когда я уговорил его прочитать «Записки охотника» — он возвратил мне книгу, недоуменно посмеиваясь и говоря:

— Чего тебе тут нравится? Это, брат, не интересно, как настоящая жизнь . . .

Настоящая жизнь обращалась с ним капризно и неласково: двенадцати лет, после смерти отца, пьяного чиновника казенной палаты, Панашкин поступил мальчиком к нотариусу, через два

года перешел в табачный магазин, потом стал парикмахером, двадцати лет решил уйти в монахи, года три шлялся по монастырям, наконец, свел из одного монастыря послушницу и воротился с нею на родину. Захлебываясь плачевным смехом, бессильно взмахивая локтями, точно недорезанный петух, он рассказывал:

— Пять лет жил я с нею незаконным браком, но — в сияющей любви. Это был даже не человек, а — хрусталь необыкновенной прозрачности. Умирала — взяла меня за руку, — шепчет: «Митя, добрый друг, спасибо же тебе; завяла бы я без твоей любви, как без солнца цветок». Это она, видите ли, потому, что была старше меня на двенадцать лет, да и миловидностью не отличалась, — ряба, курноса и . . . вообще . . . Однако, душа у нея была — воистину — цветок! Замечательная душа! А красота — не для всех закон. Всякая женщина любви достойна; женщина, брат, самое лучшее Божье сочинение . . .

Когда он говорил о жене, о женщинах, о любви, — его веселые глаза становились грустно-серьезны, а веки краснели, набухая. Раза два-три он даже бесстыдно плакал, вспоминая жену; говорит, а из глаз бегут одна за другой мелкие, желтоватые слезы.

Жена оставила ему дочь, и с той поры Панашкин, по его словам, бегал вдоль и поперек жизни туда-сюда — «Все, брат, искал случая приспособиться к делу, чтобы воспитать дочёнку, однако — случая не нашел» . . .

Рассказывал он мне свою жизнь июльской ночью, в лесу, на поляне, под одинокой сосной, — я шел с ним на богомолье, отдыха ради. Он сидел, прислонясь спиною к медному стволу сосны, раздвинув длинные ноги, точно ножницы; перед ним на маленьком костре закипала вода в походном чайнике. Было душно, собиралась гроза. Меня, в ту пору, очень интересовали кроткие, много и бесполезно думающие русские люди, — нравилось мне, что они не в ладу с жизнью.

— Человек я мягкий, — ну меня и протирали сквозь сито, — сказывал Панашкин, посмеиваясь. — Сдал экзамен на сельского учителя, — оказался неспособен к делу: играть с детишками могу, а учить — не умею! Нанялся к татарину яйца скупать по деревням, татарин меня в Швецию отправил для расширения дела; приехал я в Петербург, а в гостинице, где мне

случилось остановиться, офицер со штатским поссорился, начал стрелять из пистолета, да и закатил мне пульку в бок. Пролежал я в больнице полтора месяца, а у раненого, у меня, татариновы-то деньги и вытащили! Воротился к своему месту, — хвать, — ан татарин в одночасье помер! Я — к наследникам: так и так говорю, пропали ваши деньги. А они — хороший народ! — ничего, говорят, не беда! Замечательно! Поступил в окружный суд регистратором, — у меня документ важный украли. Незадача! Из суда — под суд... Оправдали, но прокурор сказал мне: «Вы — ротозей!» Есть это у меня и по сей день: вдруг задумаюсь, неизвестно о чем, и никаких возгласов не слышу, ничего не понимаю...

— А — о чем думы?

— Да, так, знаешь... пустяки все, вообще, — ответил он, глядя в огонь. — Думаешь, примерно: неужели и завтра ничего не случится, все то же будет? Глупые мысли. Ждать нечего, архиереем не сделают. Так вот и верчусь всю жизнь, словно заколдованный и окаянный. Все пробовал, даже за укрывательство краденого судился и полгода в тюрьме сидел. Оправдали. За вольномыслие в трактире арестован был на девяносто два дня. Жандарм спрашивает: «Говорил ты, Панашкин, эти самые слова?» А я — забыл какие! «Ваше благородие, — говорю, — извините дерзость, но — чего же я не могу сказать при моей, столь запутанной жизни?» И рассказал ему всю жизнь. Он — добрый человек, — согласился: «Да, — говорит, — жизнь у вас безрадостна. Считаю вас свободным». «Покорнейше благодарю, — отвечаю, — но собака, которая на цепи сидит, больше моего свободна, потому что она при своем месте». «Что же, — говорит, — делать. Такова жизнь!» «Так точно, — говорю, — живем для украшения земли несчастиями!» Смеется он.

Рассказывая, Панашкин часто спотыкался на словах и, закрыв глаза, молчал секунду — две. Казалось, он скрывает многое испытанное им, как скрывают дурную болезнь. Я заметил, что о приятном он говорит многословно, а дурное и тяжелое старается обежать скорее. Это очень понравилось мне.

— Чего вы искали? — спросил я.

Он удивленно поглядел на меня сквозь синий дымок костра.

— Как это — чего? Чего все ищут, — сытости, покоя... принадлежности к чему-нибудь. Человек должен принадлежать

туда или сюда. Была жива Капочка, то есть жена, я осязал себя ей принадлежащим, а после нее — ничего не нашлось. Конечно, — птица небесная ни жнет, ни сеет, так ведь она — летать умеет, одежда у нее — на всю жизнь, сапог не требуется . . .

Очень понравился мне Панашкин в эту ночь, и с того началась наша добрая дружба. Он живет на окраине города, в слободе, над крутым с'ездом к Волге, в маленькой пристройке, подпирающей бок старого, споткнувшегося дома, хозяином которого является лавочник Брундуков. Дом — в два окна, посреди их истоптанное, покосившееся крыльцо — вход в бакалейную лавку; над крыльцом нахлобучена мохнатая крыша. Стекла окон зацвели на солнце, засижены мухами, на одном окне — банки с монпансье, пряниками и другими соблазнами, в другом — торчит голова дочери Панашкина.

А на ступеньках крыльца идолом сидит сам Брундуков, по глаза налитый жиром, квасом, чаем. Он выпаривает себя на солнце и думает о разных премудростях. Его рыжие глазки смотрят вниз по с'езду на синеватый кусок реки, следят, как по атласу воды снуют лодки, плывут белые пароходы, тащатся баржи.

Я и Панашкин помещаемся у ног его; мой друг ушивает какую-то рухлядь; на его сером носу большие очки. Праздник. На слободе тихо и пустынно, людишки отдыхают пред вечерним чаем. Дочь Панашкина тоненьким голоском поет:

— Люблю ять . . .

— А еры — не любишь? — спрашивает отец, покашливая.

— Отстаньте, папаша . . .

— Люблю я т-тебя бесконечно-о . . .

— Дурочка бесконечная! Ты лучше упражняйся в добродетели, а любовью себя не беспокой . . .

— Ах, да убирайтесь вы, папаша!

Дочери Панашкина уже под тридцать лет. Она желтая, рыхлая, как творог. Правый глаз у нее погашен бельмом, левый бесстыдно любопытен. Когда она спит — ее большое лицо наливается синеватой кровью, а открытый глаз похож на слепое, зловещее око совы. Лиза шьет на базар ситцевые рубахи, тиковые подштанники и мечтает о страстном романе с военным, не ниже поручика. Она тоже прочитала всего Дюма, но лучшей книгой в мире ей кажется «Новейший, самый полный песенник».

Романа у нее не было и нет, а пока ее телом пользуется Брундуков, — от скуки, а может-быть из милосердия к уродливой девице.

— Н-да, — говорит Панашкин, толкая меня в бок острым локтем, — вот тоже любовь, — сколько люди бьются около нее, да — как!

— А как? — интересуется Брундуков, раздергивая склеенные чем-то волосы седой бороды.

Небеса на западе в крови и огне. Проедет извозчик — дорожная пыль встает с земли красным облаком.

— А — вот, так, что даже до смерти!

— Это — глупость . . .

— Нисколько не глупость, но — самое обыкновенное . . . Дружок мой, парикмахер Мозжухин — в еврейку влюбился . . .

— Парикмахеры народ бессмысленный, они всегда либо картежники, либо — еще что-нибудь . . .

— Конечно, — еврейка тут не при чем, все едино — женщина, любовь с верою не считается.

— Это — плохо . . .

— Да, не хорошо вышло: утопился он . . .

— Парикмахер?

— Ну, да . . .

— Болван.

Оборвав песнь о бесконечной любви, Лиза задумчиво тянет:

— Там, где море вечно плещет
Н-на гранитные скалы . . .

И спрашивает меня:

— Максимыч, — есть какая-нибудь разница между морем и океаном?

Я отвечаю:

— В океане рыба крупней.

Я не люблю эту девицу, и мне неприятно разговаривать с нею, — ее живой глаз всегда скрывает какую-то липкую усмешку, от этой усмешки неловко, как от зазорного слова.

Панашкин скоблит ногтем свой длинный нос, расшитый красными жилками, и рассказывает, не интересуясь, слушают ли его.

— Была она вдовая, торговала в разнос чернилами да ваксой, — сама составляла . . . Лет тридцати женщина, и ничего особенного, — так себе: обыкновенная еврейка . . .

— Они все на одно лицо, — уверенно говорит Брундуков, и вдруг спрашивает сам себя: — Почему это табак курить не выучился я?

— А его звали Пантелеймон, и в ту пору было ему лет . . . двадцать пять, что ли . . .

— А ты — ври без счета.

— Да, — вздыхает Панашкин, — это верно сказано: «Топор не рубит — наточишь, баба не любит — делай, что хочешь» . . .

— Глупость . . .

— Хорошая женщина, однако. Они через меня разговор вели. Говорит она мне: «Слушайте, Митя — меня все Митей звали, — «это», — говорит, — «невозможное!» «Скажите», — говорит, — «ему, что жалею его, как брата, ну, а больше ничего не может быть!» Я ему сказал, а он в ту же ночь и утопился.

— Все это — от безделья, от воображения, — упрямо твердит Брундуков, видимо, обиженный невниманием Панашкина к нему.

Отоспавшись после праздничного отдыха и выпивки, вылезают из маленьких конурок своих слобожане-девицы и молодухи, пестрые, точно пряники; боголюбивые, злые старушки и старички. Смотрят вниз на Волгу из-под ладони заспанные речные воры, лодочники и рыбаки. В лугах — яркая заря; небо, расписанное жирными пятнами золота и багрянца, оскорбительно великолепно по сравнению с темными растрепанными людьми. Где-то, в саду, хнычет гармоника, и хриплый, но задорный голос слободской прелестницы Соньки Сапожниковой чеканит плясовую, на зло всем степенным людям.

— Позабыла я, как батюшку зовут,
Позабыла имя матушкино,
Помню только мило имячко одно —
За-абавушка Егорушко!

К лавке подходит глухой старик Монахов, распутник и ростовщик.

— Гуляешь, дедушка Василий? — орет Брундуков, а ростовщик, удивленно подняв колючие брови, спрашивает недоверчиво:

— За што — спасибо?

— Я говорю — Василий!

— О! . . Дай-кось табачку . . .

— Вот погляди на него, — говорит мне Панашкин. — Пришла к нему девчонка-подросток заклад выкупать, а он ее неистово истерзал всю. За что? Сам не может об'яснить. Язык, говорит, показала. Не понимаю злобы человечьей.

— Папаша, — тоном королевы приказывает Лиза, —возьмите в лавке бутылку кислых щей и подайте мне в окно.

— Умирает? — спрашивает лавочник старушку, похожую на крысу.

Она отвечает ему тоном ниже:

— Умирает.

— Умрет, — легче тебе станет.

— И ему, поди, легче.

— Очень просто все, — говорит Панашкин, покашливая. — Просто, как кирпич . . .

А Брундуков, провожая покупательницу, выспрашивает:

— Мишка-то — сидит?

— Сидит, пес.

— Для него — тюрьмы не жалко . . .

Темнеют сады, возвышаясь над забором густою тучей, в небе догорают красные клочья облаков; мягче звуки, тише, задумчивее жизнь. Внизу, на берегу реки тает шум дневной работы, с поля плывет осенняя грусть, наполняя сердце странными желаниями. Хочется спросить кого-то, спросить гневно:

— Зачем все это? Кто смеется над людьми, искажая их? — Хочется сгореть от какого-то невыносимого, мучительного стыда. И становится еще тяжелее, когда вспомнишь вечера у Шамова . . .

К лавке один за другим подходят слобожане, привыкшие в праздничные вечера слушать мудрость Брундукова. Против крыльца на земле растянулся слободской вор и гуляка Ровягин, добрый, всеми любимый парень. Ему лет тридцать, но он кажется юношей, — такой стройный, свежий, кудрявый; глаза у него ясные и глупые, точно у ребенка.

— В Америке, — рассказывает Брундуков, — даже машина для занятых людей есть особая — пищу жует! Там — так работают, что и есть некогда; положат в машину всякой пищи, а она — жует.

— Вот — черти! — изумляется Ровягин, покуривая щеголь скую трубку.

— А от машины везде резиновые трубки проведены, взял трубку, пососал и — готово! — сыт!

Публика смеется. Верят? Кажется, верят.

Только Ровягин спрашивает:

— Поди — не скусно?

— Там на то не глядят. Там повара по десять тысяч в год получают! Казенные повара . . .

Панашкин говорит мне вполголоса:

— Опровергни ты его, пожалуйста!

А лавочник рассказывает, точно читая невидимую книгу.

— Американский ученый Фукот даже землю взвесил, — тридцать два миллиона пуд потянула земля! Надул воздушный шар, агромадной величины, окружил землю цепями и поднял, а она качается, вроде маятника . . .

Свисток парохода заглушает голос мудреца, а мне все вспоминаются вечера у Шамова. Там люди играют знаниями, точно ловкие дети мячами. Истины там отменно хороши — такие круглые, ясные, без устрашающих фантазий Брундукова, в роде жевательной машины. Там люди — гордо, как павлины, распускают пестрые хвосты своих знаний.

А здесь они облепили крыльцо лавки, точно тараканы корку хлеба. Стоят, сидят, лежат и жадно, молча, питаются странной чепухой Брундукова, человека, который обладает чудесным свойством украшать всякую истину ослиными ушами.

— А бог в Америке называется Озарис . . .

Подталкиваемый Панашкиным, я начинаю опровергать:

— Не Озарис, а — Озирис, и это не в Америке, а — в Африке, в Египте . . .

— Чего? — иронически прищурясь, спрашивает Брундуков.

Я повторяю, он прерывает меня:

— Стой! Первое — в Египте живут ефиопы, и бога у них нет! Это — раз! Второе — Озирис, — слово без смысла, а — Озарис, — значит — сияй! Это — два! И третье — тебе рано поправлять меня, господин ни то, ни се! Ты «Ниву» читал?

— Позвольте, — говорю я, но Брундуков не терпит, когда сомневаются в его знаниях, не доверяют его мудрости, — в этих случаях он иронически прищуривает рыжие глаза и пронзая невера двумя острыми иголочками, истязует его пусторечием:

— Ты ефиопскую историю знаешь? Так я тебе скажу, что сами

ефиопы языка своего не понимают, потому что у них было несколько языков, как у магометанских татар . . .

— Всякое сословие врет по-своему, — неожиданно вставляет Панашкин, и его слова очень веселят публику.

Но я уничтожен, а Брундуков торжествует, и снова тянутся его слова:

— Египет, действительно, был, но разрушен Бонапартом.

— Так-то, — тихонько говорил Панашкин, — у всякого свое умосклонение: один бредит Америкой, другой — неизвестно чем, а каждому хочется сладенького: хоть патоки, лишь бы — все-таки!

По заходе солнца, Панашкин кашляет чаще и злее; он зябнет, кутается в поддевку, потертую на швах и украшенную заплатами.

Я спрашиваю его:

— А вы о чем мечтаете?

Он медленно распускает сухие губы в улыбку.

— Было бы у меня три пятиалтынных, пошел бы я в трактир, заказал бы рыбью селянку на сковородке, с перчиком да с лучком, а потом бы — пивка, эх!

— Больше ничего?

— А чего же еще на три-то пятиалтынных?

— Ну, а, — кроме этого, вообще, — ничего не хочется?

Подумав немного, он отвечает спокойно:

— Поздно мне хотеть, умру скоро . . . Да, брат, умру!

Я молчу. Неловко мне. И не верится, что человек, прожив больше половины столетия в разной трудной работе, много испытав, умея любить и думать, — этот добрый и кроткий человек не нажил никаких желаний, освещающих жизнь, а только вот селянки с перцем хочет . . .

В окне, точно в раме, торчит большое лицо с опаловым глазом. Лениво двигая вялыми губами, Лиза лепечет:

— Скоро месяц взойдет, — какая прекрасная ночь для прогулки в лес . . .

— А рожают они каждогодно двойни, — поучает Брундуков.

Публика расползлась; перед лавочником только Ровягин, задумчивый, как баран.

Становится темно, с востока наползает черная туча. Звезды в небе, точно шляпки медных гвоздей, — это от того, что воздух

влажен. В воде реки трепещут красные факелы, — отражения огней берега и судов.

— А, между прочим, для чего дается нам жизнь? — спрашивает Панашкин и отвечает сам себе: — Чорт знает, для чего, если подумаешь . . .

Меня занимает другой вопрос: кому нужна, кого веселит эта злая карикатура на жизнь?

— Ночуй у меня! — предлагает Панашкин.

— Спасибо, я иду гулять . . .

— Ну, валяй, иди, бродяга . . .

Молча прощаюсь с лавочником.

Готовясь запирать лавку, Брундуков стоит на крыльце, почесывая шею, и спрашивает сам себя:

— Отчего это у меня зубы давно не болят?

Вечер у Сухомяткина.

Зимою, раз в месяц, а иногда и дважды, — я получаю от купца Сухомяткина записочку такого содержания:

«Уважаемый, покорнейше прошу пожаловать завтра к нам на трехэтажное удовольствие».

Записочка остроумно подписана: «С Ухом», а росчерк изображает летящую птицу.

На другой день, вечером, я стою на одной из солидных улиц города, у крыльца большого особняка, обильно украшенного гипсовой лепкой; под мышкой у меня узелок с чистым бельем. Тяжелую дубовую дверь отворяет горничная, раскормленная, как лошадь.

— Пожалуйте, — говорит она, приподнимая любезной улыбкой румяные щеки так высоко, что ее глаза совершенно скрываются в румяных подушечках жира.

В прихожей меня встречает хозяйка Екатерина Герасимовна, пышнотелая, ласковая, с огромной косой, сложенной на голове в четыре яруса.

— Пожалуйте! — радостно поет она. — Очень рада, пожалуйте!

И заботливо спрашивает:

— Белье не забыли? Нюта, скажи Егору, чтоб снес белье в предбанник!

Выкатывается сам Сухомяткин, сияющий и как бы маринованный в добродушии; подскакивая на коротких упругих ножках, он потрясает своими округлостями и кричит:

— Пож-жалуйте, дорогой! Вот — спасибо! Просветитель наш, Кирилл-Мефодий! Как здоровье?

На щеках у него светленькие бачки, голова похожа на глиняный горшок с двумя ручками. Входим в гостиную, — она похожа

на мебельный магазин среднего качества; в ней тесно, много жирного блеска золота, много зеркал, все очень новое, грузное, и от всех вещей исходит нежилой запах.

В гостиной меня встречает Матвей Иванович Лохов, кум хозяина, человек небольшого роста, стройный, горбоносый, с французской бородкой и задумчивыми глазами. Он — председатель местного биржевого комитета, но осанкой и манерами напоминает благовоспитанного жулика из Варшавы.

— Бонсуар, — говорит он приятным баском. — Коман ву порте ву? Тре бьен! Же осси . . .

И быстро шевеля пальцами, обращается к хозяину:

— Продолжаю про осетра: эта рыба шуток не любит . . .

Я здороваюсь с его женой Зиночкой, дамой среднего веса, в рыженьких кудрях, бойкой и синеокой.

— Вы слышали? — спрашивает она. — Поехала я сегодня новых лошадей пробовать, а они вдруг и понесли . . .

Хозяин шутит:

— Тебе бы самой понести пора!

— То-есть, как это? — невинно спрашивает она.

— Н-ну, будто не понимаешь . . .

— Алор, — говорит Лохов, — Нузаллон?

Сухомяткин кричит жене:

— Катюк — готово?

Хозяйка тревожно взывает:

— Анна — готово?

— Кума, — предлагает хозяин Зиночке, — айда с нами!

Но она отвечает с необоримой невинностью:

— Да ведь я же с Катей мылась!

Сухомяткин неистово хохочет, всхлипывая и крича:

— Ну и — актриса! Ф-фу-ты . . .

Мы, трое мужчин, идем в кухню. Там у раскаленной плиты тяжело возится огромная старуха с седыми усами. Она рычит, размахивая шумовкой над головою мальчишки, одетого в саван со взрослого покойника. Мальчишка плачет.

— Это внук ее! — об'ясняет хозяин. — Гляди, Ефимовна, не перевари!

— Ну, что это вы, о, Господи! — глухим басом тревожно отзывается старуха и трижды плюет к порогу:

— Тьфу, тьфу, тьфу!

— Марфа Посадница в своем деле !— говорит хозяин, идя по двору. — В Нижний на ярмарку приглашали ее за триста рублей, — не пошла!

Вот мы в бане, освещенной двумя запотевшими фонарями, в горячем облаке пара, насыщенного запахом мяты. По липовому полу ходит на четвереньках волосатый, докрасна распаренный кучер Панфил и задыхаясь бормочет:

— Святы Боже, святы крепки . . .

Сухомяткин шлепается на пол, испуганно вытаращив глаза, дергая себя за уши и орет плачевно:

— Что же ты, чортова голова, уморить меня хочешь? Ишь, до чего накалил, дурак, — сам лягушкой пошел . . .

— Же при . . . прие . . . — глухо бормочет Лохов, задыхаясь. — Это я просил . . .

— Это они приказали, — говорит кучер неожиданно тонким голоском. — А я — крест ищу . . .

Лохов, вытянув руки, как слепой, идет к полку, а кум его катается по полу и визжит:

— Уй-юй-юй . . . Задохнешься, Матвей!

— Р-рьен! Панфил, — поддай квасом!

— Да погоди, дай придышаться.

— Рьен! — орет с полка председатель биржевого комитета и барабанит кулаками по липовым доскам.

Зверовидный Панфил плеснул на каменку ковш квасу, — из черного зева вырвалась палящая струя, белое облако пара окутало потолок, баня наполнилась спиртным запахом горячего хлеба.

— Изверг! — визжит Сухомяткин, растягиваясь на полу.

Кучер, присев на корточки, ухает, точно филин, а с полка раздается сладостный возглас:

— Ж'адор!

Но тотчас же Лохов громко зашипел и скатился на пол, широко открыв рот, испуганно вытаращив глаза.

— Что — задохся? — кричит его кум и колотит кулаками по спине Лохова.

— Мы — отроки в пещи огненной, — радостно сообщает он мне.

Лохов смотрит на него безумным взглядом, бормочет:

— Снегу . . . скорее! . .

Кучер исчезает в предбаннике, потом является с большим тазом снега. — Лохов хватает горстями снег и яростно трет свою лысоватую голову, мускулистую грудь.

Он точно пьяный. Сухомяткин тоже ослабел, размяк и тает, поглаживая коротенькими ручками свое багровое мясо, исписанное на груди тонкими черточками волос, покрытое жемчужинами пота.

— Сердце я себе ожег, — говорит Лохов, постепенно приходя в себя.

Панфил сбивает в шайках душистое мыло, я влезаю на полок, а купцы, растянувшись на лавках, начинают философский разговор.

— Чего я не понимаю, — так это стыда! — Например: при одной женщине можно ходить голым, а отчего же при трех — стыдно?

Кучер фыркает в шайку, разбрызгивая мыльную пену, а Лохов солидно замечает:

— Татары да турки, наверное, и при трех не стесняются . . .

И приятным баском напевает:

— Сюр вотр жюп бланш
Брилье ля ганш . . .

Они оба «придышались» и чувствуют себя так, словно рождены в этой адовой жаре. Сухомяткин, весь в мыльной пене, похож на цыпленка. Лохов неутомимо двигает пальцами, отжимая свою бородку. Пар разошелся, в бане светлее, потолок густо украшен опаловыми каплями влаги. Мигают заплаканные фонари, потрескивает булыжник в каменке.

— Жизнь, как бабу, обмануть надо, надобно уметь зубы заговорить ей, — поучает хозяин кучера. — Ты сколько девиц обманул?

— Х-хы, — хрипит Панфил, растирая ему мягкую грудь.

А Лохов ведет умную беседу со мной.

— Неправильность, какую я вижу в газете вашей, та, что вы делаете из нее окружной суд, — внушает он мне. — Вы все — судите, а это — лишнее! Как церква должна поучать нас, так газета обязана рассказывать нам обо всем, что и где случилось. А судить — не дело попов, того меньше — газетчиков.

— Верно, — скрепил Сухомяткин речь кума.

Тот продолжает, но уже не внушительно, а — с обидой:

— Газета для удовольствия жителей, а не для скандала. Утром сядешь чай пить, лежит она тут же, на столе, а ты не решаешься в руки взять ее, — в ней, может-быть, такое про тебя сказано, что она тебе весь день испортит. А деловой человек нуждается в душевном спокойствии.

Я молчу. Этот человек имеет основания жаловаться: о нем пишут часто, но хорошо — никогда!

Стекла окна дымятся белым дымом. Липовая баня — точно восковая, тает.

— Я готов! — возглашает Сухомяткин. — Теперь — париться!

Он весь в мыле, как в страусовых перьях, лезет на полок, кучер снова поддает в каменку квасом, Сухомяткин визжит, а Лохов мрачно поощряет кучера:

— Жарь его! Пеки! Дьябль ан порт а люн . . .

— Не ломайся в бане! — строго кричит ему кум. — Чертей в бане не поминают!

Наконец, — вымылись, разваренные одеваемся, не торопясь, отдыхая от пережитых потрясений.

— Н-ну, теперь — поедим! — возвещает Сухомяткин, расправляя влажные бачки на кумачных округлых щеках.

В столовой, хорошо освещенной огнями люстры, огромный стол тесно завален хрусталем, серебром и тарелками разноцветных закусок, — это похоже на буфет вокзала. В центре стола — четвертная бутыль желтоватой водки, настой на сорока травах.

Дамы переоделись в какие-то очень свободные платья, точно капоты, Зиночка — в оранжевом с зелеными лентами, хозяйка — в мантии цвета бордо. Они уже сидят за столом и встречают нас радостными улыбками, поздравлениями.

— С легким паром!

— Катюк, — озабоченно говорит хозяин, подкатываясь к столу, — ты смотри, чтоб Ефимовна сама подала!

И об'ясняет мне:

— Когда повариха сама на стол подает — пельмени вкуснее!

Зиночка налила пять больших рюмок золотой водки.

Выпили, закусив ядовитой редькой со сметаной и горчицей, — торжественно вошла повариха с огромной кастрюлей в руках.

— Во-от они! — сладко щурясь, поет Сухомяткин, спешно подвязывая салфетку. — Сколько, Ефимовна?

— Шесть сотен с половиной, — басом говорит старуха, отирая усы ладонью.

— Благословясь, — приступим!

Они, все четверо, истово крестятся в угол, усаживаются за стол, и начинается пир.

Хозяева едят молча, пристально глядя в тарелки и как бы духовно купаясь в жирном, вкусном бульоне, но иногда Сухомяткин, не в силах сдержат восторга плоти, томно стонет. Его круглое лицо радостно растрогано, кажется, что он сейчас заплачет от умиления. Хозяйка ест, нахмурив брови, серьезно, как-будто решая сложную задачу, но в глазах ее горит огонек уверенности, что задача будет решена. Ее доброе, миловидное лицо покрыто мелким потом, она поспешно отирает его батистовым, в кружевах, платочком.

Лохов не жует пельмени, а глотает их, как устрицы, ожигается и глухо мычит.

— Еще десяточек, Катя, — часто просит он.

— Который? — завистливо осведомляется хозяин.

— Пятый. Налей, Зинаида!

Зиночка, жеманно оттопырив мизинец, выковыривает вилкой шарики мяса из теста и болтает:

— Самое вкусненькое — всегда в серединке!

Обращается к мужу:

— Тебе подло жить?

Сухомяткин хохочет, наливая водку в рюмки, трясется, льет на скатерть и задыхаясь восхищается:

— Ах, кума, ну, и язычек у тебя!

Тогда рыжая женщина спокойно говорит нечто такое, от чего даже ее солидный муж начинает смеяться сухим, икающим смехом, а хозяин, бросив ложку, багрово надувшись от восторга, качается вместе со стулом.

— Упадешь, хохотун, — предупреждает его жена.

Тоже немного посмеявшись, она стерла смех с лица платочком и снова деловито склонилась над тарелкой, сказав:

— Бесстыдница ты, Зинка! Да еще при чужом человеке . . .

— Тю парль, ком кошон, — вдруг становясь серьезным, говорит Лохов жене.

Она косится на него бойким глазом и тихонько поет:

— Скажу тебе словечко —
Погаснет свечка!

И снова все чавкают, сосут, схлебывают, утопая в наслаждении. Водки в четвертной бутылке осталось немного, а хозяйка снова наливает рюмки.

Лохов, опьяневший от еды и водки, обращается ко мне, тщетно пытаясь сделать внушительным осоловелое лицо:

— Жена у меня — казачка, из Уральска взята. Казацкая кровь веселая, густая . . .

Зиночка напилась. Она сидит, откинувшись на спинку стула, жмурится, возведя глаза на огни люстры, и, сложив губы сердечком, пытается свистеть. Это не выходит у нее.

— Ассе, — говорит ей муж, вставая из-за стола.

Хозяйка тоже сильно под хмельком. Она стала развязнее, беспричинно смеется и все ищет чего-то глазами по углам пустынной столовой.

— Еще немножко, — предлагает она.

Все отказываются, а Зиночка превращает мерси в русский глагол, но это никого уже не смешит — все устали.

— Ну, Петр, — пошатываясь, говорит Лохов, — идем, нам пора!

Они уходят, взяв друг друга под руки, я остаюсь с дамами.

— Дети, — ласково говорит хозяйка, провожая их смеющимися глазами.

Потом она интересуется, почему я не женат, а Зиночка, покачиваясь на стуле, мурлычет:

— В шестом этаже
Мой друг живет,
Ах, я все та-же,
Но он — не тот!

— Послушайте, — обращается она ко мне, — вы знаете какие-нибудь стихи . . . этакие, с перцем!

— Зинка! — предупреждает ее хозяйка. — Ты с ума сходишь!

Я не знаю стихов с перцем.

Рыженькая женщина встряхивает кудрями, щелкает пальцами и снова поет:

— Стал вроде мужа
Ленив и вял,
Меня все ту — же . . .

И, оборвав песенку, снова спрашивает меня:

— Послушайте, почему вы не напишете какой-нибудь смешной рассказ . . . .

— О чем же?

— Ну, — вообще смешной. О том, как жена изменяет мужу или что-нибудь такое. А вы знаете стихи о Ное?

— Нет.

В двери встала горничная и улыбаясь возвестила:

— Петр Иваныч велели сказать, что все готово, и можно пожаловать к ним . . .

— Пожалуйте! — пригласила меня хозяйка, плывя к двери.

Зиночка, обняв ее за талию, спрашивает:

— Почему мне делается скучно, когда я выпью?

В большой, ярко освещенной комнате, у стола, покрытого черным сукном, стоят Лохов и Сухомяткин, оба во фраках, с цилиндрами в руках. На столе перед ними какие-то коробки, вазы. Темное лицо Лохова серьезно, как лицо человека, который приготовился к чему-то очень важному. Сухомяткин дремотно улыбается, прищурив веселые глазки.

Дамы садятся в кресла у стены, я — рядом с ними. Председатель биржевого комитета церемонно кланяется нам и говорит:

— Почтэний публикум! Ми есть два маги з Индия и Америке, ми имеем показувать вам несколькии чудесни явлений.

— Дурачок, — шепчет Зиночка своей соседке.

Муж ее напряженно ломает слова, это плохо удается ему, и когда он произнесет слово правильно, — та сердится и притопывает ногами.

— Мое имя . . . наш имья — Гарри; мой друг зовут . . . звуть . . . Джемес!

Джемс-Сухомяткин пошевелился и вдруг — икнул. Это очень рассмешило его, он закрыл лицо локтем и стал фыркать, Гарри-Лохов неодобрительно покосился на него, взял со стола черную магическую палочку, взмахнул ею и крикнул:

— Ан, райс!

— Вайс! — ответил кум-Джемс.

В руке Лохова явился серебряный рубль, — он схватил его

где-то в воздухе и торжественно показал нам. Затем, он вытащил рубль из носа Сухомяткина, другой снял с его лысой макушки и быстро, бросая монеты в цилиндр, стоявший на столе, стал ловко хватать их из воздуха, из своей бородки, из уха кума, снимал с колена своего, а один рубль даже выковырял из своего глаза.

— Сегодня ты ловко делаешь, — сказала ему Зиночка, но он строго крикнул ей:

— Силянс! Просю публикум — нет разговор!

Джемс, расставляя по столу какие-то странные предметы, показал Зиночке язык.

Кончив фокус с монетами, Гарри-Лохов заставил исчезать со стола разные вещи, — они тотчас являлись там, где нельзя было ожидать их. Он очень увлекался, работал, как настоящий артист, и все покрикивал куму командные слова:

— Ан, вайс! Дайс ваз! Райс! Живее!

Стена сзади фокусников была заставлена какими-то мрачными шкафами, Сухомяткин отворил дверцу одного из них, — в нем, на полке, торчала отрубленная голова с черными усами и смешно фарфоровым глазом смотрела прямо на меня. Лицо Лохова было неприятно поражено, кожа на скулах туго натянута, — он, видимо, крепко стиснул зубы. Его подбородок выдался вперед, французская бородка казалась жесткой, точно из проволоки. Но каждый раз, когда он удачно заканчивал фокус, лицо его расплывалось в улыбку, и недоверчивые, холодные глаза блестели радостно, точно глаза ребенка.

Я никогда не видал человека, который обманывал бы сам себя с таким увлечением, с таким удовольствием. Джемс-Сухомяткин только снисходительно принимал участие в забавной игре, а Гарри-Лохов трепетно творил чудеса. Это было ясно.

Иногда фокусы не удавались ему — добывая из кармана фрака блюдце, наполненное водою, он преждевременно сорвал с него гуттаперчевую пленку и вынул блюдце пустым, а вода осталась в кармане. На минуту он растерялся и, следя одним глазом, как стекает вода на пол, сердито крикнул:

— Первому отделению конец!

Снял фрак, заглянув в карман, качая головой, потом об'яснил публике:

— У ремесленников фокусников, которые работают в бала-

ганах, — карманы непромокаемые. Кум, позови горничную, пусть высушит фрак, да — не испортила бы!

Вздохнув, он добавил:

— А я — пиджак надену.

Второе отделение началось с того, что кругленький Сухомяткин вошел в пустой шкаф, Лохов закрыл шкаф черным занавесом, крикнул:

— Раймс! Эйн, цвей, дрей! — и отдернул занавес, — шкаф был пуст, Сухомяткин исчез.

— Вот уж это я не люблю, — сказала мне хозяйка, зябко поводя плечами. — И знаю, что фокус, а все-таки боязно.

Занавес снова задернут, открыт.

— Вайс!

И снова в шкафу стоит улыбаясь Джемс-Сухомяткин.

Потом Гарри прикрутил его веревкой к стулу, закрыл ширмой, а Джемс в минуту освободился от пут и даже успел снять ботинки со своих ног.

Потом я почувствовал, что мне скучно и как-то особенно неловко. Хотя проходившее предо мной было не страшно и даже не очень неприятно, а, однако, напоминало кошмар. Дамы тоже устали, хозяйка осторожно дремала и, взмахивая тяжелой головою, виновато улыбаясь, а Зиночка откровенно позевывала и все пыталась засвистеть.

Сухомяткин тоже, видимо, устал, его белесые бачки обиженно оттопырились, он двигался лениво, не глядя на публику и товарища, а Лохов, вспотевший, увлеченный, магически изменял цвета платков и все прикрикивал:

— Эн, цвей, дрей, — котово!

Вдруг он замолчал на минуту и, укоризненно глядя на публику, спросил:

— Ты, что же, кума, спишь?

Мне стало жалко его.

Зиночка засмеялась, Сухомяткин начал шутливо издеваться над женой, а непонятый, обиженный артист, спрятав руки за спину, быстрыми шагами ходил по комнате и говорил:

— Забава для меня — дело серьезное, а не пустяки. Нельзя же все только есть, да чаи распивать . . .

— Я понимаю, Матвей Иванович, — жалобно вставила сконфуженная хозяйка, но он не слушал ее:

— Забава — это для того, чтобы забыться от забот! Вы, женщины, конечно, не можете понять . . . Зинаида, идем домой.

— Погоди, кум! Сейчас чай будет . . .

— Пора!

— Да не сердитесь вы . . .

— Домой рано еще, — сказала Зиночка.

— Рано? — крикнул Лохов. — Тогда я один уйду . . .

Он вел себя совсем, как обиженное дитя: мне казалось, что еще немного, и этот человек может заплакать. Но все-таки удалось успокоить его, и, не скрывая своей обиды, Лохов остался.

Перешли в столовую, там уже бурлил большой серебряный самовар, окуривая люстру струей пара, раскачивая хрустальные подвески.

Лохов сидел рядом со мною, рассказывая:

— Мне эта забава свыше десяти тысяч обошлась! — У нас есть редкие аппараты, из Гамбурга выписаны. Я очень слежу за новостями в этом деле.

Он тяжко вздохнул и покосился на кума, который, прислонясь к Зиночке, нашептывал ей что-то.

— Над нами смеются, то есть — больше надо мной! Дескать, — фокусник. Очень хорошо, пожалуйста . . .

— Налить еще стаканчик? — спросила его хозяйка.

— Да, пожалуйста! Благодарю за внимание ваше, — сказал Лохов, обиженно усмехаясь и так, что нельзя было понять — хозяйке или мне говорит он.

— Все люди фокусничают и весьма многие — вредно. А мы с кумом, — безвредные! Мы, так скажу, меценаты для себя . . .

— Не люблю это слово, точно бесеняты, — вновь вставила хозяйка, подвигая Лохову стакан.

Он принял чай, не поблагодарив ее, продолжал:

— Иные занимаются петушиным боем, собачьей травлей или, например, содержат газеты, как ваш хозяин; некоторые стараются выказать себя с лучшей стороны, по филантропической части, чтобы получить орден, а я люблю благородную забаву, хотя она и обман.

Он говорит непрерывно, нудно, с явной обидой в голосе, и все шевелит пальцами.

Хозяйка перестала обращать на него внимание. Она с мужем

слушают шопот Зиночки, и оба, красные от смеха, фыркают, не в силах сдержать его.

— Жизнь никому не в радость — зудит Гарри-Лохов, барабаня пальцами по моему локтю. — Жизнь требует воображения. Находясь в церкви, воображаешь себя первым грешником, может быть, самым поганым человеком, и это — приятно для души. Это — обжигает нас. В театре воображаешь себя играющим влюбленного злодея или вообще героем. Но — каждый день в театр или в церковь не пойдешь, и остается жизнь, нуждающаяся . . . так скажу, в пополнении.

Он закручивает свою бородку винтом и на минуту умолкает, прищурив глаза.

Я встаю, прощаюсь и ухожу . . . На улице лунно и морозно, под ногами сухо скрипит снег, испачканный тенями больших купеческих домов.

Иду и грустно думаю о русском человеке, — артистически умеет играть роль несчастного, этот человек!

Светло-серое с голубым.

Сухой, холодный день осени. По двору тоскливо мечется пыльный ветер, летают крупные перья, прыгает ком белой бумаги; воздух наполнен шорохом и свистом, а под окном моей комнаты торчит нищий и равнодушно тянет:

— Господи, Иисусе Христе, Сына Божию, поми-илуй нас...

Лицо у него заржавело, стерто, с'едено язвой, голый череп в грязных струпьях; он очень под стать и грязному двору, и больному дню.

Ветер треплет его лохмотья, вздувает пазуху, бьет его пылью по ржавой щеке, по уху. Нищий мотает головою и гнусаво выводит, с упорством шарманки, унылый мотив:

— Благодетели и кормилицы, милостынку, Христа ради, подайте...

— Пошел к чорту! — кричит из окна моя соседка, девица веселой жизни, маленькая, с подведенными глазами и румянцем от ушей до зубов.

Нищий что-то урчит, ветер относит его слова, но я слышу медный звон большой монеты, упавшей на камень двора, и сердитый голос девицы:

— На, подавись, подлец!..

Странно, — в голосе ее звучит обида, хотя обижает сама она. Я живу рядом с нею третьи сутки и уже дважды слышал, как эта веселая девушка днем поет трогательные песни, а по ночам плачет пьяными слезами.

Сегодня она пришла домой на рассвете и тотчас разбудила меня возней, хриплыми рыданиями.

— Эй, сударыня! — крикнул я в щель переборки между нею и мной. — Вы мне мешаете спать...

Помолчав с минуту, она снова стала всхлипывать и трубить носом, толкая в переборку локтями и пятками, а потом начала ругать меня, тщательно выбирая самые неудобные слова.

— За что? — спросил я.

Она убежденно ответила:

— Вы все — собаки!

Но, удовлетворив себя этим, позвала меня:

— Иди ко мне!

Я не успел поблагодарить ее за любезность, ибо она тотчас же добавила:

— Нет, не ходи, не надо, а то поутру Мишка придет, так он и тебе и мне . . .

— Это кто — Мишка?

— Мой кредитный. Тоже сыщик.

— А почему тоже?

— Да ты — кто?

— Газетчик, писатель . . .

— Письмоводитель? Тоже, поди-ка из полиции . . .

После этого она уснула, а утром, проснувшись, долго вздыхала, потом, безуспешно училась свистать, что-то грызла — сахар или сухарь, — наконец постучала в стену:

— Сосед!

— Доброе утро . . .

— Чего-о?

— С добрым утром, говорю . . .

Она фыркнула:

— Скажите, пожалуйста, какой вежливый! . . У вас нет . . . ваксы?

— Нет.

— Ну, не надо . . . Ах, Господи!

— Что вы?

— Скучно. Вас как зовут?

— Иегудиил.

— Вы разве жид?

— Нет, русский . . .

— Ну, значит, врете . . .

Поговорив в этом тоне еще несколько минут, она снова захрапела, точно ее схватили за горло, и проснулась уже незадолго

до появления нищего . . . Проснулась и, вскочив с постели запела веселым голосом:

— Самара, ты — город богатый,
А я, между тем, сирота.
Самара, тобою, проклятой,
Разбита о счастье мечта . . .

Было интересно: почему она, подав милостыню, обругала нищего? Я спросил ее об этом сквозь переборку, — она ответила, подумав:

— Захотела, вот и обругала! А что еще?

Ветер за окном бесится все яростнее, катает по двору соломенный чехол с бутылки, перебрасывает по камням нитяный носок, гоняет почтовый конверт, солит пылью стекла окна. Над окном, на карнизе уныло воркует голубь; раздражая, трещит какая-то щепочка; кажется, что сердце умирает под мелкой, холодной пылью.

Стена против окошка скупо оштукатурена грязноватой известью; кое-где известь отвалилась, обнажив красный кирпич. Небо над крышей тоже небрежно оштукатурено сероватыми облаками, между ними — глубокие синие ямы, и оттуда льется в душу тоска.

— Сосед, — кричат из-за переборки, — идите чай пить!

— Благодарю вас, иду . . .

Комната — меньше моей, и хозяйка ее — наполовину меньше меня. Но она — бойчее гостя, смотрит на него смело; глаза у нее, действительно, веселые, голубенькие, а рожица, с которой она чисто смыла румяна и прочие краски, — миленькая, чистая, только очень бледная.

— Какой у вас смешной нос! — говорит она, присматриваясь ко мне.

Молчу, улыбаясь, и не нахожу ответа, потом догадываюсь: сама она — курносая и, должно быть, завидует мне.

Одета она ослепительно: на ней красная кофточка, зеленый галстук с рыжими подковами, юбка цвета бордо; это великолепие увенчано серебряным кавказским поясом, а над ушами, на гладких волосах — бантики оранжевого цвета.

— Садитесь, пожалуйста, — говорит она солидно. — В накладку пьете или в прикуску?

— Все равно.

Она поучительно замечает:

— Кабы было все равно, так бы люди не женились!

В окна стучит пыль.

Беседуем.

— Вы — сердитая?

— Я-то? Как придется. А что?

— Да вот — нищий!.. Интересно знать: за какую вину вы его обругали? Милостыню подали, а обругали...

Ее полудетское, простенькое лицо искажается сердитой брезгливой гримасой; девушка смотрит на меня в упор, — брови ее дрожат, и она говорит звенящим голосом:

— Его бы надо кирпичом по башке, — вот как!

— За что?

— За то!

— А все-таки?

Стукнув рукою по столу, она сердито говорит:

— Не приставайте! Это даже невежливо — прийти в гости и приставать! Я вас вовсе не знаю, а вы спрашиваете — про что не надо...

С минуту она молчит, а я очень смущен и желал бы уйти из этого чулана, но хозяйка его, заметив мое смущение, примирительно улыбается:

— Ага, испугался... Нет, ей-богу же... Спрашиваете вы, а это вовсе и не интересно мне. Я его видеть не могу, жулика! Он ведь тот самый подлец, который сосватал меня одному, тут, судье... Мне тогда еще пятнадцати не было... без четырех месяцев пятнадцать лет, а он уж... Разве это хорошо? А еще товарищ папашин, вместе лакеями служили, в одной гостинице. Хорошо, что папаша помер, ничего не зная, а то бы убил он меня. Мамаша белье стирала на гостиницу, а я носила... Ну, конечно, — девчонка! Пригласили меня в номер, напоили, — ничего не помню! Проснулась — Господи! — как раздавленная! Все этот виноват: он устраивал... «Двадцать пять рублей, — говорит, — дадут тебе, жить весело будешь». Видеть не могу его, — честное слово! А он — хоть бы что! Ходит ко мне, просит: будто хорошо сделал, а я должна всегда его благодарить. Удивительно даже — какое бесстыдство в человеке! Раньше, когда я у судьи на содержании жила, так этот ко мне каждый день почти шлялся: то рубль дай ему, то полтинник. В карты играет,

жулябия несчастная, даже в тюрьму сажали за карты, в тюрьме он и захворал, подлый. Я, бывало, говорю ему: «Ах, ты, бесстыдный злодей, что ты ко мне ходишь? Ведь это через тебя я несчастна и даже совсем погибшая!» А он — ничего! «Полнока, — говорит, — Таня, не сердись, мало ли, кто в чем виноват, — всех не накажешь!» Подумаю я, а ведь и верно: разве всех накажешь, которые виноваты? Ну, и завью горе веревочкой . . .

Виновато улыбаясь, она смотрит в лицо мне; потом как-то вдруг из ее светлых глаз выкатываются частые, мелкие слезинки, и, продолжая улыбаться, она говорит сконфуженно:

— Вот видите! Вогнали меня в слезы . . . Давайте лучше о другом о чем-нибудь поговорим . . .

Беседуем о другом. Свистит ветер, бросая в стекла окна пыль. Спрятав руки в карманы, сжимая кулаки, я думаю:

«Всех не накажешь, чорт вас возьми! Ловко устроено — не накажешь» . . .

А девушка мечтательно говорит:

— Красный цвет не к лицу мне, я знаю, а вот светло-серый или бы голубенький . . .

Книга.

В парке, у стены маленькой старой дачи, среди сора, выметенного из комнат, я увидел растрепанную книгу; видимо, она лежала тут давно, под дождями осени, под снегом зимы, прикрытая рыжей хвоей и жухлым прошлогодним листом. Теперь, когда весеннее солнце высушило ее страницы, склеенные грязью, уже нельзя было прочитать, о чем говорят поблекшие линии букв.

Я пошевелил ее носком сапога и пошел дальше, думая о том, что, может-быть, это — хорошая, сердечно написанная книга, и не мало людей, читая ее, волновались, спорили, учились думать; может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью и многих, в холодные часы одиночества, согрела своим теплом.

Мне вспомнилось, каким добрым другом была для меня книга во дни отрочества и юности, и особенно ярко встала в памяти жизнь на маленькой железнодорожной станции между Волгой и Доном.

Станция стояла в степи, скудно покрытой серыми былинками, в пустоте и тишине, нарушаемой зимою унылым пением снежных вьюг. Летом на станции ныли комары, в рыжей степи насмешливо и тихо свистели суслики, в небе, мутном от зноя, молча кружились коршуны и белые луни.

Бывало, смотришь с перрона в степь: над пустою землей, в свинцовой дали струится марево, на бугорках, около своих нор, стоят суслики, приложив к остреньким мордочкам ловкие передние лапки, точно молятся. А больше никого нет, — дышишь пустотою, и сердце жалобно сжимается от скуки.

Лишь изредка мохнатые чабаны, похожие на святых отшельников с картин, проведут с юга на север отару овец, и в тишине степной взвиваются их странные крики:

— Р-ря-о! Р-ря-у . . .

Подует ветер, осыплет станцию мелким горячим песком, принесет печальное клохтанье дрофы, свист грызунов, — и снова тихо, и жизнь кажется бесконечным сном.

Где-то, в степных балках, прятались казачьи хутора; позади станции, верст за пять, к Волге, прикурнула на неплодной земле деревня — Пески; оттуда к нам зимою приходили бойкие девицы очищать от снега станционные пути, а по ночам на станцию являлись их братья и отцы воровать щиты на топливо и товар из вагонов.

Особенно тяжко жилось в жаркие летние ночи; в тесных комнатах — нечем дышать, духота и комары не позволяют уснуть; все население станции вылезало на перрон и неприкаянно шлялось повсюду, заводя от скуки ссоры, раздражая дежурных воющими зевками, жалобами на бессонницу и нездоровье, нелепыми вопросами. По двору, точно лунатики, ходят женщины в белых одеждах, босые, с растрепанными волосами; курится костер, прикрытый сырым тальником; в безветренные ночи дым костра встает к небу серым столбом, не отгоняя комаров, — они родятся в мертвых заводях Волги и тучами летят сюда, в сухую степь, на муку людям и на свою гибель.

В глухой тишине, далеко где-то и точно под землею, рождается тяжелый шорох, растет, окутывает станцию железным гулом; поют рельсы, трясутся лампы; кто-нибудь дремотно говорит:

— Тринадцатый идет . . .

На краю степи, в черную кожу тьмы вонзился красный луч, ранил ночь, и по земле растекается влажное пятно света, напоминая кровь. Медленно приближаясь, луч двоится, и вот он стал похож на чьи-то желтые жуткие глаза, они дрожат в гневном возбуждении, — к трем домикам станции ползет из глубины ночи некое злое чудовище, угрожая гибелью. Знаешь, что это — товарный поезд, но хочется представить себе другое, хотя бы страшное, но другое.

Пассажирские поезда, пробегая мимо станции, только усиливают впечатление неподвижности жизни, углубляют сознание отрезанности от нее. Остановится поезд на минуту, — из окон вагонов, как портреты из рам, смотрят на тебя какие-то люди; вспыхивают, точно искры в темноте, загадочные глаза женщин, трогая сердце теплыми лучами мимолетных улыбок.

Сердитый свисток — и в облаке пара поезд скользит дальше, лица людей в окнах вагонов странно искажаются, вытягиваясь в бок, все в одну сторону.

К этому мельканию жизни быстро привыкаешь; мимо тебя ежедневно проезжают одни и те же машинисты, кочегары, кондуктора; кажется, что и люди всегда одни и те же, — они стали неразличимы, точно комары.

На станции служило одиннадцать человек, четверо семейных. Все жили точно под стеклянным колпаком, о каждом было известно все, чего не нужно знать о человеке, и каждый знал обо всех остальных все, что хотел и не хотел знать. Все ходили друг перед другом словно голые; человек при первом удобном случае публично выворачивался на изнанку, понуждаемый скукой к нечистоплотным откровенностям и покаяниям.

Играли в карты, страшно пили водку, порою, обезумев от пьянства и тоски, поражали друг друга дикими выходками.

Однажды вечером сторож Крамаренко, молодой, красивый мужик, подошел под окно квартиры смазчика Егоршина, лысенького и богомольного старика, женатого на сироте-казачке, женщине большой и молчаливой, — подошел, разделся донага и стал орать в окно:

— Егоршин, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть жена твоя видит: который лучше!

Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковш кипятку; он завыл и убежал в степь, а Егоршин начал бить жену гаечным ключом. Люди отняли женщину, хотели отправить ее в город, в больницу, но казачка отказалась.

— Не надо, сама виновата, зачем ласково смотрела на него, — говорила она, лежа на дворе, обмотанная кровавыми тряпками, широко открыв синие глаза и облизывая губы маленьким языком.

И дважды спросила тихонько:

— Больно я его обварила?

— Ой, бесстыжая, — шептались женщины и девицы.

Егоршин заперся в квартире и молился, стоя на коленях в луже мыльной воды. Люди смотрели на него в окно и ругали старика.

Утром, на другой день, Крамаренко взял расчет и пешком ушел со станции куда-то к Дону; шел он вдоль линии дороги

странно-прямо, высоко подняв голову, как солдат на параде.

А через несколько дней и Егоршин перевелся на другую станцию.

— Это, брат, не поможет тебе, — сказал ему Колтунов, помощник начальника станции, прощаясь с ним. — Тебе в землю надобно переводиться; от горя никуда, кроме как в землю! . .

Это был странный человек, — Петр Игнатьевич Колтунов. Всегда полупьяненький, болтливый, он, должно быть, имел какие-то свои догадки о жизни, но выражал их неясно, и даже казалось, что он не хочет быть понятым.

Сухонький, тощий, он постоянно встряхивал вихрастой, рыжей головой и, прикрывая серые глаза золотистыми ресницами, спрашивал нас — меня, весовщика станции, и товарища моего, телеграфиста Юдина, горбатого и злого:

— Какому Богу служите, ребята, а? Потеха!

Или вопрошал сам себя:

— Разве я для того родился, чтобы меня комары ели?

Мы, я и телеграфист, часто и горячо говорили о будущем, он смеялся над нами:

— Потеха! Вы спросите меня: что будет через десять лет, в сей день и час? Я вам верно скажу: то же самое! А через двадцать пять? И тогда — то же самое . . .

Когда я с Юдиным начали читать Спенсера, он, послушав, спросил:

— Англичанин?

— Да.

— Ну, значит, врет! Англичанин правду никогда не скажет.

И не стал слушать Спенсера.

Иногда Колтунова одолевали припадки нелепого упрямства: он крутил пальцами обгрызанные усы и тоненьким, нервным голосом настойчиво старался убедить нас, что «Пан Твардовский» написан лучше «Фауста», а Тургенев — барышничал лошадьми. Или кричал, высоко взмахивая правой рукою:

— Все наши писатели — не русские: Пушкин — сын араба, Жуковский — турчанки, Лермонтов — англичанин! А которые русские, так они все — незаконнорожденные . . .

Он был сын священника из Тургайской области, учился в Тамбовской семинарии.

— Выучился водку пить, — пошел в университет, в Казань, — рассказывал он, и его серые глаза уныло зеленели. — В нетрезвом состоянии души надел профессорову шубу, шапку и пропил сию арматуру. Потеха! Ну, мне предложили освободить университет. Ушел, лет пять присмаривался к разным делам и незаметно очутился женат. С того времени — стоп машина!

Жена ушла от него; он жил с дочерью, шестилетней рыженькой девочкой, спокойной и серьезной, как взрослый человек. Ее бледное, неподвижное личико словно пряталось в золоте кудрей, темные глазки смотрели на все сосредоточенно, улыбалась она редко. Все население станции любило ее какою-то особенной любовью, боязливой и осторожной; мужчины при ней тише ругались, женщины ставили ее в пример своим детям.

— Смотри, вон какая Верочка смирненькая да аккуратная . . .

Отец звал дочь по имени и отчеству — «Вера Петровна»; он относился к ней непонятно, — с любопытством и, как-будто, с боязнью, за которою скрывалась враждебность.

. . . По тесным путям станции маневрирует локомотив, входит поезд с Дона или Волги, а Вера Петровна, в белом платочке на золотых кудрях, не спеша идет через рельсы; между локомотивами мелькают ее тонкие ножки в красных нитяных чулках. Она идет в скупую степь собирать бедные цветы, бегать за сусликами с таловым прутом в руке.

Отец следит за нею из окна станции или с перрона и кусает усы, прикрыв золотыми ресницами воспаленные глаза.

— Запретить бы ей ходить по путям, — говорят ему.

Но он равнодушно отвечает:

— Ничего, она — осторожная . . .

Смотришь, бывало, как она одиноко расхаживает по пустой земле, за версту от станции, кланяясь редким цветам и травам, и все больше не нравятся ее отец, станция, люди, — вся эта скучная, полусонная жизнь.

Не раз по ночам она прибегала ко мне, окутанная с ног до головы большой, серой шалью, похожая на летучую мышь, и говорила торопливо, но спокойно:

— Иди, отец опять назюзюкался до смерти!

Схватив ее на руки, я бежал на квартиру Колтунова.

Он валялся на полу синий, со вздувшимся лицом, вытаращенными глазами, похожий на утопленника. Несколько капель

ашантырного спирта с водою, влитые ему в горло, оживляли его, он мычал, а девочка убийственно-спокойно спрашивала:

— Еще не до смерти?

И садясь на пол, у головы отца, гладила его рукою по шершавой щеке, приговаривая:

— Ах, какая пьяница несчастная! . .

Юдин, любивший девочку больше, чем другие, мечтал:

— Если бы у меня была мать, или какая-нибудь дуреха согласилась бы выйти замуж за горбатого, я бы выпросил Верочку себе. Зачем она Колтунову?

Он был зол, дерзок, склонен к пессимизму, но где-то в глубине его души теплились тоска о лучшей жизни и нежное сострадание к людям

— Как жалко всех! — вздыхал он иногда, ночью, во время дежурства, когда мы, прочитав какую-нибудь книгу, говорили о ней. — Как жалко людей! . .

Это чувство он бесплодно тратил на уход за пьяными и больными, на примирение семейных ссор и на убедительные письма товарищам своим, телеграфистам линии. Одному он советовал жениться, другому — играть на скрипке, третьего уговаривал итти в колонию толстовцев.

Когда я немножко смеялся над ним за это, он резко возражал:

— А что делать? Что можно делать в этой рыбьей жизни?!

Мы оба были страстными любителями чтения, мы читали книги с ненасытной жадностью, день и ночь, в свободные часы. Книги были для нас просветами в мир действенной жизни из мира мертвой пустоты.

Но очень быстро мы проглотили все книги, какие нашлись на шести станциях между Волгой и Доном, и вот наступила для нас полоса духовного голода, — муки его знакомы только тем, кто жил в пустотах нашей страны, задыхался в густой скуке ее равнин. Нечем жить, — это, кажется, самое жуткое ощущение, испытанное мною.

Долго маялись мы в поисках хороших книг, но не находили ничего, кроме романов Окрейца, старой «Нивы» и тому подобной нищеты.

Колтунов издевался над нами:

— Что, ребята, издыхаете? Потеха!

И однажды, сжалившись, предложил:

— У меня в Калаче знакомый есть, он выписывает журнал. Хотите — попрошу?

Мы стали умолять его; он, посмеявшись, согласился, и через несколько дней кондуктор пассажирского поезда вручил Колтунову пакет и письмо.

— Вот он, журнал! — сказал Колтунов, победоносно взмахнув пакетом, но, прочитав письмо, закусил усы, оглянулся и, сунув пакет под мышку, плотно прижал его локтем.

— Ну, давай сюда, — попросил Юдин, радостно улыбаясь большим ртом.

Колтунов приподнял плечи и тоном начальника заявил:

— Успеешь, не лезь!

Юдин удивился, отступил на шаг; они были приятелями, и Колтунов никогда не говорил так грубо.

— Я схлопотал, — мне и читать первому, а вы — после! — добавил Колтунов сухо и сердито.

Это и меня обидело: раньше читали вслух, все вместе, или читал тот, у кого было свободное время. Книгу держали всегда на виду, в телеграфной.

— Ты что фарсишь? — спросил Юдин, а Колтунов ответил еще более сердито:

— Отстань! Я хочу читать для отдыха души, а не для спора да вздора. Читать надо молча, а вы рассуждаете: отчего так, зачем не этак! Надоело мне это! Я хочу один читать, — и убирайтесь к чорту!

Он запер книгу в ящик своего стола и до конца дежурства не разговаривал с нами, гневно озираясь, словно испуганный чем-то. Когда он, кончив дежурство, уходил к себе, Юдин сказал ему:

— Ляжешь спать, положи книгу на видном месте, я зайду, возьму ее . . .

Он не ответил, только усмехнулся.

Около полуночи Юдин предложил мне:

— Пойди-ка, возьми книжку, он, наверное, дрыхнет уже.

Днем часа полтора непрерывно хлестал землю обильный дождь, затем снова на вымытом небе явилось знойное солнце, щедро согрело землю, — теперь в степи было темно и душно, как в бане. Среди черных туч, в глубоких синих ямах, тускло све-

тились золотые звезды, — в эту ночь все они казались угасающими. Предо мною, как бы указывая путь, прыгала лягушка; вдали гудел поезд; с водокачки доносилась тихая песня кочегара-еврея, косоглазого человека, с печальной улыбкой на красных губах, — кажется, ничто не могло стереть эту улыбку с его острого смуглого лица. Из окна квартиры Колтунова изливался желтый свет, падал на землю, показывал в темноте штабель шпал и тонкий ствол тополя. Сквозь кисею, натянутую в раме окна, я видел Колтунова: он сидел за столом в ночном белье, облокотясь, согнувшись, запустив пальцы в рыжие волосы. Его острый небритый подбородок судорожно вздрагивал, и на книгу, лежавшую между локтями, капали слезы, — при свете лампы было хорошо видно, как они падали одна за другою, — мне казалось, что я слышу мокрые удары о бумагу. Нехорошо видеть человека, когда он плачет . . .

Кроме лампы, на столе стояла едва початая бутылка водки и тарелка с куском соленого арбуза. В плетеном кресле спала девочка, свернувшись калачиком; лицо ее было сплошь закрыто кудрями, виден только рот, удивленно открытый. Глубже в комнате было так же темно, как в степи, а освещенное пространство напоминало пещеру в черной горе.

Колтунов выпрямился, посмотрел в окно. Его незначительное лицо, обтаяв в слезах, казалось еще меньше и незначительнее. Вот он поднял книгу над лампой и стал сушить слезы; посушив и потрогав пальцем страницу, снова качает книгу над огнем, а из глаз его все катятся слезы, застревая в усах.

Я ушел встречать поезд и, встретив, сказал Юдину:

— Не спит, все еще читает . . .

— Скотина! — ворчал телеграфист, выстукивая отправление. — Приятель! Все мы приятели до первого вкусного куска.

Перед рассветом я снова стоял под окном, разглядывая сквозь кисею маленького рыжего человечка. Он, должно-быть, спал: голова опустилась на грудь, руки бессильно лежали на коленях. Лампа погашена, но горит свеча в медном подсвечнике, золотое копье огня двукратно отражается в стекле бутылки, — водки не убавилось. Комната еще темнее, чем была прежде, девочки нет в кресле, а закрытая книга лежит на углу стола, близко к подоконнику.

Я тихонько прорвал кисею, просунул руку в дыру. Колтунов

вскочил на ноги, схватил подсвечник, размахнулся и заорал диким голосом:

— Прочь! Убью!

Свеча погасла, но я все-таки видел незнакомое, искаженное лицо, тотчас утонувшее во мраке.

Через минуту он спокойно и грубо спросил:

— Это кто?

— Я. За книгой.

— Не дам . . .

Я постоял под окном еще минуту глядя в степь, на восток. Там, за тучами, всходило солнце; на желтом пятне зари маячил маленький черный всадник; по земле за ним серым облаком ползла отара овец.

Все это — знакомо, все это было. Как хорошо смотреть в книгу и видет перед собою другую жизнь! . .

Дня четыре Колтунов дразнил нас книгой: принесет ее на станцию и читает один, а когда мы попросим — издевается:

— Встаньте на колени — дам!

Юдин увещевал его:

— Дурак, вспомни, сколько мы давали тебе книг!

— Ну, так что?

— Ты читал же с нами?

— Вставай на колени!

Он был противен и жалок, он сам, видимо, чувствовал это и, наперекор себе, все более упрямо дразнил нас. Читает и время от времени издает разные восклицания.

— Потеха! Вот как!

Эти словечки еще более распаляли наше любопытство, нашу жажду познакомиться с книгой. Мы так не взлюбили его, что даже на девочку перенесли чувство, вызванное ее отцом. И когда она, любимая, подбегала к нам, мы холодно отстраняли ее, надеясь хоть этим досадить ее отцу.

Я до сего дня помню, с каким недоумением смотрели на меня и Юдина темные глазки девочки, как вздрагивал, в улыбке огорчения, ее алый рот, похожий на цветок.

И Колтунов видел это. Но он только усмехался и дергал себя за усы нервным движением руки.

— Хочется почитать, мальчишки? — спрашивал он, пряча книгу в стол. — А я не дам . . .

— Ударю я его, — грозил Юдин, задыхаясь и бледнея. — Вот что: книгу эту не брать у него, хоть и даст, — не брать! Ладно?

Я соглашался:

— Ладно.

— Даешь слово?

— Даю.

Смешно вспомнить об этом теперь, но в те дни я искренно страдал и боялся чего-то, потому что в груди порою вскипала такая ненависть к человеку, что от нее кружилась голова, и перед глазами мелькали красные пятна.

Вся станция видела, что мы, трое друзей, поссорились, все слышали, как Колтунов издевался над нами, все чего-то ждали от нас и что-то внушали нам, безмолвно, пытливыми взглядами, усмешками.

Кончилось это очень просто: утром Колтунов пришел на дежурство, бросил журнал Юдину и сказал:

— На, читай . . .

Телеграфист схватил книгу на лету и тотчас молча воткнул большой нос в оглавление.

Ночью я читал вслух Юдину незначительный рассказ о том, как хорошая женщина ушла от дурного мужа на работу для общества, для мира, — читал и думал:

«Над этим, что ли, плакал Колтунов?»

Вдруг он ввалился в дверь и заорал, цепляясь руками за косяки:

— Н-не сметь читать!

Ноги у него подгибались, он был безобразно пьян и дико таращил красные, мокрые глаза.

— Н-не сметь . . . Никто не понимает ничего . . . и те, кто пишут, и все . . .

Опустился на пол, протягивая нам руки и вскрикивая:

— Молчать! . . Не читать! . .

А в двери, за его спиною, стояла маленькая девочка, Вера Петровна, в расстегнутом платьице, сползавшем с плеч, босая и встрепанная, — ее рыжие кудри поднимались вверх, как пламя, — стояла и тусклым голосом спрашивала:

— Зачем вы его обидели?

Как сложили песню.

Вот как две женщины сложили песню, под грустный звон колоколов монастыря, летним днем. Это было в тихой улице Арзамаса, пред вечерней, на лавочке у ворот дома, в котором я жил. Город дремал в жаркой тишине июньских будней. Я, сидя у окна с книгой в руках, слушал, как моя кухарка, дородная рябая Устинья, тихонько беседует с горничной моего шабра, земского начальника.

— А еще чего пишут? — выспрашивает она мужским, но очень гибким голосом.

— Да ничего еще-то, — задумчиво и тихонько отвечает горничная, худенькая девица, с темным лицом и маленькими испуганно-неподвижными глазами.

— Значит, — получи поклоны да пришли деньжонок, — так ли?

— Вот . . .

— А кто как живет, — сама догадайся . . . эхе-хе . . .

В пруду, за садом нашей улицы, квакают лягушки странно-стеклянным звуком; назойливо плещется в жаркой тишине звон колоколов; где-то на задворках всхрапывает пила, а кажется, что это храпит, уснув и задыхаясь зноем, старый дом соседа.

— Родные, — грустно и сердито говорит Устинья, — а отойди от них на три версты — и нет тебя, и отломилась, как сучок! Я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала. Будто не вся живешь, — не вся вместе, — а половина души в деревне осталась, и все думается день-ночь: как там, что там? . .

Ее слова словно вторят звону колоколов, как-будто она нарочно говорит, в тон им. Горничная, держась за острые свои колени, покачивает головою в белом платке и, закусив губы, печально

прислушивается к чему-то. Густой голос Устиньи звучит насмешливо и сердито, звучит мягко и печально.

— Бывало — глохнешь, слепнешь в злой тоске по своей-то стороне; а у меня и нет никого там: батюшка в пожаре сгорел пьяный, дядя — холерой помер, были братья, — один в солдатах остался, ундером сделали, другой — каменщик, в Бойгороде живет. Всех будто половодьем смыло с земли . . .

Склоняясь к западу, в мутном небе висит на золотых лучах красноватое солнце. Тихий голос женщины, медный плеск колоколов и стеклянное кваканье лягушек — все звуки, которыми жив город в эти минуты. Звуки плывут низко над землею, точно ласточки перед дождем. Над ними, вокруг их, — тишина, поглощающая все, как смерть.

Рождается нелепое сравнение: точно город посажен в большую бутылку, лежащую на боку, заткнутую огненной пробкой, и кто-то лениво, тихонько бьет извне по ее нагретому стеклу.

Вдруг Устинья говорит бойко, но деловито:

— Ну-ко-сь, Машутка, подсказывай . . .

— Чего это?

— Песню сложим . . .

И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает:

— Эх, да белым днем, при ясном солнышке,
Светлой ноченькой, при месяце . . .

Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, вполголоса поет:

— Беспокойно мне, девице молодой . . .

А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца:

— Все тоскою сердце мается . . .

Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо:

— Вот она и началась, песня! Я-те, милая, научу песни складывать, как нитку сучить . . . Ну-ко . . .

Помолчав, точно прислушавшись к заунывным стонам лягушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла словами и звуками:

— Ой, да не зимою вьюги лютые,
Не весной ручьи веселые . . .

Горничная, плотно придвинувшись к ней, положив белую

голову на круглое плечо ее, закрыла глаза и уже смелее, тонким вздрагивающим голоском продолжает:

— Не доносят со родной стороны
Сердцу весточку утешную . . .

— Так-то вот! — сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по колену. — А была я моложе, — того лучше песни складывала! Бывало, подруги пристают: «Устюша, научи песенке!» — Эх, и зальюсь же я! . . Ну, как дальше-то будет?

— Я не знаю, — сказала горничная, открыв глаза, улыбаясь.

Я смотрю на них сквозь цветы в окне; певицы меня не замечают, а мне хорошо видно глубоко изрытую оспой, шершавую щеку Устиньи, ее маленькое ухо, не закрытое желтым платком, серый, бойкий глаз, нос прямой, точно у сороки, и тупой подбородок мужчины. Это баба хитрая, болтливая; она очень любит выпить и послушать чтение святых житий. Сплетница она на всю улицу, и больше того: кажется, все тайны города в кармане у нее. Рядом с нею, крепкой и сытой, костлявая, угловатая горничная — подросток. Да и рот у горничной детский; маленькие, пухлые губы надуты, точно она обижена, боится, что сейчас еще больше обидят, и вот-вот заплачет.

Над мостовой мелькают ласточки, почти касаясь земли изогнутыми крыльями: значит, мошкара опустилась низко, — признак, что к ночи соберется дождь. На заборе, против моего окна, сидит ворона неподвижно, точно из дерева вырезана, и черными глазами следит за мельканием ласточек. Звонить перестали, а стоны лягушек еще звучней, и тишина гуще, жарче.

— Жаворонок над полями поет,
Васильки-цветы в полях зацвели, —

задумчиво поет Устинья, сложив руки на груди, глядя в небо, а горничная вторит складно и смело:

— Поглядеть бы на родные-то поля!

И Устинья, умело поддерживая высокий, качающийся голос, стелет бархатом душевные слова:

— Погулять бы, с милым другом, по лесам! . .

Кончив петь, они длительно молчат, тесно прижавшись друг к другу; потом женщина говорит не громко, задумчиво:

— Али плохо сложили песню? Вовсе хорошо ведь . . .

— Гляди-ко, — тихо остановила ее горничная.

Они смотрят в правую сторону, наискось от себя: там, щедро облитый солнцем, важно шагает большой священник в лиловой рясе, мерно переставляя длинный посох; блестит серебряный набалдашник, сверкает золоченый крест на широкой груди.

Ворона покосилась на него черной бусиной глаза и, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, взлетела на сучок рябины, а оттуда серым комом упала в сад.

Женщины встали, молча, в пояс, поклонились священнику. Он не заметил их. Не садясь, они проводили его глазами, пока он не свернул в переулок.

— Охо-хо, девушка, — сказала Устинья, поправляя платок на голове, — была бы я помоложе, да с другой рожей . . .

Кто-то крикнул сердито, сонным голосом:

— Марья! . . Машка! . .

— Ой, зовут . . .

Горничная пугливо убежала, а Устинья, снова усевшись на лавку, задумалась, разглаживая на коленях пестрый ситец платья.

Стонут лягушки. Душный воздух неподвижен, как вода лесного озера. Цветисто догорает день. На полях, за отравленной рекой Тёшей сердитый гул, — дальний гром рычит медведем.

Птичий грех.

Осенняя паморха повисла над землею, закрыв дали. Земля сжалась в небольшой, мокрый круг; отовсюду на него давит плотная, мутно-стекляная мгла, и круг земной становился все меньше, словно таял, как уже растаяло в серую сырость небо, еще вчера голубое. В центре земли — три желтые шишки, три новеньких избы, — очевидно, выселки из какой-то деревни, невидимой во мгле.

Я направляюсь к ним по разбухшему суглинку исковерканной дороги. Меня сопровождают невеселым бульканьем осенние ручьи, они текут по глубоким колеям тоже на выселки; а в ямах межколесицы стоят лужи свинцовой воды, украшенные пузырями. Иду точно дном реки, в какой-то особенно неприятно жидкой, липкой воде; по сторонам дороги мерещатся кусты, печально повисли седые прутья; на всем, что видит глаз, — холодный налет ртути. Грязь сосет мои ноги, заглатывая их по щиколотки; она жалобно чмокает, когда я отнимаю у нее ступни одну за другою, и снова жадно хватает их толстыми губами. Холодно на земле, холодно и грязно; в душе тоже — холодное безразличие; все равно — куда итти — в море этой неподвижной мглы, под ослепшим небом.

Выселки строились с расчетом образовать когда-то улицу: две избы стоят рядом, связаны крытым соломою двором, третья — побольше — напротив них. Между домами большая лужа, в ней плавает щепа и деревянное ведро с выбитым дном, а на краю ее, у ворот и под окнами одинокого дома, мнут грязь десятка полтора мужиков, баб и, конечно, ребятишек. Это странно: непогода, будни, — чего же ради мокнут жители и почему они говорят так необычно тихо? Покойник в доме? Мужика смерть не удивляет . . . Ворота дома открыты настежь, посреди двора

стоит телега, под задними колесами ее валяется куча тряпья; где-то обиженно хрюкает свинья, лошадь жует сено, слышен вкусный хруст. Крепко пахнет навозом и еще чем-то, напоминающим жирный запах бойни.

Здороваюсь с людьми, сняв мокрый картуз. Они смотрят на меня молча, неприязненно, без обычного в деревне интереса к дальнему страннику.

— Что это вы собрались?

Большой чернобородый мужик, надвигаясь на меня животом, сурово спрашивает:

— А тебе чего надо? Откуда таков?

Он не в духе, но не настолько, чтобы драться; он, видимо, еще настраивает себя на боевой лад.

— Паспорт, — требует он, протянув руку, похожую на вилы о пяти зубьях.

Но когда я подал ему паспорт, он сказал, ткнув рукою в лужу:

— Ступай себе . . .

Из-за его широкой спины вывернулся старичок с лицом колдуна и секретно, вполголоса, заговорил, пришепетывая, быстро шлепая темными губами:

— Ты, мил-человек, вали, иди дальше с Богом! Тут тебе, промежду нас, — не рука, прямо скажу, — ты иди-ко-сь!

Я пошел, но он, поймав меня за котомку, потянул к себе, продолжая выбрасывать изо рта мятые слова.

— Тут у нас история сделана . . .

Черный мужик сердито окрикнул его:

— Дядя Иван!

— Ась?

— Придержи язык-от! Что, ей-богу! . .

— Да ведь, все едино, дойдет до деревни, — там узнает, скажут . . .

Кто-то повторил эхом:

— Скажут . . .

— Али такую историю можно прикрыть?! — радостно воскликнул дядя Иван. — Ведь, кабы что другое, а то — отец . . .

И сдвинув шапку на ухо, спросил меня:

— Ты — как, — грамотен? Чу, Никола, грамотный он . . .

Чернобородый поглядел на меня, на него и сказал с досадой:

— Да ну его ко псам и с тобой вместе! Эка суета . . .

Старик, вздохнув, беспомощно махнул рукой, все придерживая меня. Мужики молчали, врастая в грязь; бабы, заглядывая во двор и в окна, шептались о чем-то; я слышал отдельные слова:

— Сидит?

— Сидит, не шелохнется . . .

— А она?

— Да она в сенях, не видно ее . . .

Старик, подмигнув мне добрым, светлым глазом, отвел меня за угол избы, оглянулся, поправил шапку и деловито заговорил, поблескивая глазами, морщась:

— Тут, видишь ты, сын отца топором укокал, да и жену повредил; баба-то еще жива, а старичок, тезка мне — Иван Матвеев, — он кончился, упокой Господи . . .

— Снохач? — спросил я.

— Вот, это самое, за сноху потерпел убиенную смерть от руки сына. Через бабу, да . . . Видал, — за телегой лежит, у задних-то колес?

— Нет . . .

— А ты поди, взгляни, — воодушевленно и даже с укором посоветовал дядя Иван, дергая меня за рукав. — Кто не пустит? Ты — со мной, я тут вроде за старосту, меня слушают, как же!

Он усмехнулся, снова подмигнул, а, ведя меня сквозь народ, поучительно сказал:

— Грехи — учат . . .

Остановясь у телеги, он снял шапку и приподнял рваный армяк с земли у колес: под армяком распластался такой же, как дядя Иван, небольшой, милый и сухонький старичок. Лежал он, словно споткнувшись на бегу, подогнув правую ногу под живот, вытянув левую и неестественно упираясь плечом в землю. Одна рука заброшена на поясницу, другая — смята под боком; жилистая шея перекрутилась, правая щека утонула в навозе. Голова его была разрублена от уха до уха, — из трещины грибом вылез серо-красный мозг, отвалившийся лоб закрыл ему глаза. Рот, полный мелких зубов, был искривлен и широко разинут, — казалось, что старик этот, крепко зажмурясь от страха, кричит в землю криком, не слышным никому, кроме ее, может быть.

— Вот какая история сделана, — поучительно сказал живой старичок и, надев шапку, предложил:

— Айда в избу!..

На полу сеней, в полосе света из открытой в избу двери, лежала на спине, в луже застывшей и лоснившейся крови, молодуха, глядя в потолок круглыми глазами, закусив толстую нижнюю губу, болезненно приподняв верхнюю. Из-под разорванного подола ее рубахи высовывались грязные ноги, и на обеих оттопыренные большие пальцы тихонько, равномерно шевелились. Это было страшно видеть, но еще страшнее была тишина в избе и согнутая этой тишиной фигура мужика, сидевшего на лавке у стола со связанными за спиною руками, затылком к маленьким окнам, лицом в сени.

Он сидел, наклонясь вперед, высунув голову точно под топор; на его темном лице по-волчьи блестели большие глаза; встрепанные, рыжеватые волосы головы и бороды тоже блестели на стекле окна, гудевшем под ударами большой черной мухи.

— Вот это и есть самый мастер, — громко и негодующе сказал старик, кивнув головою в дверь избы.

Я смотрел, ожидая, что мужик вырвет руки из-за спины, бросится на пол и на четвереньках побежит в сени, во двор и дальше, в поля, прикрытые серой паморхой.

— Нарошно посадили его эдак-то: пускай глядит, чего наделал, — об'яснил мне старик, и тогда я увидал, что мужика почти сплошь по всему телу опутали вожжами и веревками, прикрутив его к столу и скамье.

Услыхав последние слова старика, он покачнулся, тряхнул спутанными волосами, — все вокруг него заскрипело, заскрежетало.

— Работничек был — золото, а вот она, дерзость руки, к чему привела...

Женщина у наших ног простонала коротенько и сказала медленно, страшно громко:

— Дедушка Иван, уди-и... уйдитя, Христа ради... Ты жа добрый...

— Ага-а, — протянул дедушка Иван сердито и печально, — наделала делов, а теперь стонешь!...

Махнув рукою, он пошел из сеней, натягивая шапку на серебряную голову и говоря:

— Бабеночку жаль! Внучатная мне, брата моего внука. Жаль, хороша в девках ходила . . .

Вышли за ворота, где попрежнему мял грязь, должно-быть, весь народ выселков.

— Ну, что? Как? — стали спрашивать бабы, толкая старика.

Он успокоительно ответил им:

— Сидит, зверь ожесточенная, сидит . . .

Предо мною, в густом, влажном воздухе, кто-то невидимый нес труп старика. Я смотрел на разрубленную голову, на серо-красный гребень мозга, дряблый язык, лежавший на нижних зубах, и загнутые вверх, ко рту, жесткие волосы бороды. Дождь сыпался пуще, настойчивее, земля стала еще меньше и грязней. По жести чайника за моей спиною дробно барабанят капли, точно острые гвоздики сыплются на жесть. На крыше овина галдят галки, слышна трескотня сороки.

Дядя Иван, шагая рядом со мною, повествует спокойным голосом многоопытного мудреца:

— В наших местах это зовется — птичий грех, когда свекорь со снохой соймется, али отец с дочерью . . . Как птица, значит, небесная, ни родства, ни свойства не признает она, вот и говорят: птичий грех . . . Да . . .

В стекляном сумраке, как две звезды, улыбаются мне детские глаза, такие светлые, полные кротости.

— Ни в чем ноне старикам не уважают! А бывало! . . Чу, колокольчик, — стало, едут! Ну, прощевай, мил-человек!

Иду в мокром шорохе дождя, и снова грязь сосет мои босые ноги. Сердце тоже жадно и больно сосут чьи-то холодные, толстые губы . . .

Гривенник.

В тринадцать лет, среди тяжелых людей, в кругу которых я жил, сердце мое властно привлекала сестра хозяйки, — женщина лет тридцати, стройная, как девушка, с кроткими глазами Богоматери; — они освещали лицо удивительно правильное и нежное. Эти голубые глаза смотрели на все ласково, внимательно, но когда говорилось что-нибудь грубое или злое, — светлый взгляд странно напрягался, как это бывает у людей, которые плохо слышат.

Была она молчалива, — говорила только самое необходимое: о здоровье, о муже и погоде, о прислуге, священниках и портнихах; я никогда не слышал из ее уст дурного слова о человеке. Что-то осторожное и неуверенное было в ее движениях, точно она всегда боялась споткнуться или задеть кого-либо. Порой мне казалось, что она близорука, иногда я думал, что эта тихая женщина живет во сне.

Над ней посмеивались. Бывало, — соберутся у хозяйки женщины, подобные ей, — такие же толстые, сытые, бесстыдные на словах, — распарят себя чаем, размякнут от наливок, мадеры и начнут рассказывать друг другу анекдоты о мужьях, — сестра хозяйки слушает нагие слова, и тонкая кожа ее щек горит румянцем смущения, длинные ресницы тихонько прикрывают глаза, и вся она сгибается, точно травинка, на которую плеснули жирными помоями.

Заметив это, хозяйка радостно кричит:

— Глядите-ка, Лина-то зарделась . . . Ой, смешная!

А бабы ласково укоряли ее:

— Что это вы словно девушка! . .

В такие минуты я очень жалел эту чистенькую женщину, — мне тоже было стыдно слышать банные разговоры баб. Расска-

зывали не только голыми словами, но и улыбочками, жирненьким смехом, красноречивыми подмигиваниями, это возбуждало у меня отвращение и страх. Хмельные женщины казались похожими на пиявок. Особенно страшна была вдова подрядчика-маляра, тяжелая баба лет под сорок, с двойным подбородком, огромной грудью и глазами коровы. Улыбаясь, она высоко поднимала толстую верхнюю губу с усами, оскаливала тесный ряд острых зубов, а мутно-зеленые глаза ее как-будто вскипали, покрываясь светящейся влагой.

— Муж любит, чтобы жена была бесстыдна с ним, — говорила она голосом пьяного дьякона.

— Не всякий, — возражали ей.

— Ан — всякий! Конешно, — ежели слабый, ему это не надобно, а хороший мужчина — стыда не любит. Отчего мужики с гулящими валандаются? Оттого, что гулящие умнее нас — бесстыжи. Стыд — для девиц, а женщине он только помеха.

Не все соглашались с ней, но все хвалили ее:

— Ну, и смелая же вы, Марья Игнатовна!

Прислуживая за столом, я слушаю эти речи и вижу, как гнется лебединая шея милой женщины, вижу ее маленькие, пылающие уши, запутанные в русых локонах, вижу, как ее пальцы ломают и крошат печенье. Мне до слез, до бешенства жаль ее, а бабы хохочут:

— Нет, вы глядите-ка, Лина-то! . .

Я был уверен, что этой женщине невыносимо тяжело среди подруг, и для меня было ясно, что я должен помочь ей. Но — как?

Хотя я прочитал уже не мало книг, однако, ни в одной из них не было указано, чем может тринадцатилетний мальчик помочь женщине вдвое старшей его. А в одной книге, на мое несчастье, было сказано: — «Любовь не щадит ни попа, ни дьявола, она не различает возраста, мы все — ее рабы».

Я слишком хорошо для своих лет знал, каково не-книжное отношение мужчин и женщин, но книги дали мне спасительную силу верить в возможность каких-то иных отношений, и я упрямо мечтал о них, воображая нечто величественное и трогательное. Не может же быть, чтоб для всех женщин и мужчин любовь являлась в тех же формах, в каких ее знают дикий бык, солдат Ерофеев, и всегда пьяная, растерзанная, хвастливо-бесстыдная прачка Орина.

Я упорно думал — как же мне помочь милой женщине, которая явно не хочет слышать и видеть грубостей жизни, не годится для них? Мне снились героические сны: вот я — атаман разбойников, здоровый молодец в красном кафтане, с ножом за поясом и в меховой шапке набекрень. Мои товарищи подожгли дом, где жила она, а я, схватив ее на руки, бегу по двору, к моему коню. Снилось, что я — колдун, и мне подвластны все черти, они сделали невидимыми меня и ее; вот мы оба, легкие, как снежинки, плывем с ней по воздуху, над пустынным полем, синим от синего неба, а впереди, между пирамид елей, стоит снежно-белый дом, из окон его, открытых настежь, в поле, на встречу нам, рекой течет удивительная музыка — от нее замирает сердце, и все тело поет, напитанное ею.

Были сны, менее счастливые, были и противные кошмары подростка, фантазия которого слишком возбуждена.

А на-яву возлюбленная проходила мимо меня так же осторожно, как мимо всех; мне казалось, что она боится выпачкать себя о человека, и первая забота ее — не коснуться бы кого-нибудь. Но, видимо, она заметила, что я слишком упорно слежу за ней, все чаще ее глаза стали встречаться с моими, и, наконец, когда я отпирал ей двери крыльца, она, раньше проходившая мимо меня молча, стала говорить мне:

— Здравствуй!

Разумеется, я расширил это приветствие, — оно звучало, как приказание мне:

— Здравствуй для меня!

Я ликовал. Конечно — для тебя, царица! — Это предрешено мне судьбой моей, всеми силами жизни и всеми книгами, — для тебя!

Однажды она спросила меня:

— Ты что — невеселый?

Я не мог ответить, — у меня сердце замерло; — ведь, если она видит, что мне невесело, значит, она уже заметила, что вообще я — веселый и, значит, она меня любит. Заключение не совсем правильное, но — приятное, и я был до того обрадован им, что, вбежав в кухню, расцеловал кошку, — старое, облезлое животное, не любимое мною за бессердечие и подхалимство.

Озорниковатый март капризничал, как балованное дитя, — то сеет на землю густой тучей тяжелые пушинки снега, то вдруг зажжет в небе яркое солнце и в час растопит пуховые цветы на темных сучьях деревьев. Журчат ручьи, выбиваясь из-под сугробов, и слышно, как вздыхает, оседая к земле, подмытый снег. Все глубже и шире с каждым днем голубые прорезы неба между серой массой встревоженных облаков — и когда смотришь в эти бездонные ямы небес — жизнь становится легче, праздничней. Первые весенние цветы расцветают в душе, а потом уже — в полях.

Моей хозяйке сильно нездоровилось, сестра посещала ее почти каждый день, и при ней в доме все становилось благообразнее, тише и лучше. Покачиваясь, точно скользя на коньках по крашеному полу, она бесшумно переходила из комнаты в кухню с полотенцами, смоченными водой и уксусом, с графинами клюквенного морса в белых руках, а я любовался ею.

Однажды, умывая руки и увидав меня за книгой, она спросила:

— Что это читаешь?

Я назвал книгу.

— Ты бы лучше житие Варвары-Великомученицы прочитал, — посоветовала она. — Ведь это твоей мамаши ангел.

— А вы — мой ангел, — сказал я и даже, помнится, басом сказал.

И тотчас испугался дерзости своей — рассердится? Но она, не взглянув на меня, попросила:

— Налей-ко в рукомойник воды . . .

Вымыла свои тонкие пальчики, аккуратно вытерла их один за другим, и, взглянув в окно, сказала:

— Тает как!

Да, на припеке таяло сильно, с крыш непрерывно лились струйки воды, точно серебряные шнурки, унизанные радугой самоцветных камней. Сердце у меня тоже горело радугой и таяло.

Через некоторое время в кухню пришел хозяин и, строго взмахнув длинными волосами, погрозил мне пальцем.

— Ты, зверь! Ты что сказал Олимпиаде?

— Что она похожа на ангела, — сознался я.

— Разве можно говорить эдакое замужней женщине?

— Говорят же в книгах.

— Замужним? По башке тебя книгами надо. Ты — гляди! Она и без тебя знает, на что похожа . . .

Хозяин ухмыльнулся до ушей и исчез, а мне стало немножко грустно, — зачем она пожаловалась на меня? Не следовало бы...

Дня через два, приготовляя в кухне клюквенный морс, она сказала мне.

— Жалуются, что дерзок ты и упрям, — это нехорошо!

Я ждал от нее иного, вспыхнул и спросил:

— Почему — нехорошо?

— Сам должен знать.

Тогда я начал говорить все, что думалось: а хорошо ли, что она молчит, когда при ней рассказывают пакости?

— Ведь я вижу, что вам стыдно слушать, — разве вы такая, как они? Они — халды, хуже пьяных прачек . . .

Говорил я много и сердито, а она, стоя у стола над решетом, сквозь которое протирала клюкву, смотрела на меня круглыми глазами, приоткрыв рот, точно собираясь закричать. Лицо у нее было совсем детское, в руке она держала деревянную ложку, с которой капал на стол розовый сок.

— Шш . . . — вдруг зашипела она, махнув на меня ложкой, — молчи! Ах, какой . . . да, ведь, если я пожалуюсь на тебя . . .

— Не надо жаловаться, лучше давайте убежим на Волгу! — предложил я ей.

— Что-о? Куда?

— За Волгу, в леса. Теперь — весна скоро, — прокормимся!

Она присела на лавку, спросив:

— Зачем?

— А что вам с ними жить?

И я об'яснил, как умел, что готов служить ей до старости и до смерти, и что со мною ей будет великолепно, — уж я позабочусь об этом!

Она засмеялась, хотя и не громко, но совершенно неуместно; засмеялась, и сквозь смех сказала мне:

— Ой, Господи, какой ты смешной и как ты это . . . все видишь! Что выдумал, Господи . . . За Волгу — ох!

Вздрагивая от смеха, она ушла, а я пошел в сарай колоть дрова. Через полчаса ко мне явился хозяин и сказал мне:

— Вот что, брат; если эти твои глупости и всякая болтовня

дойдут до жены, — я тебе не защита, понял? . . Ты с ума сходишь, что ли?

Оставшись один, я подумал:

«Как она доверчива — все рассказывает чужим людям!»

Наступила Пасха. Синий воздух налит весенним, гулом меди, треском пролеток по сухому камню мостовой, хмельным шумом весеннего праздника.

Отворяя дверь визитерам, я с великим трепетом ждал, когда явится она, и я скажу ей:

— Христос воскресе!

— Воистину, — ответит она и трижды поцелует меня розовыми губами. Может-быть, после этого я умру тут же, на месте, но — только бы поцеловала!

Никогда еще праздничные подачки пьяных гостей не оскорбляли меня так больно, как этот раз. Отказываться от них нельзя было. Потные двугривенные жгли мне ладонь и казались тяжелыми, как фунтовые гири.

Я был настроен, как верующий перед причастьем, я чувствовал себя способным и готовым на какой-то великий подвиг, да, ведь, оно — так и есть: первый поцелуй женщины — величайшее событие жизни.

Вот, наконец, приехала она. Она в синем шелковом платье, в черной тальме со множеством стекляруса, вся в каком-то тихом шелесте и блеске.

Задыхаясь, я сказал:

— Христос воскресе!

— Воистину, — ответила она и, не останавливаясь, сунула в руку мне монету величиной с крупную слезу.

Это был гривенник, старенький, стертый и с дырочкой под орлом.

Прижавшись к стене, я ошалело смотрел, как женщина, синяя и черная, подымается вверх со ступеньки на ступеньку. Я сразу разлюбил ее, — этот гривенник, как холодная секира, отсек любовь от моего сердца.

Вечером я швырнул монету, цену любви моей, в овраг, в мутную лужу снеговой воды.

. . . После этого я еще много любил и много получил гривенников, — старенъких, и новых.

Счастье.

«. . . Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал в его мягкие лапы.

Это случилось на прогулке; большая компания молодежи собралась знойной летней ночью в лугах, за Волгой у ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку и пиво, сидя вокруг костра; спорили о том, как скорее и получше перестроить мир, потом, устав телесно и духовно, разбрелись по скошенному лугу, кто куда хотел.

Я отошел прочь от костра с девушкой, которая казалась мне умной и чуткой. У нее были хорошие, темные глаза, в ее речах всегда звучала простая, понятная правда. Эта девушка смотрела на всех людей ласково.

Мы шли тихонько, бок-о-бок; под ногами у нас скрипели, ломаясь, срезанные косою стебли травы, из хрустальной чаши неба, опрокинутой над землею, изливалась хмельная влага лунного света.

Глубоко вздыхая, девушка говорила:

— Как хорошо! Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды. И жарко . . .

Потом она предложила сесть под стог сена, в круглую тень, густую, как днем. Звенели кузнечики, вдали кто-то заунывно спрашивал:

Эх, зачем ты изменила мне?

Я стал горячо рассказывать девушке о жизни, знакомой мне, о том, чего я не понимал, но — вдруг она, тихонько вскрикнув, опрокинулась на спину.

Это был, кажется, первый обморок, который я видел, и, на минуту, я растерялся, хотел кричать, звать на помощь, но тотчас вспомнил, что делают в таких случаях благовоспитанные

герои романов, знакомых мне, — разорвал пояс ее юбки, кофточку, тесемки лифа.

Когда я увидел груди ее, точно две маленькие чаши из серебра, полные сгущенного света луны и опрокинутые в сердце ее — мне жадно, до огненного удара в голову, захотелось поцеловать ее. Но, сломив это желание, я стремглав бросился к реке за водою, ибо — по писанию, — герои всегда, в подобных случаях, убегали за водой, если только на месте катастрофы не было ручья, заранее приготовленного догадливым автором романа.

А когда я вернулся, прыгая по лугу, точно бешеный конь, со шляпой, полной воды, — больная стояла, прислонясь к стогу, в полном порядке, исправив все разрушения туалета, совершенные мною.

— Не надо, — сказала она утомленно и тихо, отводя рукою мокрую шляпу мою . . .

И пошла прочь от меня на огонь костра, где два студента и статистик завывали все ту же надоевшую песню:

— Ах, зачем ты изменила мне?

— Я не сделал вам больно? — осведомился я, смущенный молчанием девушки.

Она кратко ответила:

— Нет. Вы — не очень ловкий. Все-таки я — разумеется — благодарю вас . . .

Мне показалось, что она не искренно благодарит.

Я не часто встречал ее, но, после этого случая, встречи наши стали еще реже, — вскоре она и совсем исчезла из города, и уже спустя года четыре, я увидел ее на пароходе.

Она ехала из приволжской деревни, где жила на даче, в город к мужу, была беременна, хорошо и удобно одета, — на шее у нее длинная золотая цепь часов и большая брошь, точно орден. Она очень похорошела, пополнела и была похожа на бурдюк густого кавказского вина, которое веселые грузины продают на жарких площадях Тифлиса.

— Вот, — сказала она, когда мы дружески разговорились, вспоминая прошлое, — вот я и замужем, и все . . .

Был вечер, на реке блестело отражение зари; пенный след

парохода уплывал в синюю даль севера, широкой полосою красного кружева.

— У меня уже есть двое ребят, жду третьего, — говорила она гордым тоном мастера, который любит свое дело.

На коленях ее лежали апельсины в желтом бумажном мешке.

— А — сказать вам? — спросила она, ласково улыбаясь темными глазами. — Если б тогда, у стога, — помните, — вы были смелее . . . ну — поцеловали бы меня . . . была бы я вашей женой . . . Ведь я — нравилась вам? Чудак, помчался за водой . . . Эх, вы.

Я рассказал ей, что вел себя, как показано в книгах, и что — по писанию, священному для меня в ту пору, — нужно сначала угостить девицу в обмороке водою, а целовать ее можно только после того, когда она, открыв глаза, воскликнет:

— Ах, — где я?

Она немножко посмеялась, а потом задумчиво сказала:

— Вот в том-то и беда наша, что мы все хотим жить по писанию... Жизнь — шире, умнее книг, сударь мой . . . жизнь вовсе не похожа на книги . . . Да . . .

Достав из мешка оранжевый плод, она внимательно осмотрела его и сморщилась говоря:

— Негодяй, подложил таки гнилой . . .

Неумелым жестом она бросила апельсин за борт, — я видел, как он закружился, исчезая в красной пене.

— Ну, а теперь — как? Все еще живете по писанию, а?

Я промолчал, глядя на песок берега, окрашенный пламенем заката, и дальше — в пустоту рыжевато-золотых лугов.

Опрокинутые лодки валялись на песке, как большие, мертвые рыбы. На золоте песка лежали тени печальных ветел. Вдали лугов стоят холмами стога сена, и мне вспомнилось ее сравнение:

— Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды . . .

Очищая другой апельсин, женщина повторила тоном старшей и как бы наказывая меня:

— Да, была бы я вашей женой . . .

— Благодарю вас, — сказал я, — благодарю.

Я благодарил ее — искренно».

Герой.

. . . Уже в газетах было напечатано несколько моих рассказов. Знакомые люди снисходительно похваливали меня, предрекая мне судьбу писателя, но я не верил в эти пророчества, да, кажется, и сами пророки не обладали достаточной верой в предсказания свои.

Быть писателем, — об этом я тогда еще не мечтал. Писатель в моем представлении — чародей, которому открыты все тайны жизни, все сердца. Хорошая книга, точно смычок великого артиста, касается моего сердца, и оно поет, стонет от гнева и скорби, радуется, — если этого хочет писатель.

Нет, о счастье быть писателем я не думал, а то, что мои рассказы напечатаны, казалось мне такой же случайностью, как случайно можно прыгнуть вверх на высоту своего роста.

В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно. Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь. Я жил в горячем тумане разноречивых мыслей, желаний, ощущений; все тропинки жизни спутались предо мною, и я не мог понять, которая моя. Я бился, как птица, попавшая в комнату, где окна светлые, но путь на волю загражден стеклами, и трудно отличить их от воздуха.

В детстве и отрочестве я, должно быть, слишком много испытал горечи обид, слишком много видел жестокости, злой глупости, бессмысленной лжи. Этот преждевременный груз на сердце угнетал меня. Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто, способное уравновесить тяжесть на сердце, нужно было выпрямить себя.

Надо быть Самсоном, и — сильнее, чтобы не заели — азиатские мелочи жизни. Они пьют кровь человека, точно комары; пьют и отравляют, прививая лихорадку злости, недоверие к людям,

презрение к ним. Надо быть слепым Самсоном, чтобы пройти сквозь тучи ядовитой мерзости, не отравляясь ею, не подчиняясь силе ее . . .

Я шел босым сердцем по мелкой злобе и гадостям жизни, как по острым гвоздям, по толченому стеклу. Иногда казалось, что я живу второй раз, — когда-то, раньше, жил, все знаю, и ждать мне — нечего, ничего нового не увижу.

А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое: оно существует, как говорили книги лучших писателей мира, — оно существует, и я должен найти его.

Когда жизнь неприглядна и грязна, как старое, засоренное пожарище, приходится чистить и украшать ее на средства своей души, своей волей, силами своего воображения, — вот к чему я пришел, наконец.

Если бы вы знали, как восторженно делал я это, и как, порою, смешно мне вспоминать о бесплодности попыток моих украсить жизнь, о лучеиспускании света души в пустоту.

Вот одна из комических попыток моих найти человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги.

Однажды в тихом городе Тамбове, — городе, похожем на скучный сон, — сидя у окна, в маленькой комнатке грязной гостиницы, я услыхал в соседней комнате тихий голос, странные слова:

— Горе — вода, счастье — огонь; воды больше, — тонут чаще, огня меньше, — горят реже . . .

Кто-то резко прервал печальную речь.

— Не люблю людей умней меня! Нет, я, брат, умников не уважаю . . . Что-о? . . . А чорт с ним! Я, это — я!

— Подожди же . . .

— Я не дешевле ее . . .

Мне показалось, что так говорить может только очень интересный и значительный человек.

Через некоторое время он вышел в коридор и, заранее открыв дверь моей комнаты, я увидал его. Это был сухонький и стройный мужчина, брюнет, с толстыми губами и пристальным взглядом темных глаз. Одетый в чесучовую поддевку и белую фуражку с дворянским околышком, он напоминал выцветшую акварель.

Я вышел вслед за ним: может быть, удастся подсмотреть, как и чем он живет?

Ясно, что он был хорошо известен в городе: почти каждый встречный кланялся ему. Сам он приподнимал фуражку перед мужчинами не торопясь и не высоко, иногда же только касался рукою козырька, но когда видел женщин в окнах домов или в тряских пролетках, кланялся им быстро и размашисто, как, вероятно, кланялся встарину корнет Отлетаев.

Шел он, как человек, которому некуда торопиться, держал в левой руке ременный хлыст с черной рукояткой и тихонько бил им по лаковому голенищу сапога. Я шагал за ним по другой стороне улицы и сочинял ему интересную жизнь, создавал из него праведника, духом которого жив этот пыльный, деревянный город, тихий лагерь безличных людей . . .

Мне думалось также, что этот выцветший человек многого желал и добивался, и ничто не удалось ему, но он все-таки мужественно упорствует, достигая желаемого, неустанно идет к своей мечте, всем чужой, может-быть, грубо осмеянный, идет один сквозь терния завистливой злобы, глупых подозрений, сквозь пыль дряненьких насмешек.

А, может-быть, он любит слепой и мучительной любовью женщину, — ту, о которой рассказывают романы? На земле много подобных ей, но сама она неуловима, — это ее всю жизнь и везде искал Дон-Жуан.

Много красивого можно выдумать о человеке. Генрих Гейне превосходно доказал это . . .

. . . Мы пришли в глухую улицу, где маленькие домики были небрежно вставлены в зелень садов, как разноцветные заплаты, уже выгоревшие на солнце. Человек остановился под открытым окном рыжего дома, громко постучал ручкой хлыста о подоконник, и когда сквозь темную зелень герани высунулось густо напудренное лицо женщины с толстой папироской в зубах, он строго спросил:

— Ну, что, продала?

Торопливо выдыхая дым, — женщина ответила тихо и невнятно.

— Э, д-дура, — сердито крикнул он. — Я ж тебе сказал, отдавай за семнадцать! Что ж ты, дрянь, борова жалеешь, а меня нет? — спросил он так же громко, но ласковее.

И, ударив хлыстом по сапогу, приказал:

— Чтобы к шести часам деньги были!

Он пошел прочь, дальше по немой улице, насвистывая что-то знакомое мне, а женщина, выплюнув на улицу дымный окурок, исчезла.

Было около трех часов дня, но тихо, как глубокой ночью. В зное, полном гнилых запахов города, дремали деревянные домики на горячей, сухой земле. Под жгучим солнцем трещало дерево крыш. Деревья стояли неподвижно, и листва их казалась вырезанной из зеленого железа.

Человек шел, насвистывая любимый романс шарманок:

— В небесах торжественно и чудно . . .

Я сопровождал его, немного охлажденный в мечтах моих, но все еще не теряя какой-то надежды.

Вышли на площадь, к церкви, окруженной небольшим тенистым садом в каменной ограде. Человек вынул золотые часы, взглянул на них и решительно направился в маленький ресторан, почти против церковной паперти. Войдя, и не ответив на поклоны двух лакеев, он сел к столу под окном, приказав властно:

— Мишка, шнапс!

Мишке было лет семьдесят. Маленький, лысый, длиннорукий, он напоминал обезьяну, — двигался согнувшись странно развертывая колени и держа руки так, точно он только недавно отвык ходить на четвереньках.

Поглядывая в окно, человек все насвистывал, и невольно вспоминались слова романса:

— Что же мне так больно и так трудно? . . .

«Мишка» открыл бутылку лимонада, вылил шипучую влагу в большой бокал, добавил туда две рюмки коньяку и раскачиваясь подал на стол. Человек мельком взглянул на лакея и спросил:

— Жив еще?

— Так точно, — с радостью ответил старик, растянув темные губы до ушей, показывая два желтых клыка.

Человек стал пить лимонад маленькими глотками, не отрывая губ от бокала, скосив глаза в окно. Через площадь к церкви важно плыла большая, полная дама в голубом платье, под белым зонтиком в кружевах. Он быстро допил, взглянул в

веркало, поправил усы, фуражку, сделал строгое лицо и пошел к двери сказав:

— Я вернусь . . .

Ага! Вот, наконец, то, что мне нужно!

Когда человек с хлыстом скрылся в ограде церкви, куда прошла голубая дама, я тоже отправился вслед за ним и через несколько минут встретил его за церковью, в тени старых лип. Он шел рядом с дамой и, заглядывая под зонтик, низким голосом убежденно говорил:

— У греков даже боги имели любовниц . . .

— Это вы к чему? — спросила дама тоже почти басом.

— Никто не протестовал . . .

Обойдя кругом церкви, я воротился в ресторан, чувствуя себя обокраденным, униженным.

Спросил пива и стал смотреть в окно, а из-за колокольни на меня смотрело мутно-красное солнце. Где-то звучал рояль. Играли гаммы. У двери ресторана стоял на подогнутых ногах старенький Мишка и дремал, уронив салфетку на пол. Тихо. Даже мухи не летают.

Незаметно для меня в ресторане снова явился выцветший человек, сел на свое место и негромко, угрюмо сказал:

— Мишка, шнапс! Не видишь? . . .

Он глубоко вздохнул, отирая платком лицо, такое же мутно-красное, как тамбовское солнце.

А когда на площали снова явилась голубая дама под кружевным зонтиком, человек привстал со стула, опираясь на стол сжатыми кулаками, и тихонько, сквозь зубы, сказал в окно:

— Др-янь, свинья! . . .

Вот одно из тех маленьких приключений, которые имели для меня большой и грустный смысл, грубо срывая с души моей светлые покровы юношеского романтизма.

Много испытал я подобных разочарований. Знаю, что в этих мелких брызгах грязи немало смешного, но я и по сей день люблю одеть человека более празднично, чем он одет.

Допустимо, что в этом добром занятии я несправедлив и жесток к людям. Я понимаю, что если осла непосильно нагрузить даже драгоценными камнями, — все равно, ослу будет тяжело.

Клоун.

Однажды, проходя коридором цирка, я заглянул в открытую дверь уборной клоуна и остановился, заинтересованный им; в длинном сюртуке, в цилиндре и перчатках, с тростью под мышкой, он стоял перед зеркалом и, ловкою рукой красиво приподнимая цилиндр, раскланивался со своим отражением на стекле.

Заметив в зеркале мое удивленное лицо, он быстро обернулся ко мне и сказал улыбаясь, указывая пальцем на свое лицо и в зеркало:

— Я — я! Да?

Потом отодвинулся в сторону, его отражение в зеркале исчезло, он медленно провел рукою по воздуху и снова сказал:

— Ньэт я! Понимайт?

Я не понял этой игры, смутился и ушел, сопровождаемый его тихим смехом, но с этого момента клоун стал необычно и тревожно интересен для меня.

Был он англичанин, средних лет, с темными глазами, очень ловкий и забавный на арене, посреди черной воронки цирка. Его гладкое, сухое лицо казалось мне значительным и умным, а звонкий голос всегда звучал для меня насмешливо, почти неприятно, когда клоун, играя на опилках арены, точно большой кот, выкрикивал искаженные русские слова.

После поклонов перед зеркалом я начал следить за ним, вертелся в антрактах перед узенькой дверью его уборной, наблюдая, как он мажет белилами свое лицо или стирает краски с него, сидя перед зеркалом. Что бы он ни делал — он всегда разговаривал сам с собою или напевал, присвистывая какую-то песню, всегда одну и ту же.

Я видел, как он в буфете пил водку маленькими глотками, и слышал, как спрашивает буфетчика:

— Кторри шас?

— Двенадцатого десять.

— О, этот трудни. Ньэт трудни — оддин, дува, тири, чертири! Сами лёкки — чертири!

Он бросил на цинк стойки серебряную монету и пошел на улицу напевая:

— Тири — чертири, тири — чертири . . .

Гулял он всегда один, а я ходил за ним, как сыщик, и мне казалось, что этот человек живет особенной, таинственной жизнью и смотрит на все так, как я никогда не сумею. Иногда я пробовал представить себя в Англии; никем не понимаемый, страшно чужой всему, оглушенный могучим шумом незнакомой жизни — сумел бы я жить, так же спокойно улыбаясь, в дружбе только с самим собою, как живет этот крепкий, стройный щеголь?

Я выдумывал разные истории, в которых англичанин играл роль благородного героя, уснащал его всеми, известными мне достоинствами и любовался им. Он напоминал мне людей Диккенса, упрямых в злом и добром.

Как-то днем, проходя по мосту через Оку, я увидал, что он, сидя на краю одного из плашкоутов, удит рыбу; я остановился и смотрел на него до поры, пока он не кончил ловлю. Вытаскивая на крючке ерша или окуня, он брал его в руку, подносил к своему лицу и свистел тихонько в нос рыбе, а потом, осторожно сняв ее с крючка, бросал в воду. Надевая червяка, он что-то говорил ему, а когда из-под моста выплывала лодка, клоун снимал шапочку без козырька и любезно кланялся незнакомым людям, а когда ему отвечали, — делал страшно удивленное лицо, раскрыв рот, высоко приподнимая брови. Вообще он умел и, видимо, любил забавлять себя.

Другой раз я видел его на горе, в садике около церкви Успенья; он смотрел на ярмарку, клином врезанную между Волгой и Окой, держал в руках трость и, перебирая по ней пальцами, как по флейте, тихонько насвистывал. С ярмарки и с Волги всплывал в жаркое небо глухой, спутанный шум чужой жизни. По грязной воде, по радужным пятнам нефти тяжко ползали пароходы, баржи, лодки, доносился свист и скрежет железа, чьи-то широкие ладони мощно и часто хлопали по воде, а вдали, за дугами, горели леса, и в дымном небе неподвижно стояло тусклокрасное солнце, лишенное лучей, плешивое.

Постукивая палкой по стволу дерева, клоун запел, тихонько и молитвенно:

— Оун, доун, лоун, дир . . .

Лицо его было грустно и серьезно, брови сдвинулись; странные звуки песни вызвали у меня какое-то боязливое настроение, — мне захотелось проводить этого человека домой, на ярмарку.

Вдруг откуда-то явилась сердитая, шершавая собака. Она прошла мимо клоуна, села в двух шагах от него на пыльной траве и, протяжно зевнув, покосилась на него, — клоун выпрямился и, приложив трость к плечу, прицелился в собаку, как из ружья.

— Урр, — тихонько зарычала собака.

— Рр — гау! — ответил клоун на хорошем собачьем языке. Собака встала и обиженно ушла, а он оглянулся и, заметив меня под деревом, дружески подмигнул мне.

Он был одет щегольски, как всегда, — в длинный, серый сюртук и такие же брюки, на голове блестящий цилиндр, на ногах красивые ботинки. Я подумал, что только клоун, одевшись по-барски, может вести себя на улице как мальчишка. И вообще мне казалось, что этот человек, чужой всем, лишенный языка, чувствует себя так свободно в суете города и ярмарки лишь потому, что он — клоун.

Он ходил по панелям, как важная персона, никому не уступая дороги, сторонясь только перед женщинами. И я видел, что когда кто-либо в толпе касался его локтем или плечом, он всегда спокойно и брезгливо, что-то смахивал рукою в перчатке с того места, которого коснулся чужой. Серьезные русские и иные люди толкались беззаботно и, даже наскакивая на нос друг другу, — не извинялись, не приподнимали картузов и шляп вежливым жестом. В походке серьезных людей было нечто слепое, обреченное, — всякий ясно видел, что люди торопятся, и у них нет времени уступить дорогу другим.

А клоун гуляет беззаботно, как сытый ворон на поле битвы, и мне кажется, что он своей вежливостью хочет смутить и уничтожить всех на своем пути. Это — или, может-быть, нечто другое в нем — неприятно задевало меня.

Разумеется, он видел, что люди грубы, понимал, что они походя оскорбляют друг друга грязной бранью, — не мог он не видеть и не понимать этого. Но он проходил сквозь потоки людей

на панелях, как будто ничего не видя, не понимая, и я сердито думал:

«Притворяешься, не верю я тебе . . .»

Но я счел себя положительно обиженным, заметив однажды, как этот щеголь помог встать пьяному, которого опрокинула лошадь, поставил его на ноги и тотчас, сняв осторожными движениями пальцев свои желтые перчатки, бросил их в грязь.

Парадное представление в цирке кончилось позднее полуночи. Был конец августа; из черной пустоты над однообразными рядами зданий ярмарки сыпался мелкой стеклянной пылью осенний дождь. Мутные пятна фонарей таяли в сыром воздухе. По избитой мостовой гремели колеса пролеток, орала толпа дешевой публики, вытекая из боковых дверей цирка.

Клоун вышел на улицу одетый в длинное мохнатое пальто, в такой же мохнатой фуражке на голове, с тростью под мышкой. Взглянув вверх, в темноту, он вынул руки из карманов, поднял воротник пальто и, как всегда, не торопясь, но спорыми шагами пошел через площадь.

Я знал, что он живет в номерах недалеко от цирка, но он шел в сторону от своей квартиры.

Я шагал за ним, слушая, как он насвистывает.

В лужах, среди камней мостовой, тонули отблески огня, нас обгоняли черные лошади, хлюпала вода под шинами колес, из окон трактиров буйными потоками лилась музыка, во тьме визжали женщины. Начиналась беспутная ночь ярмарки.

По панелям уточками плыли девицы, заговаривая с мужчинами — голоса хриплые, отсыревшие.

Вот одна из них остановила клоуна; басом, точно дьякон, позвала его с собой, — он отступил, выдернул трость из-под мышки и, держа ее, как шпагу, молча направил в лицо женщины. Ругаясь она отскочила в сторону, а он, не ускоряя походки, свернул за угол, в пустынную улицу, прямую, как струна. Где-то далеко впереди нас хохотали, шаркали ногами по кирпичу тротуара, болезненно взвизгивал женский голос.

Два десятка шагов, — и я увидал при тусклом свете фонаря, что на панели возятся, играя с женщиной, трое рядских сторожей, — обнимают ее, мнут и тискают, передавая с рук на руки друг другу. Женщина взвизгивает, точно маленькая собачка,

спотыкается, качаясь под толчками здоровых лап, и панель во всю ширину занята возней этих темных, сырых людей.

Когда клоун подошел вплоть к ним, он снова вынул трость из-под мышки и снова стал действовать ею, как шпагой, быстро и ловко направляя в лица сторожей.

Они — зарычали, тяжко топая ногами по кирпичу, но не давая дороги клоуну, потом один из них бросился ему под ноги, глухо крикнув:

— Хватай!

Клоун упал; мимо меня стремглав пронеслась растрепанная женщина, одергивая на бегу юбки и хрипя:

— Псы . . . Сво-очь . . .

— Вяжи, — командовал кто-то свирепым голосом. — Аг-га, ты палкой?

Клоун звонко крикнул какое-то чужое слово, — он лежал на панели вниз лицом и бил каблуками по спине человека, который сидел верхом на его пояснице, скручивая ему руки.

— О-о, дьявол! Поднимай его! Веди!

Прислонясь к чугунной колонне, поддерживавшей крышу галлереи, я видел, как три фигуры, плотно сомкнувшись во тьме, уходятв сырую тьму улицы, уходят медленно и покачиваясь, точно ветер толкал их.

Оставшийся сторож, присев на корточки, зажег спичку и осматривал панель.

— Тиша! — сказал он, когда я подошел, — не наступи на свисток, свисток я потерял . . .

Я спросил:

— Кого это повели?

— Так, какого-то . . .

— А за что?

— Стало быть — надо . . .

Мне было неприятно, обидно, а все-таки, помню, я подумал, торжествуя:

«Ага?»

Через неделю я снова увидал клоуна, — он катался по арене пестрым котом, кричал, прыгал.

Но мне показалось, что он «представляет» хуже, скучнее, чем раньше.

И глядя на него, я чувствовал себя в чем-то виноватым.

Зрители.

Июльский день начался очень интересно — хоронили генерала. Ослепительно сияя, гудели медные трубы военного оркестра, маленький, ловкий солдатик, скосив в сторону зрителей кокетливые глаза, чудесно играл на корнет-а-пистоне, и под синим безоблачным небом похоронный марш звучал, точно гимн солнцу.

Гроб, покрытый венками, везли огромные вороные лошади, они били копытами по булыжнику мостовой, почти в такт гулким вздохам большого барабана. Медленно шагали солдаты, в белых рубахах, в ярко начищенных сапогах, новенькие, точно вчера сделанные для этих похорон; над их темными лицами сверкали лучи штыков. Раскаленная солнцем горела позолоченная медь пуговиц на мундирах офицерства, ордена на выпуклых грудях — точно цветы. За стройною массой белых солдат густо текла пестрая толпа горожан, кисейное облако пыли колебалось в воздухе, и все было покрыто медным пением светлых труб.

Обыватели Прядильной улицы высунулись в окна, выскочили за ворота, повисли на заборах, жадно любуясь великолепным от'ездом генерала в жизнь бесконечную. Они наслаждались даровым зрелищем в том настроении, которое всегда и невольно внушает, наблюдающему за ними, невеселую мысль о том, что все события мира совершаются для удовольствия бездельников.

Все шло прекрасно, стройно и торжественно, вполне соответствуя праздничному ликованию июльского дня, и хотя хоронили человека, но в Прядильной улице смерть была слишком привычным явлением, она не возбуждала ни грусти, ни страха, ни философических размышлений; бедные похороны не являлись зрелищем увлекательным, а только углубляли скуку жизни,

эти же, генеральские, подняли на ноги всех людей, от подвалов до чердаков.

Все шло прекрасно, но — вдруг откуда-то выскочил дико растрепанный дурачок «Игоша-Смерть в кармане», его растрепанная фигура испугала рыжую монументальную лошадь жандарма — лошадь метнулась в сторону, опрокинула даму в лиловом платье и, наступив железным копытом на ногу сироты Ключарева, раздавила ему пальцы.

Суматоха развеселила зрителей, особенно смешно было видеть, как лиловая дама, солидного купеческого сложения, шлепнулась в пыль, навзничь, и, запутавшись в пышных юбках, повизгивая, безуспешно пытаясь встать, дергала толстыми ногами. Она, видимо, сильно испугалась и ушиблась, ее большое лицо побелело, глаза болезненно выкатились. Конечно, смех зрителей был неуместен, жесток, но — уж так издревле ведется — смешон упавший ближний людям, для которых весь мир — только зрелище.

Но смех умолк, когда увидали, что сирота Ключарев ползет к забору, волоча за собою раздавленную ногу, а из нее в серенькую пыль улицы течет ручей ярко алой крови.

Кровь имеет свойство привлекать особенно напряженное внимание вечных зрителей, они всегда смотрят на нее особенным, молчаливо жадным взглядом — это у них тоже древнее пристрастие.

И вот, позабыв об усопшем генерале, о купчихе, поверженной во прах улицы, зрители живо сгрудились тесным кругом около сироты, прижавшегося к забору, и, глядя, как он истекает кровью, как адова боль в раздавленных костях искажает его маленькое, посиневшее лицо, они спрашивали его:

— Больно, Коська?

Морщась, то подгибая, то вытягивая изуродованную ногу, мальчик бормочет:

— Ух . . . Вот те — и раз! Вот и пошел на богомолье . . .

Он храбрился перемогаясь, а зрители предвещали ему:

— Задаст тебе Гуськов . . .

— Ах, ты, розиня чортова! Чего тебе хозяин сделает за это, а?

И кто-то замечательно разумно сказал:

— Брось перед ним в пыль копейку, сразу увидит, а лошадь — не видал, прохвост!

Мальчик обиженно возразил:

— Я — видел, да я упал, она, ведь, меня в живот лягнула ...

Его окружили мальчишки, внимательно разглядывая окровавленную ногу; один из них — худенький, с голубыми глазами — кошачьим движением ноги забрасывал пылью темные, влажные пятна крови. Стараясь спрятать кровь, он робко оглядывался точно ожидал, что его побьют за это. Его товарищи хвастливо вспоминали о своих ранах — о порезах, ссадинах, ушибах и других молодецких увечьях, которые они получили в играх, драках и от внимания старших.

Сердобольные люди советовали Ключареву:

— Присыпь землей ногу!

— Надо паутиной, а не землей.

— Паутина — это от пореза.

Подошел хозяин сироты, переплетчик Гуськов, прозванный Биллиардмастером, человек небрежно и наскоро сшитый из неуклюжих костей и старой вытертой кожи, лысый, с прищуренными вдаль глазами на пестром от веснушек лице, словно мухами засиженном.

— Так, — сказал он, спрятав руки за спину и глядя в забор над головою ученика. — Я тебя, сукин сын, куда послал? Я тебя за кожей послал, али нет?

— Дяденька, — со слезами воскликнул Коська, прикрывая руками голову.

Кто-то посоветовал переплетчику:

— Ты с него и сними кожу-то!

Но другой зритель заметил:

— Не годится, тонка!

— Ну, что ж мне теперь делать с тобой? — вслух соображал Гуськов, задумчиво растирая волосатой рукой веснушки на щеке. — На что ты мне без ноги?

— Дяденька! — слезно взмолился сирота. — Я завтра выздоровлею . . .

— Давай деньги!

Коська извлек из кармана штанов смятую зеленую бумажку.

— Жевал ты ее, дьяволенок? — спросил переплетчик, расправляя бумажку, покачнулся, вонзил свое длинное тело в толпу зрителей и исчез.

Старушка Смурыгина, моя квартирная хозяйка, торговка семечками и пряниками, громко вздохнула:

— Вот они, хозяева-то!

Трусов, скорняк, человек серьезный и благочестивый, оборвал ее:

— А ты — помалкивай, старая халява!

Буян, пес Трусова, такой же солидный, как его хозяин, понюхал окровавленную ногу мальчика, поднял свой толстый хвост, оскалив зубы, задумался.

— Гляди, не цапнул бы он! — предупредил некий зритель толпу.

— Пшел!

Пса прогнали. Похоронная процессия уплыла за угол улицы, оттуда доносилась сухая дробь барабанов. Пыль улеглась. Кругленькое личико ребенка было измазано кровью, мокрые от слез, вылинявшие от боли глаза его уныло смотрели на изуродованную ногу, он трогал пальцами руки раздавленные косточки и вздрагивая шмыгал носом.

— В четверг, — бормотал он, — я бы на богомолье ушел, на Баранов ключ . . . Отпускал хозяин-то . . . Ах, Ты, Господи . . .

— Завязать бы надо ногу-то, — посоветовала старушка Смурыгина и ушла.

Сирота, цапаясь за доски забора, попробовал встать на ноги, но, вскрикнув и схватившись за живот, упал.

— Ишь, как! — сочувственно заметил один из толпы, а мальчик выл:

— Что я буду делать?

— Хромать будешь, — утешили его.

Становилось скучно. Первыми разбежались мальчишки, потом, один за другим, разошлись взрослые зрители, улица опустела, оголилась — Ключарев остался у забора один, маленькой кучкой пыльного тряпья.

На мостовую слетелись воробьи, голуби, со дворов вышли, кудахтая, наседки и важные петухи, в домах застучали молотки жестяников, забарабанили тонкие палочки скорняков, сапожник Дрягин, солдат на деревянной ноге, угрожающим басом запел единственную песню, знакомую ему:

— В семьдесят семом году
Об'явил турок войну
На Россиюшку на всю,
На матушку на Москву . . .

Скука стала гуще, тяжелее.

Я наблюдал и слушал все это из окна подвала, из темной норы, где жила старушка Смурыгина. Утром, накануне этого дня, работая на пристани, я упал в трюм, вывихнул себе правую руку и разбил колено. Всю ночь не спал от боли, а теперь, сидя на подоконнике, смотрел на похорны, на зрителей и на сироту Ключарева — он лежал на другой стороне улицы, как раз против моего окна.

Когда зрители разошлись, я крикнул ему:

— Костя, ползи сюда!

Он сумрачно оглянулся, увидал мою голову над землей и сморщившись ответил:

— Больно — смерть как!

— Не можешь?

Он наклонился вперед и, упираясь руками в землю, попробовал ползти, но тотчас со стоном свалился на бок. Поплакал минуту, потом сказал, размазав слезы по лицу:

— Живот она мне . . . В больницу бы меня . . .

— Городового нет на углу?

— Городовой на кладбище ушел . . .

Он замолчал подергиваясь.

Чьи-то толстые ноги в рыжих истоптанных сапогах поровнялись с моим окном, я крикнул:

— Эй!

Ноги остановились, ко мне молча наклонилось большое лицо в бороде из овчины.

— Мальчонка-то в больницу надо свезти.

— Ну? Вези!

— Не могу, сам болен.

— А я не с этой улицы . . .

Человек влажно закашлялся и ушел. Следующий обыватель отнесся к моему предложению несколько иначе— он подошел к мальчику и напутственно сказал:

— Добаловался, подлец? Тебя не в больницу надо, а в пруд, куда дохлых кошек кидают.

И, в сознании исполненного долга, не торопясь, исчез.

Было уже около полудня, июльская жара сгущалась; под прямыми лучами солнца трещал тес крыш, воробьи и голуби прятались в тень, а мальчик лежал на солнечной стороне на припеке и, ярко облитый зноем, становился все серее. Вытянув разда-

вленную ногу, подогнув здоровую, он плотно прижался к забору, перекладывал голову с ладони на ладонь и бормотал, как в бреду:

— Ты что, Костя?

— Так.

Но помолчав, жалобно сказал:

— Когда Мишке Третьему кирпичем разбило палец на ноге, так он уж через день ходил. На пятке, а — ходил все-таки . . .

— И ты пойдешь . . .

Раза два он попробовал подняться, его маленькие пальчики втыкались в щели забора, но руки бессильно падали. Мне казалось, что я вижу, как распухает его нога, — вся ступня у него какая-то рыжая, точно кусок ржавого железа.

Он попросил пить, но улица была пустынна, даже дети куда-то попрятались от жары. Со дворов, из окон непрерывно истекал скучный, слишком знакомый шум трудового дня. Редкие прохожие солнечной стороны не обращали внимания на мальчика, думая, видимо, что он спит; к моим окрикам они относились равнодушно, считая их озорством бездельника. Те, которые шли моей стороной, тоже не внимали мне — большинство, очевидно, было «не с этой улицы», а остальные — слишком заняты своими делами. А мальчик все жарился на солнце.

Мне тоже было не очень хорошо, мучила боль в плече и колене, и невыразимо терзало сознание бессилия. Так странно: в пятнадцати шагах от меня лежит человек, нуждаясь в немедленной помощи, мимо него ходят подобные ему и — не хотят помочь. Не хотят . . .

Несколько сотен людей живет в улице, все дома тесно набиты ими, над моей головой неумолчно возятся переплетчики, вся улица предо мною засорена признаками обилия людей. А я чувствую себя в пустыне и, несмотря на душную жару, в сердце у меня злой, раздражающий холод.

Маленький замызганный солдатик с медной кастрюлей в руке остановился около Ключарева, подробно расспросил его — что с ним случилось, сколько лет мальчику, кто и где его родители, посоветовал приложить к ноге лист лопуха и ушел, обещая мне:

— Я бутаря пришлю — он расстарается, это его дело!

Но, должно-быть, он не нашел бутаря, а солнце накаливало улицу все сильнее, мальчик лежал неподвижно и тихонько стонал.

Тощий боровок остановился у моего окна, похрюкал и, точно получив от меня спешное поручение, убежал, встряхивая ушами, повизгивая.

Проехал водовоз, расплескивая воду из бочки, покрытой мокрым мешком, я попросил его дать мальчику воды, но он ни слова не ответил, сидя на бочке деревянным идолом.

Тогда я сердито, не щадя голоса, стал звать на помощь — это подействовало: за ворота выбежали люди, спрашивая друг друга:

— Кто орет? Где это?

Перед моим окном присел молодой скорняк с папиросой в зубах.

— Ты чего орешь?

Я об'яснил, а он, выслушав меня, сообщил публике:

— Это Смурыгиной постоялец, крючник, видно — пьяный лается: чего, говорит, мальчишку не свезете в больницу!

— А ему какое дело?

— Пьяный . . .

Сначала они говорили добродушно, но, узнав причину крика, — рассердились. Скорняк развеселил их, он незаметно для меня подошел сбоку и высыпал мне на голову пригоршню пыли, это очень рассмешило зрителей.

Сдержав желание изругать их, я начал убедительно доказывать, что нельзя бросать людей на улице, как собак, и что каждый человек, даже маленький, заслуживает сострадания.

— Верно говорит! — согласился со мной некто невидимый.

— Верно? Так сам бы и сбегал за полицией.

— Больной он, видишь ты!

— Больной, а — орет!

— В сам деле, надо убрать мальчонка, а то придет полиция, потащит нас в свидетели . . .

— Против лошади — какой же свидетель?

— Тут — жандар!

— И против жандара — не полагается . . .

Я мотал головой, стряхивая пыль, и вдруг меня мягко ушибла струя холодной воды — это скорняк, увлеченный успехом шутки своей, вылил на голову мне целое ведро. Снова грянул смех.

— Ловко-о!

— Глядите, как осердился!

— Ой, батюшки . . .

Я крепко обругал веселых зрителей, это не обидело их, а кто-то примирительно заметил:

— Чего тявкаешь? Тебя не помоями облили, а чистой водой . . .

Это меня не утешило, ругаясь, я продолжал убеждать их:

— Черти клетчатые — ведь вы же понимаете, что мальчонку надо в больницу свезти? Ведь Антонов огонь может прикинуться!

Мне возражали:

— Ну — понимаем? А ты что за начальство! Морда!

И снова кто-то, незаметно подкравшись, высыпал на мою мокрую голову горсть пыли, и снова все смеялись весело, как дети, притоптывая, всплескивая руками, а я сполз с подоконника и свалился на койку, чувствуя себя раздавленным шутками.

За окном говорили успокаиваясь:

— Горяч больно!

— Из пожарной бы кишки полить его . . .

— Кто бы свел мальчонку в участок?

— В аптеку?

— И то! Положить на крыльце, а уж аптекарь распорядится.

— Эй, Коська, вставай! Можешь идти?

— Обмер . . .

— Надо нести его.

— Это тебе, Саша, надо!

— Отчего — мне?

— Там кабак рядом . . .

Засмеялись.

— Ну, ладно, я снесу, — согласился Саша и заговорил ласково:

— Эх, ты, кусок . . . Ну, ничего, не пищи! То-то вот, — озоруете вы, материны дети, а я возись с вами ни за что, не про что . . .

Словно он каждый день таскал в аптеки изуродованных мальчиков.

Зрители разошлись, и снова на улице стало тихо, точно на дне глубокого оврага.

Воскресный вечер. Красноватые отсветы блестят на стеклах окон единственного дома, видного мне из подвала. Дом — в два окна, старенький, осевший к земле он, похож на нищего, который утомленно присел между двух растрепанных заборов. На лице его застыло сердитое уныние.

По улице бегают дети, поднимая облака розоватой пыли; где-то близко играют на гармонике, рычит пьяный ломовой извозчик, костлявый великан, по прозвищу Сушеный Бык.

Примостившись на подоконнике, я слушаю чью-то ленивую речь:

— От запоя молятся ему потому, что он сам пьяница был . . .

— Ну-у, — недоверчиво тянет другой голос, — это не резон для святости; эдак-то у нас половина улицы святых . . .

Первый голос сердито прерывает невера:

— А ты — слушай! Идет он, пьяненький, рано утречком домой, а солдаты христианам головы рубят . . .

— Чьи солдаты?

— Ихние . . .

Голоса звучат тягуче, в каждом слове чувствуется клейкая русская ленца. И солнце заходит лениво, как-будто ему известно, что завтра оно будет светить тем же людям, услышит те же речи.

Маленькая девочка идет мимо моего окна и, отирая слезы, шепчет громко:

— Ведьма . . . погоди!

— Рубят, значит. Поглядел Вонифантий, поглядел, а был он доброй души человек, хотя и богач . . .

— Что ж, и между богачами добряки есть, примерно — Троеруков, Петр Иванов . . .

Какая-то женщина просит:

— А ты не перебива-ай!

— Я — к слову.

— Да. Поглядел, да и говорит: ах, вы, говорит, такой-сякой народ! За что вы этих избиваете на смерть? Я, говорит, сам во Христа верую! Тут его сейчас схватили и — р-раз! — тоже голову напрочь. А он преспокойно взял ее за волосья, положил под мышку себе и пошел по улице, и пошел!

— Т-та? Пошел? . .

— Так и в житии написано?

— А то сам, что ли, я придумал!

— Н-да! Эдак — не выдумать. Ах, Ты, Боже мой! Поглядеть бы раз в жизни на эдакое чудо, а то — живешь, живешь . . .

Рассказчик продолжает:

— Тут солдаты эти и все зрители, испугавшись до смерти, бросились бежать кто куда, и тоже уверовали! . .

— Уверуешь!

— А он идет и поет — Христос Воскресе!

— В нашу бы пору что-нибудь эдакое . . .

— Наша пора — что? Слава Те, Господи! А тогда — чихнул не так — башку долой! Строгость была.

— Человек — ни по чем, дешевле дров . . .

— Дай-кось покурить . . .

Замолчали. Над криками детей грянул бас Сушеного Быка:

— И я те дам пудовку в маковку!

За моим окном снова начинается беседа; знатока римской жизни спрашивают:

— А как тогда — богаче жили люди?

— Ровнее. Особенных богачей не было, ну, и бедность не дозволялась.

— Не дозволялась? Как же это?

— Такой закон был.

— Умный народ . . .

Женщина спрашивает:

— А сказывается — христиане, бедные были?

— Это — после.

— После чего?

— После турецкого разорения. Как турки Царь-Град забрали, тут пошло разорение . . . разорился весь народ и принял нашу веру . . .

— Ага! Так-так-так . . .

Веселый женский голос крикнул:

— Глядите-ко, — кого это Гущин везет?

По улице шагала пегая лошадь, влача за собой разбитую телегу; на телеге сидел пьяненький ломовик Гущин, весело помахивая вожжами, спиной к нему торчал полицейский, а между ними помещался тесовый, окрашенный охрой небольшой гроб.

— Гущин — кого везешь? — спросил голос, рассказывавший о мученике Вонифатии.

Старичок извозчик охотно отозвался:

— Вашего . . . этого — сиротку . . .

— Коську?

— Его.

— Неужели — помер?

— А как же? Живого не схороним, не бойсь!

Телега проехала. Откуда-то выскочил Буян, понюхал землю, фыркнул и, поджав хвост, скрылся в щель забора. Мальчишка кричал:

— Братцы — это Коську Ключарева хоронють! . .

— Н-да-а, — говорили у ворот, — помер, значит, мальчонко . . .

— А ведь смирный был! . .

— Больница! . .

— Туда — только попади, а уж на кладбище они сами отвезут . . .

— Дешевы люди . . .

— Им что, докторам? Им бы жалованье в срок получить . . .

И снова раздался мерный голос:

— А то еще есть житие Кирика-Улиты . . .

Солнце скрылось, красные отсветы в стеклах поблекли, и потемнела бесконечная голубая печаль небес.

Тимка.

За окном моего чердака в нежных красках утренней зари прощально сверкает зеленоватая Венера.

Тихо. Старый, тесно набитый жильцами, дом огородника Хлебникова мертво спит; это жалкий дом, — серая развалина в два этажа, со множеством пристроек. Деловитый, купеческий город выгнал его на окраину, к полям орошения, он торчит среди отбросов города безобразной кучей дерева, одиноко и печально. В нем живут люди, никому — да и себе самим — ненужные, жизнь измяла их, высосала и выплюнула в поле, вместе с содержимым выгребных ям.

Все они ворчат, пьют, жалуются; ругают полицию, городскую управу, купечество, а всего больше и злее — друг друга. Чем они живут — нельзя понять, но кажется, что они высасывают друг из друга остатки жизненных сил и — этим сыты. Все они — безличны, их безличие особенно подчеркнуто тем, что многие женщины ходят в мужских пиджаках, а мужчины — в женских кофтах и кацавейках. Молодежи среди них — нет, и нет детей старше пяти, шести лет, — семилетние уже отправлены куда-то в город «в работу», а маленькие — незаметны в доме, они, точно крысы, прячутся по уголкам, пугливые и всегда голодные. Только бывшая актриса Орлова, нищая и ростовщица, не отдала «в работу» своих внучат-погодков Зинку и Сашку, сорванцев, которые совершенно одичали и возбуждают у жителей Хлебникова скрытую ненависть и явный страх. Их с наслаждением избили бы, но — нельзя, почти все должны старухе Орловой, в кабале у нее.

Смеются квартиранты Хлебникова редко и всегда злорадно; — смеются над параличным чиновником Воронцовым, который девять лет хлопочет о восстановлении его в правах наследства

к имуществу двоюродной сестры баронессы Торшоу; над чистенькой и аккуратной, точно кошка, старушкой Бердниковой, дочерью интенданта, умершего под судом; она считается полуумной, потому что тоже все хлопочет о восстановлении честного имени своего отца; смеются над больным дьяконом Любомировым, расстриженным «за незаконную любовь» — как он говорит, «за убийство в драке» — как утверждают другие.

Дьякон — огромный человек, очень волосатый, с маленькими глазками кабана и зубами лошади; он молчалив, задумчив и кажется смиренным человеком, но если при нем нарушается то, что он считает «порядком жизни», — он говорит могильным голосом:

— Взбучку дать!

В доме Хлебникова только один человек живет всем слышной и всеми видимой работой, — это бондарь Кешин, маленький, крепкий человечек лет пятидесяти. Он такой же чистый и порядочный, как старушка Бердникова, головка у него маленькая, круглая, светло-желтой кости, ее красиво окружает венчик седых кудрей, лицо — розовое, точно яблоко — анис, и на нем серьезно блестят спокойные, разумные глаза. Говорит он мало, высоким бабьим голосом, и носит жиденькие, длинные китайские усы, концами вниз, это делает его розовую мордочку умильной. Он просыпается раньше всех в доме и тотчас начинает колотить деревянным молотком по бочкам, кадкам, лоханям, — точно бьет в большой барабан.

Вот и сегодня, — еще не погасла Венера, а уж меня разбудил непрерывный, назойливый звук:

— Пам - пам - пам; пам - пам!

Недавно бондарь Кешин нанял подручного, двадцатилетнего хромого парня, с комической маской вместо лица; скуластый, как монгол, он был не курнос, как бы следовало, а украшен прямым и длинным носом, мягким, точно хобот, и смешно подвижным. На смуглой коже его лица, ярко, точно рана, выделялись красные, всегда влажные губы, глаза у него овечьи, цвета бутылочного стекла. Угловатая голова густо заросла черной, жесткой щетиной, ремешок на лбу вздымает ее дыбом. Лицо смешное и неприятное, тело — изломанное, левое бедро перебито,

он ходит падающей походкой, закидывая левую ногу далеко в сторону.

Он одет в кумачную рубаху и синие нанковые штаны. Зовут его — Тимка.

На другой же день своей работы у бондаря, Тимка привлек к себе общее внимание всех жителей Хлебниковского дома, — утром, как только в огороде появились бабы-работницы и запели модную песню:

— Некрасива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это! —

на дворе Хлебникова зазвенел высокий тенор, передразнивая огородниц:

— У верблюда есть гнездо,
У коровы — дети,
У меня нет никого,
Никого на свете!

Сначала бабы, согнувшись в три-погибели и ползая между гряд, пели жалобную песню, не обращая внимания на ядовитые четверостишия бондаря, но он надоедал им, точно овод:

— Я с пятнадцати лет
По людям ходила, —

тянут они свою панихиду, а Тимка, постукивая молотком, дразнит:

— Мне, девице, сорок лет,
Я вполне невинна . . .

Чистенький старичок Кешин, бросив работать, присел на обрубок дерева и засмеялся мелким, всхлипывающим смехом, восклицая:

— Ах, ты, шутило, глядите-ко, ловко как!

Из окон дома высунулись серые, измятые рожи, на двор вышли встрепанные, полуодетые люди, все улыбались, разглядывая Тимку, вслушиваясь в его пение, а он покачивался, ковыляя вокруг большой дубовой бочки, и пел, ловко и гулко постукивая молотком:

— Я курноса и ряба,
Маленького росту . . .

— Чтоб те разорвало, окаянный! — крикнула какая-то огородница.

Это искреннее восклицание вызвало всеобщий восторг слушателей, все захохотали, и на грязном дворе стало необычайно весело. А тут еще из-за Панинской рощи над полями орошения взошло солнце и зажгло ярким огнем выгоревшие стекла окон дома и парников.

В воздухе повеяло праздником; на дворе оживленно заговорили, и, вероятно, кое-кому показалось, что родился новый день, приятно непохожий на все прожитые.

— Вот — жулик! — говорит дьякон, с восхищением разглядывая Тимку. — Кешин! Где ты достал такого?

— Сам пришел, — сказал старый бондарь, усмехаясь и поглаживая усы.

А с крыльца раздался сердитый, хозяйский вопрос:

— Чего это вы ржете?

Там стоял Хлебников, маленький, толстый, в сером пальто, похожем на арестантский халат. Его рыжеватые брови вздрагивали, как всегда, когда он был не в духе, пальцы рук, сложенных на животе, быстро шевелились.

Тимка разогнулся, взглянул на него овечьими глазами и дерзко запел:

— Посмеялся мой подлец
Над клятвами своими!
Он — с одной мне изменил,
Я ему — с троими!

Снова все дружно захохотали, даже огородницы ответили на этот хохот слабеньким, смущенным эхом.

А Хлебников круто повернулся и ушел в сени, громко сказав:

— Урод.

Вскоре стало ясно, что Тимка привлек к себе внимание всех жителей дома Хлебникова, — внимание, за которым чувствовалась даже как будто симпатия к некрасивому певцу.

Вечерами, когда жители, по обыкновению, собирались у ворот посплетничать до ужина и до сна, дьякон просил Тимку:

— Ну-ко, спой чего нить сурьезное!

— Какое — сурьезное? — спрашивал Тимка.

— Ну, сам знаешь, — пояснял дьякон.

Хромой, прикрыв глаза, запевал удивительно чистым и высоким голосом:

— Два разбойничка вдоль Волги идут
С камня на̀ камень попрыгивают . . .

Это выходило у него очень хорошо, как-то так, что все понимали: разбойники — добрые, веселые ребята!

— А навстречу им — молоденький бурлак,
Он идет, горюн, прихрамывает.

Бурлак — замученный такой, лицо тупое, глаза сонные, — без надежд парень.

— Хорошо поет, — говорит актриса Орлова, опуская долу свою седую, лохматую голову.

— Молчи, — советует дьякон, и все слушают безмолвно, неподвижно.

Заходит солнце, в поле, на холмах мусора лежат красивые отсветы зари, раскаленно сверкают куски жести, стекла̀. Висят над полем пурпуровые клочья облаков, вдали синей тучей приникла к земле роща. Тихо.

Хромой стоит, прижавшись спиною к верве ворот, его смешное лицо как-то вытянулось, расправилось, стало приятнее; его глаза прикрыты, он закинул длинные свои руки за шею, выставив локти, выгнув грудь, он поет удивительно легко, точно жаворонок.

Бурлак говорит разбойникам:

— В белом свете — ни души у меня
Только две сестрицы родные,
Одна сестра — моя горькая Нужда
А другая — Недоля моя!

— Ишь ты, — вздыхает дьякон, а Орлиха снова бормочет:

— Хорошо, очень хорошо!

Тимка не обращает внимания на сочувственный шопот, он, кажется, готов петь до утра.

Когда он кончил песню, дьякон сказал, почему-то очень сурово:

— Что же ты, дурачина, обручи набиваешь? Тебе надобно в хор поступать . . .

Тимка позевнул и отозвался:

— Сопьешься там. Певчие пьют завсегда.

— Имей характер! С таким голосом нельзя дурака валять. Учиться надо.

— Так я — учусь, — равнодушно сказал Тимка. — В воскресную школу хожу по праздникам. Там нас барыня учит, Марья Тимофеевна, так у нее голосище — куда лучше моего. Я перед ней — котенок!

Он говорил о барыне с оживлением, которое трудно было предполагать в нем, но его никто не слушал, кроме старика Кешина, — старый бондарь, сидя на лавке, разглядывал подмастерья, озабоченно и серьезно, точно вещь, которую собирался купить. Вдруг над головою Кешина распахнулось окно, и раздался голос Хлебникова:

— Вы что же, братия, забыли, что теперь идет час всенощной службы, ведь ныне — суббота. Невежи, бесстыжие рожи! Я молиться встал, а у вас тут . . . а ты, парень, ая-яй! Не зря тебя Господь наказал, болвана . . .

Окно с треском захлопнулось, все молчали.

— Хозяин? — спросил Тимка.

— Хозяин, — сказал дьякон, а Орлиха прибавила искривив суровое свое лицо:

— Богомолец наш.

— Пойду спать, — об'явил Тимка и спокойно, не спеша, ушел во двор.

— Талант, — тихонько сказала Орлиха вслед ему и шумно вздохнула.

Вокруг — очень грустно; поле, засоренное разным хламом, вонючий овраг, вдали — черная роща и нефтяные цистерны, всюду протянулись бесконечные заборы. Кое-где сиротливо торчат ветлы и березы.

Ни одного яркого пятна, все выцвело, слиняло, небо испачкано дымом химического завода, а в центре этой бескрасочной жизни — грязный, полусгнивший дом Хлебникова, у ворот его молча сбились тесной кучей отжившие люди.

Тимка быстро подружился с огородницами, и бойкие, бесстыжие бабы, окружая его, точно овцы пастуха, относились к нему с чувством, близким к почтению. Забавно было видеть, с какой завистью они заглядывали в рот ему, когда он пел свои хорошие

песни. Их старшая, костромичка лет пятидесяти, крупная и сильная, с кумачным лицом и наглыми глазами, просила его певуче, слащаво:

— Ну-ко, спой-ко ты нам, соловеюшко наш хроменький!

Он охотно пел, и огородницы наперерыв предлагали ему свои бабьи услуги — починить рубаху, выстирать ее. Он даром чинил квартирантам Хлебникова лохани, кадки, ведра, но во всем, что делалось им, не было заметно увлечения, он относился ко всему — удивительно равнодушно и жил точно во сне.

Говорил мало, неохотно и неумело, — всегда что-то не то, чего ждешь. В общем, Тимка была фигура не веселая, но все же до него люди в доме Хлебникова жили сердито и мрачно, а теперь — с утра Тимка передразнивает огородниц, целый день около него вертятся и орут внучата Орловой, хохочут жители, а Кешин, неутомимо набивая обручи, как бы руководит всеми звуками, но остается недосягаем волнениям, вносимым Тимкой.

По вечерам, во дни плохой погоды, Тимка является ко мне на чердак пить крепкий калмыцкий чай с баранками и слушать чтение стихов. Стихи он любит, но читать их сам не решается, хотя и хорошо знает грамоту.

— А ловко складено, — говорит он, выслушав стихотворения.

— Возьми, почитай!

— Нет, не надо . . .

— Почему же?

— Больно много написано, до середки дочтешь — начало забудешь.

— Да, ведь, здесь почти на каждой странице особое напечатано.

— Нет, не надо, — упрямо твердит Тимка.

У него в зеленом сундучке, расписанном пунцовыми цветами, накоплено много «песенников», — листовок, но они ему не нравятся.

— Не те песни, — говорит он.

— А тебе какие нужно?

— Получше.

Он сам довольно легко и ловко подбирает рифмы для сатири-

ческих четверостиший, которыми дразнит огородниц; бабы уныло поют:

— Куплю на копейку я спичек.
В горячей воде разведу.

А Тимка тотчас сочиняет:

— Купи мне на кофтычку ситчик,
С тобой, куда хошь, я пойду . . .

— Зачем ты их дразнишь? — спрашиваю я.

— Так себе, — лениво говорит он.

— Ну, а все-таки?

— Ничего, с'едят. Не люблю песен ихних, воют, воют, а все врут. Песнями врать не надо, на то — сказка есть.

Покачивая щетинистой головою, он ухмыляется, в его овечьих глазах блестит насмешливая нежность.

— Вот я — некрасивый, да еще и хромой, а бабы — любят меня, будто я самый красавец. Ей-богу! Мне даже стыдно бывает через это. Один раз я спросил одну такую: чего ты ко мне жмешься, коли я некрасивый? А она говорит: некрасив, да по сердцу!

И ухмыляясь еще более широко, он уверенно говорит:

— Это они меня — за песни. Только — врут они все: я — такая, я — эдакая, судьба моя горькая, а все — одинаковы, все одного ищут. Я знаю.

Он — не хвастает, огородницы любят его, уже не раз я видел, как они обнимают его за крышами парников и в группе ветел, битых громом, я знаю, что они ловят его наперебой и мучаются, ссорятся от ревности.

— Видал ты, — спрашивает он, шмыгая длинным, смешным носом, — к хозяину моему ярославка приходит, полотнами торгует? Старик живет с ней, блудня, а она уж мне подмигивает, подлая! Я ее отобью у него.

— Зачем?

— Так.

— Обидишь старика.

— Ничего, с'ест, — равнодушно говорит Тимка.

— Тебе чего хочется? — спрашиваю я.

Он осматривает стол сытыми глазами.

— Спасибо, ничего не хочу.

— Нет, ты не понял меня! Тебе чего от жизни хочется?

— То есть — как это?

— Ну — в другой город уехать, богатым быть, жениться на красивой, учиться?

— А тебе на что это знать? — спрашивает он, подумав.

— Просто — интересуюсь.

— Ну . . . Чего я в другом городе найду? Бондари богато не живут. Девица и здесь найдется в свой час.

Иногда он холодно рассудителен, точно старик, но чаще кажется мне человеком, душа которого еще слепая, не прозрела, да к тому же и заперта, как птица, в тесной клетке.

В школе его интересует больше всего барыня, у которой «голосище».

— Вроде — как бас, возьмет низко, так даже гул по горнице!

— Она чему учит?

— Как — чему? Петь. Она, брат, говорит мне, что если я выучусь по нотам, так мне тыщи дадут.

— А еще чему учат там?

— Ну . . . разному. Писать, читать. Всего скушнее — география. Все — города разные, народы. Один город называется — Тумбукту. Ей-богу! Поди-ка, — врут, нет такого города . . .

В сумраке вечернем его лицо становится благообразнее, одухотворенней. Говорит он со мною охотно, но у него нет слов, которые надолго запали бы в память сердца.

Когда я прошу его спеть, он садится к окну и, глядя в поле широко раскрытыми глазами, поет особенно старательно, особенно четко, рисуя гибким голосом все, о чем говорит песня.

И в этот час мне почему-то бывало очень жаль его.

Прекрасно чувствуя все, о чем поет, Тимка не видит, не понимает горя людей, окружающих его, и когда я с трудом навожу его на беседу о жильцах Хлебникова, он равнодушно отталкивает меня ленивыми словами:

— Ну, какие они люди! Мусор. Не работают. Тут только Кешин . . . он, хоть, около Бога живет, Четью-Минею читает.

И подкачивая длинным носом, облизывая губы тонким языком, говорит уверенно:

— А бабу эту я у него отобью! Небольно молода, а хорошая баба. Отобью.

Потом снова начинает песню. В его песнях всегда кто-то куда-то идет, кого-то любит, тоскует, и все люди песен — разбойники, девицы, бурлаки — такие хорошие, вдумчивые. А сам Тимка — никуда не хочет итти, ни о чем не тоскует и, кажется, не думает ни о чем.

Иван Лукич Хлебников возненавидел Тимку упрямой, необ'яснимой ненавистью старого козла.

Хлебников — человек толстенький, но нездоровый, дыхание у него тяжелое, со свистом, лицо землистое, точно у покойника на второй день смерти, но — это очень бойкий и деятельный человек.

Тревожно благочестивый и всегда озабоченный несчастиями дома, города, мира, он находит десятки причин, по силе которых — нельзя петь песни.

— Эй, ты, хромой прохвост, — орет он сиплым голосом, выскакивая по утрам на крыльцо нечесаный, немытый, в сером пальтишке, заменяющем халат. — Ты чего орешь? Ночью в городе пожар был, три дома сгорело, люди в слезах, а ты распустил глотку . . .

— Отстань, — говорит Тимка.

— Как это — отстань? Я что говорю, — пустяки, шутки?

И Хлебников набрасывается на Кешина:

— Семен Петров — ты что же? Ты человек разумный, ты его учи.

— Я не могу учить чужого человека, — говорит Кешин кротко, но как-то подзадаривающе. — Кабы он мне сын был, а то — племянник и прочее, пятое, седьмое . . .

— Ах, Господи! — горестно изумляется огородник, закатывая под лоб маленькие, беспокойные глазки.

Он, к сожалению, читает по утрам местный «Листок», и у него, кроме канунов праздников, всегда имеется множество оснований запрещать пение: похороны известных людей, крушения поездов, слухи о плохом урожае хлеба, болезни высоких особ и разные несчастья на суше и на воде.

— Тимка, окаянная душа! — неистово орет он, высунувшись из окна и размахивая газетой. — Третьего дня Исай Петров Никодимов скончался, первейший благодетель города и кавалер орденов, его сейчас отпевают в соборе в присутствии всех именитых людей и губернатора, — не стыдно тебе, лубочная рожа?

Тимка — поет.

— Ты бы, Тимоха, тово, уступил бы и прочее, пятое, седьмое . . . — осторожно говорит Кешин, когда вой домохозяина надоест ему.

— Ничего, с'ест, — бормочет Тимка.

Хлебников трясется, топает ногами, лицо у него синее, глаза выкатились. Он доходит в гневе до того, что начинает швырять в хромого кусками обручей, палками, но это не возмущает Тимку; бросив работу, певец удивленно смотрит на огородника и потом согнувшись хлопнув себя по коленям ладонями — смеется, говоря:

— Вот — домовой!

— Не дразни, — советует Кешин не громко и — кажется — не охотно.

— Да я его не трогаю, — спокойно говорит Тимка, принимаясь за работу.

А Хлебников, еще более раздраженный этим спокойствием, крикливо жалуется дьякону, задыхаясь, размахивая руками:

— Отец, — ты что же глядишь, ты должен унять его . . .

— Взбучку дать надо, — рычит дьякон гробовым басом, но когда Хлебников уходит, он грозит вслед ему волосатым кулаком и говорит:

— Фарисей.

И советует Тимке:

— Ты ему, другой раз, повеселее спой!

Все жители Хлебникова с величайшим интересом наблюдают, как, день за днем, растет ненависть огородника к хромому бондарю, — чуть только на дворе зазвучит сиплый голос хозяина — отовсюду из углов, из окон высовываются встрепанные головы, напряженные, измятые рожи.

Никто не осуждает Хлебникова, никто не спрашивает его о причинах ненависти к Тимке, все только любуются ею, как забавным представлением, а некоторые поощряют хромого, науськивая его, как собаку:

— Ты про него спой!

— Чего про него споешь!

— А ты — придумай!

Только дьякон спросил однажды Орлиху, подругу своей жизни:

— Что это он воюет против мальчишки?

Умная и злая актриса об'яснила позевывая:

— Пришел срок, — он, может, всю жизнь ждал случая, на ком зло сорвать, а по плечу ему — никого не было. Теперь нашел подходящего человека и утешается . . .

Дьякон промолчал, видимо, не поняв старуху, а мне ее слова показались верными. Тимка же как-будто хвастался отношением Хлебникова к нему.

— Здорово не любит он меня, видно — встал я ему поперек сердца!

— А что он за человек по-твоему? — спросил я.

— Дурак человек, — ответил Тимка, не раздумывая.

— Как ты думаешь, — за что он тебя не любит?

— Больно мне нужно думать о нем, — равнодушно сказал Тимка и звонко запел:

— Мятель — вьюга — а . . .

Кешин поглядел на него, на меня, усмехнулся и погладил усы.

— Эх, — мятель — вьюга в поле стелется, —

поет Тимка,

— Идет Дуня за околицу
На дорогу, на проезжую,
Под березы, под столетние — а!

— Завыл, волк! — кричит Хлебников из двери сарая.

Отовсюду на голос Тимки выползают оборванные бездольники, забытые люди, а огородник — неистовствует, кричит Кешину:

— Семен Петров, ты человек благочестивый, — как же ты греха не боишься? Василиса Яхонтова вторые сутки разродиться не может, а он . . .

— Перестал бы, Тимоха, — говорит Кешин, — что сердишь зря?

— Никто кроме его не сердится, — правильно замечает подмастерье и — поет, а мне кажется, что если б его только хвалили, он пел бы хуже. В воротах явилась и стоит избочась торговка полотном, за спиною у нее тяжелый узел, в руке железный аршин. Ее лыковое лицо без бровей напряжено, губы приоткрыты, точно у птицы, которая хочет пить.

— Сапог нет у подлеца, — кричит Хлебников, — штаны завтра свалятся . . .

Тимка задорно поет:

— Эх, ждала я тебя сорок ночей,
Ожидала — не дремала, не спала,
Черны думы горько думала,
Истомила свою душеньку!

Кешин, помахивая молотком, идет к воротам, говоря:

— Здорово, Прасковея Филипповна! Каковы дела?

Торговка полотном приходила к бондарю аккуратно каждое воскресенье, а иногда и в будни; они запирались в комнате Кешина, Тимка кипятил им самовар и отправлялся в огород, к бабам, — они жили там в досчатом сарае.

Иногда торговка выглядывала из окна, поправляя ловкими руками встрепанные волосы и прислушиваясь к чему-то. Ее круглые, вороватые глаза смотрели на всех и на все нагло и бесстыдно.

Нередко Кешин приглашал Хлебникова, и тогда на дворе из открытого окна падали обрывки солидных речей.

— Ефрем-от Сирин до Златоуста жил али после?

— Точно — не знаю этого.

И все у них шло хорошо, скромно, аккуратно, но однажды поздно вечерком, когда все жители Хлебникова улеглись спать, а я еще сидел у ворот, ко мне подошел Тимка и сказал, немножко хвастливо:

— Уговорился с ней.

— С кем?

— С ярославской. Завтра ночую у нее.

— Узнает Кешин — рассчитает тебя.

— Ну, так что!

Помолчал, покачал головой и вздохнул:

— Беда!

— Какая?

— Так.

И с явным удивлением заговорил тихонько:

— На что мне она, торговка эта? Ведь, — сыт я, — огородницы меня любят, которая хошь. А — не нравится мне хозяин,

зачем он с Хлебниковым в дружбе. За глаза — поносит его, ругает, а сам в гости зовет . . . Ну, так я его тоже обману!

— Зря ты делаешь это.

— Конешно — зря! — согласился Тимка.

Над полем висели черные клочья облаков, между ними, в синих просветах блестят круглые звезды. Где-то отвратительно воет собака. Тихонько просвистела шелковыми крыльями ночная птица.

— Скушно, — сказал Тимка. — Пойду спать . . .

На дворе послышался голос Кешина:

— Ты — с'езди.

— Надо, — кратко молвила торговка.

— Дом — хороший. Прямо над рекой. И сад. Двенадцать яблонь.

— Ну, прощай.

За ворота вышла торговка, кутаясь в шаль; Тимка встал и пошел рядом с ней спрашивая:

— Венчаться уговаривает?

Она не ответила, поглядев на меня и не останавливаясь.

— Старый чорт, — сказал Тимка, погружаясь в сумрак.

— Тише, — внятно отозвалась женщина. — Ты этим — не шути, это дело серьезное для меня . . .

Над моей головой открылось окно, высунулся Хлебников в белой рубахе и забормотал:

— Это кто пошел, а? Кто?

Он сейчас же исчез, а через минуту выскочил за ворота в одном белье и, приложив ладонь ко лбу, наклонившись, стал смотреть вслед паре, тихонько уходившей вдоль забора, по медным пятнам луны. Я встал и пошел во двор, но огородник обогнал меня, трусцой подбежал к окну Кешина и застучал в стекло.

— Семен Петров — выдь-ка!

Потом оба они снова побежали за ворота, и Хлебников говорил, захлебываясь словами:

— То-то! У эдаких совести нет . . .

Кешин на бегу спотыкался и мычал.

Они долго стояли у ворот, глядя вдаль и разговаривая шопотом, только Кешин дважды громко сказал:

— Так?

Потом он же внятно и спокойно выговорил:

— А, пожалуй, дождик будет ночью.

Хлебников ушел первый, проходя мимо крыльца, за которым я стоял, он бормотал:

— Дурак . . .

Потом не спеша прошел к себе чистенький бондарь, вздыхая по пути:

— О, Господи . . . Господи!

Я нашел работу и, уходя из дома на рассвете, возвращаясь усталый поздно вечером, потерял возможность наблюдать ленивенькое течение жизни в доме Хлебникова. Мне даже казалось, что она стоит на одном и том же месте, как вода в омуте, где не водится никаких чертей, и нельзя ожидать значительных событий.

Но вдруг эта жизнь разрешилась темной драмой.

В августе, когда на огородах копали свеклу, брюкву и репу, суток двое непрерывно, днем и ночью, шел дождь, то — ливнем лил, то — сыпался по осеннему настойчиво, мелкий и холодный. К утру третьих суток дождь снова хлынул потоками, оглушительно бил гром, сверкали страшные синие молнии, а на рассвете тучи точно рукою смахнуло, и на чисто вымытом небе празднично расцвело удивительно-яркое солнце.

В огород вышли голоногие бабы, подобрав юбки до колен; из окна моего чердака я слышал их веселый хохот, визг, стук железных лопат, отвратительный скрип несмазанного колеса тачки.

Но вдруг все звуки исчезли, точно утонув в серебряных лужах, между гряд. Я шел по двору, на работу в город, когда меня ударило это неожиданно наступившее молчание и затем, через несколько секунд пронзительный бабий визг:

— Девоньки-и — кричите-е!

И десяток голосов сразу создал целый вихрь испуганных криков; по грядам из огорода на двор бросились две девушки, одна кричала:

— Иван Лукич!

А другая:

— Батюшки!

Я бросился в огород, там, у забора, около парников, в раскис-

шей земле лежал вниз лицом Тимка, плотно облепленный мокрой рубахой. Солнце, освещая влажный кумач на его костлявой спине, придавало материи жирный блеск свеже-содранной кожи. Левая его рука, странно изогнувшись, пряталась под грудью, закрывая ладонью лицо, правая откинута прочь и утонула в грязи, торчал только мизинец, удивительно белый.

За спиной у меня раздался густой голос дьякона:

— Это — не молнией, а — лопатой, вот она, лопата!

Босою отекшей ногой он трогал замытую в грязь лопату и, мрачно надувшись, смотрел на Хлебникова, который стоял рядом с ним в пиджаке, в подштанниках и одной галоше.

— Не тронь, — крикнул Хлебников. — До полиции ничего нельзя . . . трогать!

Дьякон поднес к его лицу огромный, красный кулак и громко сказал:

— Это твое дело!

— Чего-о? — взвизгнул огородник, подпрыгнув. — А ты понимаешь, что сказал, а?

Дьякон угрюмо отошел в сторону, а бабы, наваливаясь одна на другую, бормотали:

— Кто же это, кто?

Старостиха, всхлипывая, крестилась и точно молитву читала повторяя:

— Ему не надо — кто, Ему ничего не надо!

Влажный ветер, стряхивая с деревьев листья, осыпал ими живых и мертвого.

Хлебников сипло ругался, а дьякон гудел:

— Это все из-за вас, бабы . . .

День разгорался ярче, сырой воздух, становясь теплее, обдавал запахом бани, укропа. Я смотрел на мизинец Тимофея, жалобно высунувшийся из грязи, на его вспухший затылок, — дождь гладко причесал жесткие волосы, и под ними было видно синюю кожу.

— А где Кешин? — вдруг закричал огородник. — Зовите его!

— Сейчас я схожу, — услужливо предложил дьякон и пошел, тяжело шлепая по лужам босыми ногами. Я отправился за ним. На дворе дьякон тихонько сказал мне:

— Конечно, — это Хлебников . . . верно?

Я промолчал.

— Ты как думаешь?

— Не знаю, кто . . .

— И я не знаю, конечно. Кто-нибудь убил же! Без озлобления — не убьешь. А кто злобился на него? Ага!

Дверь в квартиру Кешина была не заперта, мы вошли, оглянулись, — в полутемной комнате было тихо, пусто.

— Где же он? — бормотал дьякон. — Эй, Кешин!

На столе у окна освещенная солнцем лежала маленькая книжка, я взглянул в нее и прочитал на чистой странице крупные угловатые слова:

Обупокоеніи
новопреставлиннаго раба Семенна.

— Смотри-ко, — сказал я дьякону.

Он взял книжку в руки, приблизил к лицу, прочитал запись вслух и бросил книжку на стол.

— Обыкновенное поминанье . . .

— Его тоже Семеном зовут.

— Ну, так что? — спросил дьякон и вдруг посерел, вздрогнул, говоря:

— Стой — новопреставленного? Ново . . .

Он выбежал в сени, на что-то наткнулся там, загремел и дико зарычал:

— У-у . . .

Потом в двери явилось его туловище, — он, сидя на полу, протягивал руку куда-то в сторону, пытался выговорить какое-то слово и — не мог, дико выкатывая обезумевшие глаза.

Я, испуганный, выглянул за дверь, — в темном углу сеней, около кадки с водою, стоял Кешин, склонив голову на левое плечо и высунув язык, дразнился. Его китайские усы опускались неровно, один торчал выше другого, и черное лицо его иронически улыбалось. Несколько секунд я присматривался к нему, догадываясь, что он повесился, но не желая убедиться в этом. Потом меня вышибло из сеней, точно пробку из бутылки, за мною вылез дьякон, сел на ступенях крыльца и жалобно забормотал:

— Вот, — а я на Хлебникова подумал . . . ах, Господи!

По двору бегали бабы, на огороде кто-то выл.

— Скорей!

Шел Хлебников, держа в руке грязную галошу и пророчески, громко говорил:

— Живущие беззаконно так же и умрут!

— Да будет тебе, Иван Лукич! — заорал дьякон. — Кешин-то повесился . . .

Какая-то баба охнула, и стало тихо. Хлебников остановился среди двора, уронил галошу, потом подошел к дьякону и строго сказал:

— А ты, зверь, меня оклеветал вслух, при всех! Меня!

Не заглянув в сени, он сел на крыльцо рядом с дьяконом, успокоительно говоря:

— Сейчас полиция придет!

Но, высморкавшись, добавил с грустью и благочестиво:

— О, Господи, вскую оставил нас еси?

Потом спросил, косясь в темную дыру сеней:

— На поясе удавился, на шелковом?

Дьякон пробормотал:

— Отстань, Христа ради . . .

Легкий человек.

Утром, часов в шесть, ко мне на постель валится некая живая тяжесть, тормошит меня и орет прямо в ухо:

— Вставай!

Это — Сашка, наборщик, забавный мой товарищ, парень лет девятнадцати, рыжий, вихрастый, с зелеными глазами ящерицы и лицом, испачканным свинцовой пылью.

— Ай-да гулять! — кричит он, стаскивая меня с постели. — Кутнем сегодня, у меня — деньги, шесть двадцать и — Степаха именинница! Где у тебя мыло?

Он идет в угол, к рукомойнику, ожесточенно моется, фыркает и, не умолкая, говорит:

— Слушай, — звезда — по-немецки — астра?

— Это, кажется, по-гречески.

— По-гречески? У нас, в газете, новая корректорша стихи печатает, подписывается — Астра. Фамилия у ней — Трушеникова, а зовут — Авдотья Васильевна. Хорошая дамочка, — красивая, только — очень толстая . . . Дай-ка гребенку . . .

Раздирая гребнем густую рыжую паклю на голове, он морщится, ругается и неожиданно, на полуслове, умолкает, внимательно рассматривая отражение своего лица в мутном стекле окна.

За окном, на кирпичной стене, мокрой от ночного дождя, играет солнце, красит стену. На воронке водосточной трубы сидит галка, чистит перья.

— Рожа у меня плохо выдумана, — говорит Сашка. — Гляди, какая галка нарядная! Дай-ка мне иглу с ниткой, я пуговицу пришью . . .

Он вертится, точно обожженный, так вертится, что ветер ходит сдувая клочья бумаги со стола.

Потом, стоя у окна и неумело работая иглой, — спрашивает:

— Был такой король — Лодырь?

— Лотарь. Зачем он тебе?

— Смешно! Я думал — Лодырь, от него и пошли все лодыри! Сначала — пойдем в трактир, чаю напьемся, потом — к поздней обедне в монастырь, на монахинек поглядим — люблю монахинек! А переспектива — это что?

Он набит вопросами, как погремушка горохом. Об'ясняю ему, что такое перспектива, и он, недослушав, рассказывает:

— Ночью, — в типографию ввалился этот, — фельетонист, — Красное Домино, конечно — пьяненький, как баба и — пристал ко мне: какие у тебя переспективы?

Пришив к пиджаку пуговицу выше, чем следовало, он перекусывает нитку белыми зубами, облизывает красные, пухлые губы и жалобно бормочет:

— Лизочка верно говорит, — надобно читать книжки, а то — так и умрешь мужиком, ничего не зная. А — когда читать? Вот и некогда!

— Ты поменьше бегай за девицами . . .

— Али я — мертвый? Не старик же я! Погоди, — женюсь — перестану!

И потягиваясь, он сладко мечтает:

— Женюсь на Лизочке. Эх, и модница же! У нее, брат, платье есть эдакое, — барежевое, что ли — ух! До того она хороша в нем, что у меня даже ноги трясутся. Так бы всю и с'ел!

Играя роль солидного человека, я замечаю:

— Смотри, тебя не с'ели бы!

Он самонадеянно ухмыляется, встряхнув кудрями.

— Намедни у нас в газете студенты спорили: один говорит — любовь — дело опасное, а другой — нет, безопасное! Ловкачи! Девицы студентов любят, все равно как военных.

Выходим на улицу, — булыжники мостовой, омытые дождем, блестят, как черепа лысых чиновников. Небо загромождено клочьями снежко-белых облаков, среди облачных сугробов гуляет солнце. Крепкий, осенний ветер гонит людей по улице, точно увядшие листья, толкает нас, свистит в ушах. Сашка ежится, засунув руки глубоко в карманы промасленных штанов, на нем легкий летний пиджачек, синяя рубаха, истоптанные, рыжие сапоги.

— По небу полуночи ангел летел, —

читает он в такт шагам. — Люблю эту штуку! Который написал?

— Лермонтов.

— Я его все с Некрасовым путаю.

— И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна.

Прищурив зеленые глаза, он повторяет вполголоса, раздумчиво:

— Желанием чудным полна . . .

— Ах, ты, Господи! Как я это понимаю хорошо! До того даже, что сам бы полетел . . . желанием чудным . . .

Из ворот угрюмого дома выходит девушка, празднично одетая; в юбке, цвета «бордо», в черненькой кофточке со стеклярусом, в золотисто-шелковом платке.

Сашка, сорвав с головы измятый картуз, почтительно кланяется ей:

— С ангелом, барышня!

Милое, круглое лицо девушки ласково улыбается, но тотчас же тонкие брови строго нахмурились, и сердитый голосок полуиспуганно говорит:

— Я вас вовсе не знаю!

— Так это — ничего! — весело отвечает Сашка. — И всегда так: сначала не знают, потом — познакомятся и влюбятся . . .

— Если вы хотите озорничать, — говорит барышня, оглядываясь; улица пустынна, только далеко, в конце ее едет воз капусты.

— Мы — смирные! — уверяет Сашка, идя о бок с девушкой и заглядывая в лицо ей. — Вижу я, что вы именинница.

— Пожалуйста, отстаньте!

Четко щелкая каблуками по кирпичу панели, барышня идет быстрее, — Сашка приостановился и бормочет:

— Можно, отстал. Гордая какая! Эх, костюма нет у меня, подходящего к характеру! Кабы другой костюм, так, не бойсь, заинтересовалась бы.

— Ты почему узнал, что она именинница?

— А — как же? Выпялилась в самое лучшее свое и в церковь идет. Бедный я очень! Эх-ма, кабы денег тьма! Купил бы деревеньку, да и жил по-маленьку . . . Гляди-ко!

Четверо бородатых мужиков вынесли из переулка некрашенный гроб, впереди них, с крышкой на голове, шагает мальчик, а сзади — высокий нищий, с посохом в руке; лицо у него суровое, каменное, идет он и, не отрываясь, смотрит красными глазами на серый нос покойника, высунутый из гроба.

— Плотник помер, — умозаключает Сашка, сняв картуз. — Упокой, Господи, подальше от родных и знакомых!

И, улыбаясь во всю рожу, весело поблескивая неугасимыми глазами, Сашка об'ясняет:

— Покойника встретить — удачу сулит. Сворачивай!

Мы входим в трактир «Москва» в маленькую комнатку, тесно заставленную стульями и столами; на столах — розовые скатерти, на окнах — голубые выцветшие занавески и много цветов в горшках, над цветами — канарейки в клетках. Пестро, тепло и уютно.

Заказав жареной колбасы, чаю, полбутылки водки и десяток папирос «Персичан», — Сашка барином усаживается за стол у окна и рассуждает:

— Люблю жить вежливо, с уважением. Ты, вот, все рассуждаешь: то — не так, это — не так, а — почему? Все, как надо. У тебя характер нечеловечий, несогласный. Ты, брат, какой-то ер, — слово и без ера понятно, ну — для порядка, — для красоты, что ли, — ставят ер в конце.

Пока он пробирает меня, я, глядя на него, думаю:

«Сколько жизни вмещено в этом парне! Человек, вместивший так много, не пройдет жизнь, не замечен людьми.»

А ему уже надоела проповедь, он взял нож и, шаркая им по тарелке, раздражает птиц. Комната оглашается пронзительными трелями канареек.

— Заорали! — удовлетворенно говорит Сашка, бросая нож, и, запустив пальцы в рыжие свои волосы, думает вслух:

— На Лизочке — не женишься, где там! Может, — так, как-нибудь выйдет, — влюбится она в меня? Я ее — без ума люблю!

— А Зина как же?

— Ну, Зинка — простёха, а Лизочка — модница, — об'ясняет Сашка.

Он — сирота, подкидыш; семи лет он уже работал у скорняка, потом у водопроводчика, два года жил подручным на мельнице у монахов и уже второй год — наборщик. Работать в газете ему

очень нравится. Грамоте он научился между делом, незаметон для себя, и грамота сильно тянет его к своим тайнам. Особенно любит он читать стихи и даже сам пишет, — иногда он приносит мне испачканные свинцом клочья бумаги, на ней вытянуты в правильные строчки каракули карандаша. Стихи всегда одного содержания и такой, приблизительно, формы:

— Я полюбил тебя с первого разу,
Как только увидал на Черном Озере,
И все теперь думаю про твою красу,
Радость моя и мое горе!

Когда я говорю ему, что это еще не стихи, — он удивляется:

— Отчего? Видишь — у и здесь — у; здесь — е и тут — е!

— А ты вспомни, как звучат стихи Лермонтова . . .

— Ну, так он долго учился, а я — только начал! Погоди, я тоже привыкну.

Его самонадеянность уморительна, но — в ней нет ничего неприятного. Просто, он уверен, что жизнь влюблена в него, как прачка Степаха, он может делать все, что хочет, и всюду его ждет успех.

Монастырский колокол неуверенно зовет к поздней обедне. Канарейки замолчали, прислушиваясь к звону, от которого дребезжат стекла в рамах.

Сашка бормочет:

— Итти к обедне, али нет?

И решает:

— Идем!

Дорогой он жалобно возмущается:

— Скажи, пожалуйста, что за диво? Всегда в монастыре скучно мне, а ходить я туда все-таки люблю! Монахиньки эти, молоденькие, — жалко их!

В храме он становится у притвора, где стоят нищие и разные мытари; его зеленоватые глаза широко, удивленно раскрыты и смотрят на клирос, где стоит толпа белолицых клирошанок в острых шлычках. Все они — прямые и точно вырублены из черного камня. Поют согласно, и что-то удивительно чистое звучит в серебряных голосах. Блестит золото иконостаса, стекла киотов отражают огоньки свеч, похожие на золотых мух.

Вздыхают мытари и шепчут свои скромные молитвы, поднимая

выцветшие глаза в купол храма. Будни, народа немного, пришли только те, кому нечего делать, некуда девать себя.

Впереди Сашки стоит, перебирая четки, большая монахиня в клобуке; Сашка — по плечо ей, и привстает на цыпочки, чтоб заглянуть в ее круглое лицо, в невидимые ему глаза, — привстал и нахально заглядывает, полуоткрыв рот, как для поцелуя.

Монахиня, чуть наклонив голову, двигает шеей и смотрит на него, как сытая кошка на мышь; он сразу осел, дернул меня за рукав и вышел на паперть.

— Ух, как она поглядела на меня! — говорит он, испуганно закрыв глаза. Потом, вытащив картуз из кармана пиджака, отирает им потное лицо и морщится.

— Уй, как она . . . словно я — чорт! Даже сердце у меня ёкнуло!

И смеется:

— Должно быть, солон ей пришелся наш брат!

Он — добрый, Сашка, но жалости к людям у него нет. Он может дать денег нищему больше и дает охотнее, чем богатый, но он дает потому, что не любит нищету. Маленькие драмы буден не вызывают его сочувствия, он рассказывает о них — смеясь:

— Знаешь, — Мишка Сизов в тюрьму попал! — говорит он оживленно. — Ходил-ходил, искал-искал работы, да и украл зонтик, его схватили, — не умеет воровать! К мировому. Я иду, — глядь, а его, как барана, будочник ведет. Морда бледная, губы распустил. Кричу: Мишка! А он молчит, будто не узнал меня.

Мы заходим в лавку, где Сашка покупает фунт мармеладу, об'ясняя мне:

— Надо бы Степахе кондитерский пирог купить, да я не люблю этих пирогов, мармалад — лучше!

Купив еще пряников и орехов, он заходит в винный погребок и покупает две бутылки наливок; одна цвета сурика, а другая — купоросного масла. Затем, шагая по улице с кульком под мышкой, он на ходу сочиняет историю монахини:

— Здоровенная женщина! Наверное — лавочницей была, обличье — бакалейное. Вот, наверное, мужа-то обманывала! А он, поди, жиденький был . . . До чего эти бабы ловкие! Например — Степаха . .

Но мы уже подошли к воротам коричневого домика с зелеными ставнями. Сашка, хозяйским пинком ноги, открывает калитку и, ухарски сдвинув картуз набекрень, шествует по двору, засыпанному желтым листом березы, липы и бузины. В глубине двора, приткнувшись к забору сада, торчит баня, обложенная дерном до высоты окон. На крыше ее желто-зеленый мох, над крышей качаются ветви деревьев, неохотно роняя листья. Баня похожая на жабу, смотрит на нас двумя окнами угрюмо и недоверчиво.

Нам открывает дверь дородная женщина лет сорока, с большим, рябым лицом и веселыми глазами, ее крупные красные губы ласково улыбаются.

— Какие дорогие гости, — поет она, и Сашка, взяв ее за толстые плечи, говорит в лицо ей:

— Со днем ангела, Степанида Якимовна, и принямши святых тайн!

— Да я не причащалась!

— Ну, все едино!

Он троекратно целует ее в губы, потом оба они отирают следы поцелуев, она — ладонью, а Сашка — тульей картуза.

В темном передбаннике, заставленном корчагами, корзинами и корытами, возится около самовара дочь Степахи, Паша, подросток; у нее большие, тупо изумленные глаза рахитика и чудесная толстая коса, нежно золотистого цвета.

— С именинницей, Паня!

— Ладно, — отвечает девочка.

— Чучело! — внушает ей Степаха. — Надо сказать — благодарствую!

— Да — ладно! — с сердцем повторяет девочка.

Треть жилища прачки занимает большая печь; там, где когда-то был полок, стоит широкая кровать, в углу, под образами, стол, покрытый к чаю, у стены — широкая скамья, на нее удобно поставить корыто. В открытое окно смотрит глазами нищей мохнатая собака, положив на подоконник тяжелые лапы со сломанными когтями; на окнах — горшки герани и фуксии.

— Умеет жить, — говорит Сашка, оглядывая убогую комнату и подмигивает мне: — дескать — это я шучу!

Хозяйка озабоченно вынимает из печи пирог и щелкает ногтем по его румяной корке. Паша вносит самовар, светлый, как

солнце, и угрюмо косится в сторону Сашки, а он говорит, облизывая губы.

— Чорт! Надо мне жениться — люблю пироги!

— Женятся не ради пирогов, — разумно замечает Степаха.

— Я понимаю!

Полногрудая прачка весело смеется, но глаза ее смотрят серьезно, когда она говорит:

— Успеешь жениться и меня забыть успеешь.

— А ты скольких забыла? — спрашивает Сашка, ухмыляясь.

Степаха тоже улыбается; одетая пестро не по годам, она похожа не на прачку, а на сваху, на гадалку.

Дочь же ее, точно тихий гномик грустной сказки, лишняя среди нас, да, кажется, и вообще лишняя на земле. Ест она осторожно, точно это не пирог, а костистая рыба. И почти каждую минуту ее большущие глаза медленно передвигаются в сторону Сашки; на его тонкое, подвижное лицо, девочка смотрит странно, как слепая.

Под окном просительно и тихо ноет собака, с улицы доносится медная военная музыка, мерный, тяжкий топот сотен ног, большой барабан глухо отбивает такт марша.

Степаха говорит дочери:

— Что не бежишь на солдат глядеть?

— Не хочу.

— Славно, — восклицает Сашка, бросая собаке корку пирога. — Как-будто ничего больше и не надо мне!

Степаха смотрит на него глазами матери, оправляя кофту на высокой груди.

— Ну, и — врешь, — говорит она, вздохнув. — Тебе много надо . . .

— Я — не вру, это я про сейчас сказал; — сейчас мне ничего не надо; вот только Панька не ковыряла бы меня глазами.

— Больно нужно мне, — тихо и презрительно заметила девочка; мать ее сердито сдвигает брови, но — молчит, поджав губы.

Сашка беспокойно передернулся, искоса поглядел на девочку и заговорил горячо:

— Есть у меня какая-то дыра в душе, ей-богу! Хочется, чтоб душа была полна, спокойна, а я ничем не могу ее набить. Ты понимаешь, Максимыч, — когда мне нехорошо, так я хочу, чтоб

было хорошо, а добьюсь хорошего часа, — так мне делается скушно! Отчего это?

Ему уже «сделалось скучно», я вижу это: живые глаза его беспокойно бегают по комнате, щупая ее убожество, в них горят едкие критические огоньки. Ясно, что он чувствует себя человеком, который попал не на свое место, но только сейчас догадался об этом.

Он пламенно говорит о беспорядке жизни, о слепоте людей, которые не видят этого обидного беспорядка, привыкли к нему. Мысли его мечутся, как испуганные мыши, и трудно следить за их быстрой путаницей.

— Неправильно поставлено все, — вот, что я вижу! Стоит церковь, а рядом — пес знает что! Иннокентий Васильевич Земсков стихи печатает, пишет:

— Благодарю за те мгновенья,
Что освещают сердца тьму,
За сладкий миг прикосновенья
К святому телу твоему, —

а сам у сестры неправильно дом отсудил и намедни горничную свою, Настю, за косу драл . . .

— За что? — спрашивает Степаха, разглядывая свои стертые руки, красные, как лапы гусыни; лицо у нее каменное, глаза она прячет.

— Не знаю, за что . . . Та хотела даже к мировому подать, ну — он дал ей три рубля; отказалась. Дура!

Сашка неожиданно вскакивает со стула.

— Ну, нам пора итти!

— Куда? — спрашивает хозяйка.

— Дело есть, — врет Сашка. — Вечером я приду . . .

Он протягивает руку Паше, та смотрит на его пальцы, несколько секунд не решается коснуться их, потом пожимает руку Сашке так, точно отталкивает ее.

Уходим. На дворе Сашка бормочет, туго натягивая картуз:

— Чорт . . . Не любит меня девчушка . . . Да и мне стыдно пред нею. Не приду я вечером . . .

Неприятные мысли, точно сыпью, выходят на его лицо, он краснеет.

— Надобно бросить Степаху, — это нехорошее баловство! И вдвое старше она меня, и все . . .

Но, свернув за угол улицы, он уже ухмыляется и размышляет тепло, без тени хвастовства:

— Любит она меня, как цветок холит, ей-богу, право! Даже — совестно. До того иной раз хорошо с ней . . . лучше матери родной! Замечательно. Эх, бабы, — знаешь, брат, трудно с ними! Хороший народ, между прочим . . . Очень много надо любить их . . . а — разве угодишь на всех?

— Так ты бы хоть одну хорошо полюбил, — предлагаю я.

— Одну, одну,—задумчиво ворчит он.—Попробуй-ка одну-то...

Он смотрит вдаль, за синюю полосу реки, на рыжие луга, на черный встрепанный осенним ветром кустарник, бедненько одетый золотом листьев. Лицо Сашки мило-задумчивое, видно, что он по горло сыт приятными воспоминаниями, и они играют на душе его, как лучи солнца на воде ручья.

— Сядем, — предлагает он, остановясь у глинистого обрыва, за стеною монастыря.

Ветер гонит клочья облаков, по лугам летят тени; на реке стучит рыбак, конопатит лодку.

— Слушай, — говорит Сашка, — давай, поедем в Астрахань?

— Зачем?

— Так. А то — в Москву?

— А как же — Лиза?

— Лиза . . . н-да-а . . .

И в упор глядя на меня, спрашивает:

— Влюбился я в нее, али нет еще?

— Ты бы околодочного спросил об этом.

Он хохочет; смех у него легкий, ребячий. Взглянул на солнце, на тени и вскакивает на ноги.

— Сейчас конфетчицы выйдут, — айда!

Он быстро шагает в улицу, озабоченный, засунув руки в карманы, нахлобучив картуз на глаза. Из ворот одноэтажного, казарменной постройки, дома, одна за другою шумно выбегают девицы в платочках и серых передниках. Вот и Зина, стройная брюнетка с монгольским лицом и раскосыми глазами в красной кофте, туго охватывающей ее бюст.

— Идем кофей пить, — говорит Сашка, хватая ее за руку, и сразу же торопливо начинает:

— Неужто ты все-таки выйдешь за эту плешивую собаку? Ведь, он тебя ревновать будет . . .

— Всякий муж должен ревновать, — серьезно говорит Зина.
— А что — за тебя итти?

— И за меня — не надо!

— Брось, — говорит девица, хмурясь. — Что не работаешь?

— Гуляю.

— Эх, ты . . . Не хочу я кофею.

— Вот еще! — восклицает Сашка, увлекая ее за собою в дверь булочной; там, сидя у окна за маленьким столиком, он спрашивает Зину:

— Ты мне веришь?

— Верю всякому зверю, лисе и ежу, а тебе — погожу! — медленно отвечает конфетчица.

— Ну, тогда я пропал через тебя!

Сашка уверен, что в эту минуту он переживает сердечную драму, — губы у него дрожат, глаза увлажнены, он — искренно взволнован.

— Ну, — пропал я, утопился в своих слезах, ладно, туда мне и дорога, если я не умею счастья поймать. Только и тебе сладко не будет! Уж я тебе покою не дам. Пускай он — домохозяин и лошади у него, ну, а ты — ни куска не с'ешь, меня не вспомнив! Так и знай . . .

— Пора перестать мне в куклы играть, — тихо и сердито говорит конфетчица.

— Я для тебя — кукла, да?

— Не про тебя сказано.

— Вот, Максимыч, гляди на них! Змеиная порода, никакого чувства нет. Ужалит в сердце, ты — страдаешь, а она говорит: ах, ты, кукла!

Сашка возмущен, у него даже руки дрожат, а глаза гневно потемнели.

— Как жить с эдакими? — спрашивает он.

«Хороший актер» — думаю я, наблюдая за ним почти с восхищением.

Его игра явно подкупает конфетчицу, трогает ее; вытерев губы уголком платка, она ласково спрашивает:

— В воскресенье ты свободен?

— От — чего? От тебя?

— Не дури . . . Поди-ка сюда . . .

Они отходят в сторону, и Сашка, сверкая глазами, вполголоса

пламенно и долго говорит что-то, а девица восклицает раздраженно и тоскливо:

— Господи! Да какой же ты муж?

— Я? — кричит Сашка. — Вот какой!

И не стесняясь соседней булочницы, быстро и крепко обняв девушку, он целует ее в губы.

— Что ты? — пугливо и сконфуженно вскакивает она, вырываясь. — Сумасшедший . . .

Она птицей вылетела за дверь, а Сашка, устало присаживаясь к столу, говорит, неодобрительно качая головой:

— Ну — характер! Зверь, а не девица.

— Чего тебе надо от нее?

— Не хочу, чтобы она выходила за плешивого кучера! Безобразие какое . . . Не могу, не люблю я этого!

Допив остывший кофе, он, видимо, уже забыл, пережитую драму и лирически рассуждает:

— Знаешь, — в праздник ли, или в будни, когда девицы кучей идут куда-нибудь, — гуляют или с работы, из гимназии, — так у меня даже сердце дрожит! Господи-Боже, думаю, сколько их! И, ведь, каждая кого-нибудь любит, ну — еще не любит, так завтра полюбит, через месяц — все едино! Тут я понимаю: это жизнь! Разве есть что лучше любви? Ты только подумай — что такое ночь? Все обнимаются, целуются, — эх, ты, брат! Это — такое, знаешь . . . этого даже и не назовешь никак! Действительно — послал нам Бог радость . . .

Вскочив со стула, он говорит:

— Ай-да, пошляемся по городу!

Небо затянуто серой тучей, моросит дождь, мелкий, точно пыль. Холодно, сыро и печально. Но Сашка, ничего не видя, кутается в свой легкий, летний пиджачок и, неумолкая, говорит обо всем, что схватывают его жадные глаза в окнах магазинов — о галстухах, револьверах, детских игрушках и дамских платьях, о машинах, конфектах и церковной утвари. Крупные, черные буквы театральной афиши бросаются в глаза ему.

— «Уриель Акоста» — это я видел! А — ты? Ловко говорит еврей, — помнишь? Только, — все это не правда: в театре они — один народ, а на улице, на базаре — другой. Я люблю веселых людей, — евреев, татар, ты гляди, как хорошо татары смеются . . . Хорошо, когда в театре не настоящее показывают, а

что-нибудь издалека — бояр, иностранцев. А за настоящее — покорно благодарю, у самих много! Ну, а если настоящее, так уже во всей правде и без жалости! В театре надо бы детям играть, уж они, когда играют, так по настоящему!

— Да ведь ты настоящего не любишь?

— Почему? Ежели интересно, так люблю . . .

Снова выглянуло солнце, неохотно освещая мокрый город. Мы бродим по улицам до вечерен, а в час, когда монастырский колокол зовет к службе, — Сашка тащит меня на пустырь, к забору сада, который принадлежит строгому чиновнику Ренкину, отцу прекрасной девицы Лизы.

— Погоди меня — ладно? — просит он, вскакивая на забор, точно кошка; уселся на столбе и тихонько свистит; потом радостно и вежливо сорвав картуз с головы, беседует с девицей, невидимой мне, извиваясь и рискуя свалиться.

— Здрассте, Лизавета Яковлевна!

Мне не слышно, чем отвечают с той стороны забора, но в щель между досками я вижу сиреневую юбку и тонкую кисть белой руки с большими садовыми ножницами в ней.

— Нет, — грустно врет Сашка, — не успел, не прочитал, у меня ведь работа каторжная, ночная, а днем выспаться надо, и — товарищи одолевают. Набираешь букву за буквой и все думаешь про вас . . . Да, конечно. Только, — я не очень люблю сплошной шрифт, вот — стихи гораздо легче читать . . . Можно спрыгнуть к вам? Почему — нельзя? Некрасов? Да . . . очень, только у него про любовь мало говорится . . . Зачем же вы сердитесь? Подождите, — разве это обидно? Вы спросили — что мне нравится, а я сказал, что больше всего — любовь, — она всем нравится . . . Лизавета же Яковлевна, — постойте . . .

Он замолчал, свисая в сад, как пустой мешок, потом, выпрямившись, несколько секунд сидит на заборе унылой вороной, похлопывая козырьком картуза по колену. Заходящее солнце красиво освещает его рыжие вихры, ветер ласково треплет их.

— Ушла, — сердито говорит он, спрыгнув на землю. — Обиделась, что я книгу не прочитал, — чорт ее дери, книгу! Дала какой-то утюг, — книга! Полтора вершка толщины . . . Идем!

— Куда?

— Все равно.

Сашка идет медленно, нога за ногу, лицо у него усталое,

глаза обиженно заглядывают в окна, освещенные косыми лучами солнца.

— Ведь, полюбит же кого-нибудь, — жалуется он. — Вот и полюбила бы меня. А ей надо, чтоб я книжки читал. Нашла дурака! У нее такие глаза, что свету Божьего не видишь, а она — читайте книжки! Даже — глупо. Конечно, — я не пара ей . . . Ну, так ведь — Господи! Не всегда же свой своего любит!

Помолчав минуту, он тихонько бормочет:

— И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна . . .

— Да и осталась старой девой, дура!

Я смеюсь, а он, удивленно посмотрев на меня, спрашивает:

— Чепуху говорю? Эх, брат, Максимыч, — сердце у меня растет и растет без конца, и будто я весь — только одно сердце!

Мы снова на краю города, но уже на другом, противоположном краю; пред нами — поле, вдали Институт благородных девиц, большой белый дом, за высокой кирпичной решеткой в каменных столбах. Черные деревья окружают дом.

— Книжку я ей прочитаю, это меня не убьет, — рассуждает Сашка. — Переспектива . . . чорта с два! Вот что, брат, — пойду к Степахе . . . пойду, положу голову на коленки ей и буду спать. Потом — проснусь, выпьем и опять спать. У ней и ночую. А не плохо день сожгли мы с тобой?

Он крепко тискает мою руку, ласково смотрит в глаза мне.

— Люблю я гулять с тобой; и рядом ты и, будто, нет тебя. Ничему не мешаешь. Это и есть — настоящий товарищ!

Сказав столь сомнительный комплимент, Сашка повертывается и быстро идет назад в город. Руки у него засунуты в карманы, картуз едва держится на затылке, он посвистывает. Такой тонкий, острый, точно гвоздь с золотой шляпкой. Мне жалко, что он идет к Степахе, но я понимаю — надо же Сашке отдать себя кому-нибудь, надо же ему растратить богатства души своей!

В спину ему уперлись красные лучи солнца и точно толкают парня.

На земле холодновато, в поле — пусто, город тихонько рычит, Сашка наклонился, поднял камень, и, размахнувшись, далеко бросает его.

Потом кричит мне:

— До увиданья!

„Страсти-Мордасти".

Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидал странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом ёмкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную, глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. — Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась, — пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

— Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

— Дьявол, — бормотала она. — Не пойду! Проживу без тебя . . . поживи без меня . . . краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

— Кто скандалит?

Я сказал ему, что — боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот, хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

— Машка — вылазь!

— Не хочу.

— А я те говорю — вылазь!

— А я не вылезу.

— Вздую, подлая, — не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне. — Это здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

— Начальники. Я сама себе начальница . . . Захочу — купаться буду . . .

— Я те покупаюсь, — предупредил ее сторож, бородатый, крепкий старик. — Эдак-то, вот, она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней — сын безногой . . .

— Далеко живет? . .

— Убить ее надо, — сказал сторож, не ответив мне.

— Отвести бы ее домой, — предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжко топая сапогами по липкой земле.

— Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

— Как по-о мор-рю . . .

Не далеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью, — отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня:

— Ну — бей, бей! Ничего, — бей . . . Ах, ты, зверь . . . ах, ты, Ирод . . . ну — бей!

Приставив ее забору, я спросил — где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидал, что переносье у нее провалилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

— Ладно, идем, — сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

— Идем, милый, — ворчала она, как-будто трезвея. — Я тебя приму . . . Я те дам утешеньице . . .

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома, осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков,

рассыпанных поленниц дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне.

— Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая расползавшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

— Мамка — ты? — спросил во тьме тихий голос.

— Я-а . . .

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

— А кто же придет к тебе. Я-а, — говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая, смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

— Утешеньишко мое, — сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол, — там, едва возвышаясь над кирпичем пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами, — личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной, сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

— Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

— Ее надо раздеть, — сказал я.

— Так раздевай, — отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки, — он спросил тихо и деловито:

— Огонь-то — погасить?

— Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной, — печатными буквами, — надписью:

ОСТОРОЖНО.
Т-во Н. Р. и Ко.

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

— Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

— Теперь — гасить лампу?

— Как хочешь.

— А ты — уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

— С ней.

— Зачем? — спросил я глупо и удивленно.

— Сам знаешь, — сказал он страшно просто и, потянувшись, прибавил:

— Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня — чело уродливой печки, на шестке — грязная посуда, в углу — за ящиком — куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

— Можно посидеть с тобой? — спросил я мальчика.

Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

— Она, ведь, до утра уж не проснется.

— Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

— Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет . . .

Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

— Пьяная, потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая все равно . . .

Теперь я рассмотрел его глаза, — они действительно мохнаты, ресницы их удивительно длинны, да и на веках густо росли

волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых рыжеватых волос. Неописуемо выражение его глаз, — внимательных и спокойных, — я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

— У тебя — что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

— Вот какие ноги. Обе такие, с роду. Не ходят, не живут, а — так себе . . .

— А что это в коробочках?

— Зверильница, — ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил:

— Хошь — покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

— Гляди, — не открывай, а то — убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

— Шевелится кто-то . . .

— Ага! Это — паучишко там сидит, подлец! Его зовут — Барабанщик. Хитрый . . .

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом — к моему и оживленно рассказывал:

— А тут — таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это — муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а — чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это — черный таракан, большущий, — Хозяин; он — ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь — жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он — странник из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его — Дешевый;

он тоже любовник ей. У нее любовников — сколько хочешь, как мух, даром что безносая.

— Она тебя не бьет?

— Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну, — на нашей улице — все пьяницы. Она — красивая, веселая, тоже . . . Очень пьяница, курва! Я ей говорю: перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь, — а она хохочет. Баба, ну и — глупая! А она — хорошая, вот проспится — увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

— Хорошая зверильница? — спросил мальчик с гордостью.

— Очень.

— Бабочков нету вот у меня, — бабочков и мотыльков!

— Тебя как зовут?

— Ленька.

— Тезка мне.

— Ну? А ты — какой человек?

— Так себе. Никакой.

— Ну, уж врешь! Всякий человек — какой-нибудь, я ведь знаю. Ты — добрый.

— Может-быть.

— Уж я вижу! Ты — робкий, тоже.

— Почему — робкий?

— Уж я знаю.

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

— А почему, все-таки, робкий?

— Вот — сидишь со мной, значит — боишься; ночью-то итти!

— Да ведь уж — светает.

— Ну, и уйдешь.

— Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые, мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

— Зачем?

— Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно притти?

— Валяй. К нам все ходят . . .

Вздохнув, он сказал:

— Обманешь.

— Ей-богу — приду!

— Тогда — приходи. Ты уж — ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты — давай дружиться со мной, — ладно?

— Ладно.

— Ну, вот. Ничего, что ты большой; тебе — сколько годов?

— Двадцать первый.

— А мне — двенадцатый. У меня — нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит . . . Ты — вор?

— Нет. Почему — вор?

— У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один — Сашка, дурак и злой, а другой — Ваничка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

— Принесу.

— Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь . . .

— Почему?

— Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, — любит мужчинов, шкуреха, — просто беда! Она — смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась — родила меня и сама не знает — как! Ты — когда придешь?

— Завтра вечером.

— Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруешь?

— Баварским квасом торгую.

— Ой-ли? Принеси бутылку, а?

— Конечно — принесу! Ну, я пошел.

— Валяй. Придешь?

— Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие, холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы, под стеною дома, смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, красноролжий мужик, торчала в небо густая, жесткая борода — в ней светились белые зубы, — казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо — голубое и розовое, — эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту...

На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек, и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфект и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза, — при дневном свете они были еще чудесней.

— У-ю-юй, — заговорил он низким, не ребячьим голосом, — сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это, — богатый, а плохо одетый и, говоришь, — не вор? Вот так коробочки! Ую-юй, — даже жалко тронуть, руки у меня не мытые. Там — кто? Юх, — жучишко-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, чорт . . . А — выбегут, да улетят? Ну, уж . . .

И вдруг весело крикнул:

— Мамк! Слезь, вымой руки мне, — ты погляди, курятина, чего он, принес! Это — он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник, — это он все! Его тоже Ленька зовут . . .

— Спасибо надо сказать ему, — услышал я сзади себя не громкий, странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

— Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли,

сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, — невольную, нестираемую улыбку.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — повторила женщина; ее гнусавый голос звучал не громко, но — бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и, как-будто, насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки, — ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

— Убег, стой, — убег! — закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие, неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

— Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

— Эдаких — много!

— Не задави, — строго предупредил ее сын. — Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

— А ты забудь про то, утешеньице мое.

— Уж я хоронил-хоронил . . .

— Я же тебе сама и наловила их после.

— Наловила! Те были — ученые, которих задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище . . . Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем, как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый . . .

— Ах, ты, утешеньишко мое милое, — сказала женщина, поглаживая кудри сына темной, маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом толкнув меня локтем спросила, улыбаясь глазами:

— Хорош сынок? Глазки-то, а?

— Ты возьми один глаз, а ноги — отдай, — предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. — Какой . . . железный! Толстый. Мам, он — на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала — помнишь?

— Ну, как же!

И посмеиваясь, она стала рассказывать мне.

— Это, видишь, ввалился, однова, к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я — с роду не слыхала про такие лестницы; нет, говорю, не смогу я! «Так, я говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой не толстой окружено, — длинная веревища да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: на что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

— Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю, — скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна! А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это — через стену перелезать; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, — поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали . . .

— Уж ты у меня хохотать любишь, — сказал мальчик тоном старшего. — А вот самовар бы поставила . . .

— Так сахару же нету у нас.

— Купи, поди . . .

— Да и денег нету.

— Уй, ты, пропивашка! У него возьми, вот . . .

Он обратился ко мне:

— У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар измятый, чумазый и скрылась за дверью, напевая в нос.

— Мамка! — крикнул сын вслед ей. — Вымой окошко, ничего не видать мне! — Ловкая бабенка, я тебе скажу! — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми — полочки, из картона, были привешены на бичевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. — Работница . . . как начнет паклю щипать, — хоть задохнись, такую пылищу пустит! Я кричу: мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь

я тут! А она: потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет. Любит она меня, да и все. Щиплет и поет, песен она знает тыщу.

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

— Вот Орина на перине лежит . . .

Послушав немножко, я сказал:

— Очень похабная песня.

— Они все такие, — уверенно об'яснил Ленька и вдруг встрепенулся. — Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня . . .

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой, тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака, — Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы, ныл прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла не мытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала; чей-то хриплый голос прорычал:

— Р-рвань!

— Сними, — сказал Ленька, вздыхая, — прогнали . . .

Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

— Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом не хорошо мне. Слушай, — ты чертей видал?

— Нет.

— И я тоже. Я, ночью, все в подпечек гляжу — не покажутся ли? Не показываются. Ведь, черти на кладбищах водятся, верно?

— А на что тебе их?

— Интересно. Вдруг один чорт — добрый? Водовозова Катька видела чортика в погребе, — испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

— Я люблю, даже, — страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, — листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то — мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит кусочек и выплюнет. А то — дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновницына кошка бежит. . .

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

— Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то — Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и все. А, — слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он выростет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

— Если хорошо кормить — выростет!

— Ну, да! — радостно вскричал он. — А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

— Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади — верно?

— А что ж? Можно!

— Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

— Мухи бы летали по собаке величиной. А на тараканах можно бы кирпич возить, — если он — с лошадь, так он сильный! Верно?

— Только вот усы у них . . .

— Усы не помешают, они — как вожжи будут, усы! Или — паук ползет, — агромадный, как — кто? Паук — не боле котенка, а то — страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

— Бывал, как же.

— Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал, внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротишко открывался медленно, как-будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нея торчал бумажный мешок, из-за пазухи бутылка водки.

— Вот она-я!

— Ло-овко, — вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. — Ничего нет, только трава, да цветы. Мамка, ты бы, вот, нашла тележку, да свезла меня в чистое поле. А то — издохну и не увижу никогда. Шкура ты мамка, право! — обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

— А ты — не ругайся, не надо! Ты еще маленький . . .

— Не ругайся! Тебе — хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты — счастливая . . . Слушай-ка, — обратился он ко мне — это Бог сделал поле?

— Наверное.

— А зачем?

— Чтобы гулять людям.

— Чистое поле! — сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. — Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их, — гуляй, домашние! А, слушай-ка! — Бога делают где — в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, — опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

— О, — чтоб те . . . о, Господи! Утешеньишко ты мое: Да, чай, Бога-то — богомазы . . . ой, смехота моя, чудашка . . .

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

— Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

— Пускай смеется, — сказал я, — это тебе не обидно!

— Нет, не обидно, — согласился Ленька. — Я на нее сержусь только, когда она окошко не моет; прошу, прошу: вымой же окошко, я света Божьего не вижу, а она все забывает . . .

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

— Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он — утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы . . .

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

— Ты — дурак?

— Не знаю. А что?

— Мамка говорит — дурак!

— Так ведь я — почему? — воскликнула женщина, ни мало не смущаясь. — Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а — сам ушел, на-те-ко! Я, ведь, не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у, какой . . .

Она говорила тоже как ребенок, строй ее речи напоминал девочку подростка. Да и глаза у нее были детски-чистые, — тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и — веселая насмешка.

— Ну, давайте чай пить, — предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром, — мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

— Вырасту большой, — говорил он, — сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.

— Охо-хо, — вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. — Раем видит поле-то, милый. А там — лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

— Врешь, — остановил ее Ленька, нахмурясь. — Спроси-ка его, какое оно, он видел.

— А я — не видала?

— Пьяная-то!

Они начали спорить совсем как дети, так же горячо и не логично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

— Наелся, напился, — даже спать захотелось, ей-богу . . .

— И усни, — посоветовала мать.

— А он — уйдет! Ты уйдешь?

— Не бойсь, я его не пущу, — сказала женщина, толкнув меня коленом.

— Не уходи, — попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:

— Ты бы, вот, выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы, — а то, валандаешься зря со всяким . . . только бьют . . . А он — добрый . . .

— Спи, знай, — тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

— Он — богатый . . .

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

— Так, вот, мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе — распутная! А — что ж? Мне стыдиться некого. К этому же, — видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

— Да. Очень!

— Не налюбуюсь. Умница, ведь?

— Мудрец.

— То-то! Отец у него — барин был старичек; этот — как их зовут? Конторы у них, — ах, ты! Бумаги пишут?

— Нотариус?

— Вот, он самый. Милый был старичек . . . Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

— Вдруг — помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол, — только и житья! Вы — квасом торгуете?

— Квасом.

— От себя?

— От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

— Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

— Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

— Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы . . .

— Надобно мне итти, — сказал я.

— Куда? — удивленно спросила она.

— Дело есть.

— Останьтесь!

— Не могу . . .

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала не громко:

— А то — останьтесь. Я рожу-то платком прикрою . . . Хочется мне за сына поблагодарить вас . . . Я — закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи, — так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее — детские глаза на безобразном лице, — улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

— Мамка, — вдруг крикнул мальчиик, вздрогнув, приподнявшись — ползут! Мамка же . . . иди-и . . .

— Приснилось, — сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумьи остановился, — из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

— Придут Страсти-Мордасти
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

На Чангуле.

. . . Степь раскалена солнцем, как огромная сковорода, по средине этой рыжей сковороды жарюсь я, несчастный ерш.

Выскакивают из нор суслики и, стоя на задних лапках, чистят передними свои хитрые мордочки, тонко пересвистываясь друг с другом. В них есть что-то общее с монастырскими послушниками.

По солончаку ползают заботливые букашки, трещат кузнечики и прыгают пред лицом моим маленькими, серыми сучками.

В пустом синем небе, немного правее и чуть-чуть пониже солнца, распластался коршун, такой же одинокий, как я на земле. Больше нет ничего живого ни в знойной высоте, ни на рыжем круге горячей земли, видимой мне; эту землю, — бесплодную, изсохшую, как старая дева, — простые люди зовут «Дикое поле», ученые — «Малая Тартария».

Унылая земля . . .

Я прижался голой грудью к прохладному инею солончака; земля источает прямо в сердце мне острую, жгучую тоску, но это не та тоска, которая, раз'едая душу ржавчиной желаний неясных и больных, убивает ее, это — давняя моя подруга и законная дочь моей веры в силу жизни.

Я — человек лет двадцати двух, но уже успевший испить из огромной чаши жизни множество ядовитой горечи; — эта приучило меня рассуждать больше, чем следует.

Моя тоска, должно-быть, то самое, что именуют душою человека, это — существо, живущее в моей груди, оно всегда с неустанной силой толкает меня куда-то вперед, все дальше, неугасимо разжигая сердце огнем желаний лучшего, мучая надеждой на сказочное счастье, взятое с боя.

Кроме этой тоски — со мной моя жадная юность; издыхая

от голода, одиночества, она готова все принять, всех любить; она любит смеяться надо всем — и над моей незрелой мудростью. Моя юность самая милая и опасная половина существа моего, ибо — слишком ненасытная, — она недостаточно брезглива и, как молодой козленок, плохо отличает жгучую крапиву от вкусных, душистых трав.

Это, неясно показанное, раздвоение личности переживалось мною весьма мучительно и нередко заставляло меня создавать драмы там, где можно бы ограничиться веселой игрою в легкой комедии.

Впрочем, — все это мало интересно и едва ли относится к истории, которую я хочу рассказать Вам, единственному человеку, с которым — заочно — я умею говорить так же легко и просто, как беседую с самим собою в минуты грусти.

Так вот, — я лежу в «Диком поле» и, положив подбородок на кулаки, смотрю в даль, к югу, где струится марево; в его прозрачном серебре качаются, маячат какие-то окаянные, серые былинки, — такою же окаянной былинкой и я чуствую себя в окружении жаркой пустоты над синим небом, в сухом зное степного солнца. Там, на юге, где колышется над пустою землей серебряная кисея марева, верст за пять от меня, лениво течет речка Чангул, по берегу ее стройно вытянулись белые хаты валахов, версты на две ниже их, у крутого изгиба реки приютилась мельница, какая бывает только в сказках.

Я прожил на этой мельнице несколько часов, меня выгнали оттуда, и уже четвертые сутки я кружусь около нее, вспоминая пережитое, как скупец вспоминает о кошеле золота, отнятом у него.

Я наткнулся на эту мельницу неожиданно, поздно вечером; — уже солнце опустилось за край степи, и с востока быстро шла душная ночь юга, но в темной воде Чангула еще отражался пожар вечерней зари, камышевая крыша мельницы блестела, как парча, в степь, навстречу мне, сердито смотрели красные глаза двух окон.

С восхода солнца по закат я прошел «Диким полем» верст сорок и не видел ничего живого, кроме бесчисленных сусликов, стаи голенастых дрохв, убежавших от меня, да белого луня, который обедал, сидя на камне, высунувшемся из земли, расклевывая головку суслика.

Целый день в небе — солнце, а на земле — только я; под раскаленным почти добела куполом небес — необоримая тишина пустоты; запоешь песню, звуки ее испаряются, как роса, а эха — нет.

Пустота, обладая способностью высасывать из человека мысли и чувства, делает его подобным себе; — несомненно, что именно это ее свойство всегда привлекало и привлекает людей, стремившихся опустошить свое сердце, свой разум, — достигнуть святости путем убийства своей души.

Я тоже был глуп, как пустынник, и голоден, как зимний волк, когда увидал мельницу, ласково раскрашенную вечерней зарей: красиво приподнятую над лиловатой водою реки на трех больших камнях. Она не работала, заснув в духоте вечера, но был слышен тонкий звон падения тяжелых капель и, точно сказку рассказывая, тепло журчала под колесом вода Чангула.

Две овчарки молча выкатились со двора под ноги мне; высокий, сутулый человек чесал спину о верею, равнодушно поглядывая, как я отбиваюсь палкой от собак, похожих на медведей; я крикнул, чтоб он отозвал их, — человек сунул в рот два пальца и пронзительно засвистал.

Собаки подбежали к нему, встряхивая побитыми башками, он строго спросил меня:

— Зачем бьете?

— А если б они разорвали меня?

— Н-ну . . . великое горе!

— Вы — хозяин?

— Зачем? Я — работник.

— Ночевать у вас можно?

— Хорошему человеку — можно.

У меня имелись некоторые основания считать себя хорошим человеком, — я был беден, не глуп и умел работать.

Я снял с плеч котомку, но человек строго предупредил меня:

— Погоди, спрошу . . .

И ушел, оставив меня при собаках, а они снова начали угрожающе рычать, оскаливая волчьи зубы, захлебываясь жирной злобой. Им вторил угрюмый звук струн кобзы, за углом мельницы глухой голос бормотал что-то на неведомом языке. Хотелось взглянуть за угол, но собаки не позволяли.

Красноватая вода реки, густая, точно кровь, медленно текла

в темном теле степи; за рекою, точно ожившая земля, двигалась отара овец, заря окрасила их шерсть в рыжий цвет. Над ними верхом на конях качались две черных фигуры.

Кричали чабаны, один — суровым басом, другой — певуче и звонко, как женщина. Далеко в степи, в синем сумраке ночи, крепко обнявшей пустую землю, цвел красным цветом злато-кудрый огонь. Тихий шум множества копыт, усталое блеяние, звериный крик чабанов, и все вокруг, — вызывало такое впечатление, как-будто я зашел куда-то глубоко в прошлое жизни, к истокам древних сказок.

Душное молчание скудной пустыни втекало в сердце песней без слов, а за углом все скрипели, неприятно и непрерывно, эти сухие струны, безуспешно споря с тишиной. Звук странный, точно кто-то нехотя разрывал шелк разной плотности.

Старая мельница, обожженная солнцем, омытая многими дождями, напоминала пряничный домик сказки, из темной ямы открытого окна вытекал запах горячего хлеба, возбуждая голод.

Со двора вышла маленькая старушка, с лицом в кулачок, в странном наряде, посмотрела на меня, приложив ко лбу ладонь, и шопотом сказала, дважды кивнув головою:

— Мошно, мошно . . .

Собаки подошли к ней покорно, как и следовало; человек стоя рядом с нею, служебно изогнулся, она что-то говорила ему по-валашски, гладя рукою мохнатые морды собак. Глаза у нее без белков, темные, как вишни, дряблые щеки опали вниз, маленький нос загнулся клювом, — все в порядке, настоящая Баба-Яга.

— Тако, — сказала она, уходя за угол мельницы, а собаки, как привязанные невидимою цепью, пошли рядом с нею, потираясь боками о ноги ее.

— Гэх, гэх, — ворчала она, отталкивая их.

Работник, позевнув, спросил:

— Есть хочешь?

И крикнул во двор:

— Ганна, дай хлеба, молока . . .

Со двора ответили сердито:

— Сам достань, я легла . . .

— Ну, ну . . .

— Кому это?

— Прохожий.
— Черти его принесли! . .
— Жена? — спросил я.
— А как же?
Работник, не торопясь, вынул из кармана трубку, кисет, опустился на скамью у крыльца.
— Садись. Издалека?
— Из России. А вы — русский?
— Не, я черниговский . . .
— Давно здесь?
— Пятое лето.
— Скучно?
— А что же?
— Хозяева — царане?
— Ну, да!
— Богатые?
Человек раскурил трубку, сплюнул, поглядел на огонь ее и, прижав его пальцем, тоже спросил:
— Обокрасть хочешь? . .
Южная ночь плотно покрыла землю теплой, черной шапкой, в траурном небе вспыхнули синие звезды, и серебряным маревом наметился звездный путь.
Тугая тишина вдруг лопнула, и словно из какой-то светлой щели брызнул и потек ручей густых звуков — струны кобзы согласно запели странную мелодию, потом все звуки слились в одну низкую, тоскливую ноту, и прежде, чем она иссякла, к ней приник, обнял ее сочный женский голос, — внятно и напряженно он пропел незнакомые слова:
— Оэ, Мара, рэабулэ Мара — а . . .
Инструмент повторил мелодию слов с настойчивой точностью, женщина снова запела, и вновь голос ее подхватили струны и опять слились в одну ноту, бесконечную, как степная дорога.
Так, чередуясь, женщина и кобза разносили песню по гладкому безмолвию ночи, как лунный свет по морю; было в этой песне глухое отчаяние, сжимавшее сердце, было в ней все, чем бедна и богата степная ночь.
Женщина в белом, высокая и босая, неслышно подошла ко мне, поставила на край скамьи кувшин, положила краюху хлеба,

спросила меня о чем-то и, тихонько засмеявшись, бесшумно ушла за ворота.

— Ешь, — сказал работник.

— Кто это поет?

— Хозяйка.

— Молодая?

— Ну, да. А как же? Внука...

Он постучал трубкой о ноготь, наступил ногою на искры, высыпавшиеся под ноги мне, и спросил:

— Знатно играет?

— Да.

— Она — не в своем уме. Убитый человек.

Наскоро выпив молока, я сунул хлеб за пазуху, предлагая:

— Пойдем за ворота!

— Не-е...

— Пожалуйста!

Я долго упрашивал его, а он все посмеивался отрицательно кивая головою, но, наконец, согласился нехотя:

— Ну, что ж...

За углом, к стене хаты прислонился невысокий шалаш, покрытый камышем и заплетенный с двух сторон камышевым же плетнем, а третья сторона была открыта на реку и в степь. Посреди шалаша, в маленькой тележке сидела пестро одетая женщина; было видно белое пятно ее лица, ленты на груди и голове, густые брови под шапкой встрепанных волос. На коленях у нее лежал инструмент, формой похожий на кобзу, а больше — на отрубленную голову с тонкой шеей. Над его верхней декой, на месте голосника возвышался деревянный круг, до половины углубленный в кузов, над кругом было натянуто шесть тонких струн, а две басовых касались его с боков. В боку овального кузова торчала ручка, над черным грифом, на полоске поверх его помещались лады; вращая одною рукою ручку, женщина прижимала лады пальцами другой, и струны, касаясь вращавшегося круга, давали звук кларнета, гнусавый, неяркий.

Женщина сидела неподвижно, напряженно, прямо, глаза ее были закрыты, кварта, прижатая к кругу, трепетно дрожала, рождая длительный, не громкий стон; женщина, крепко сжав губы, вторила ему носовым звуком. Это было некрасиво, раздражало.

Передние колеса тележки игрушечно малы, а задние значительно выше, — тележка похожа на кресло. Женщина была окутана пестрыми тряпками, полосатое одеяло, прикрывая ее ноги, спускалось концами на землю, за спиной ее тугая красная подушка.

Маленькая, темная фигурка старухи сидела у передних колес на бочке, перерезанной поперек, сидела, поставив локти на острые колени свои, подпирая детскую головку темными ладонями и, точно ожидая кого-то, смотрела в степь. У ног ее лежали собаки. Сзади тележки стояла, пригорюнясь, большая белая Ганна.

Когда я вошел под крышу шалаша, старуха, отняв от лица левую руку, погрозила мне пальцем.

— Стань тут, — сказал работник, толкнув меня плечом к стене хаты.

Я присел на корточки, он прислонился к стене рядом со мною и заворчал, почесывая грудь:

— Эта — на всю ночь. Как месяц полный, так она уж не спит, не пьет, не ест . . .

Женщина в тележке покачнулась, точно кто-то толкнул ее, открыла глаза и, прищурясь, уставила их на меня. Потом она тихонько засмеялась и, сказав несколько слов по-валашски, резко повернула ручку инструмента.

— Ой, матоньки, — вздохнула Ганна.

Старуха забеспокоилась, быстро заговорила с работником помахивая рукою, он дважды кратко ответил ей, затем строго сказал мне:

— Недовольна, что ты пришел, не уважают они русских, боятся так я сказал, — татарин ты . . .

В синей пустоте степи, влево от красной полосы зари, все еще не догоревшей, тяжело поднималась над землей большая, точно колесо, тускло-медная луна. Стрекотали кузнечики, храпела собака; в черной воде Чангула сверкали золотые иглы звезд. Издали донеслось десять ударов чугунного била.

— Врет, — сказал работник глядя на луну. — Нет еще десяти... Спать хочет и врет . . .

Женщина смотрела в мою сторону, не мигая, точно ослепшая, и вдруг очень громко, так, что все вздрогнули, проговорила что-то, указав на меня рукой:

— Выгоняет?

— Подойди к ней, — приказал работник, толкнув меня коленом в плечо.

Я подошел; все так же, не мигнув, она ощупала лицо мое большими темными глазами без блеска и выражения, точно у старухи. У нее лицо было сборное, из разных кусков, странно не связанных между собою: рот — маленький, по-детски пухлый, а брови — густые, точно усы, горбатый сухой нос и нежный крупный подбородок. Волнистые непричесанные волосы тяжелой шапкой спускались на затылок, натягивая кожу высокого лба. Ей можно было дать лет тридцать, но закрыв глаза, она становилась моложе.

Смотрела она на меня, точно сквозь сон, и все время ее маленькие, не рабочие руку гладили гриф и кузов кобзы, а на левой щеке, около уха, судорожно сокращался какой-то мускул, дергая ноздрю.

Когда она, отпустив глаза, тихонько сказала что-то, работник дернул меня за рукав:

— Сиди, можно . . .

Женщина поправила инструмент и вдруг, низким голосом, очень грустно запела, качая головою, медленно подыгрывая. Мелодия песни была неуловима, как полет ласточки; она так же нервно и слепо металась в тишине, неожиданно опускаясь до тихого стона и тотчас взлетая высоко, звонким криком отчаяния, испуга или страсти. Струны, напоминая звуками своими волынку и кларнет, вторили песне внушительно и громко, точно уговаривая страдающего человека, обнимая жалобы его спокойным потоком иной печали. Иногда казалось, что они передразнивают печаль песни.

Это было некрасиво и чуждо мне, но все-таки властно хватало за сердце, возбуждая желание убежать в степь . . .

Я не заметил, когда ушла Ганна, и как муж ее, растянувшись на земле, уснул; старушка покачивалась сухой былинкой, ворчали во сне собаки, а незнакомые, мягкие слова все еще звучали, догоняя друг друга, и казалось, конца не будет им.

За рекою, берегом, у самой реки, кто-то шел; вот он закрыл своей черной головою низко висевшую луну; на воду реки, — на медный отсвет луны, — легла его тень; он остановился на секунду, тоже ответно запел и вдруг исчез.

Женщина перестала играть, точно у нее сразу отнялись руки, и завопила диким голосом кликуши, нагибаясь вперед, вытягивая шею. И старуха, вскочив, закричала плачущим голосом, обнимая больную, ловя ее руки, летавшие в воздух; зарычали собаки нюхая воздух. Проснулся работник, побежал в угол шалаша, принес оттуда ведро воды, ковш и крикнул:

— Ганна, куда тебя черти . . .

Он оглушительно свистнул, и вдруг суета, печаль и крик — все прекратилось, убитое свистом; женщина тихонько плакала или смеялась, закрыв лицо руками, старушка, оправляя ее кофту, ленты и волосы, бормотала точно молясь, работник сказал мне:

— Ничего, спи, знай . . .

Мне показалось, что я давно уже заснул и вижу странный, беспокойный сон . . .

— Вот так — всегда, — тихонько говорил работник, усаживаясь на землю, — услышит голос и забьется, завопит, видно, мерещится ей, будто он зовет . . .

— Кто?

— Жених.

— А где он?

— Помер. Убили.

Старуха торопливо сказала что-то, — он почесал небритую скулу.

— Говорит, — не уходи! Видно — боится тебя. Зря ты здесь . .

Подумав, он сказал, кивнув головой в угол шалаша:

— Ступай, ложись там, на глазах у меня будешь. Ходите вы, эдакие, вон, не прикаянно . . . кто вас гонит?

Он вышел из шалаша, тотчас вернулся с толстой палкой в руках, лег рядом со мною, а палку положил под ноги себе так, что я в любую секунду мог схватить ее.

Женщина всхлипывала, точно обиженный ребенок, старуха все бормотала незнакомые слова. Синие воды ночи заливали степь, черная фигура старухи шевелилась в темном сумраке, точно большая рыба на дне морском.

— Что же здесь случилось? — спросил я.

— Не здесь, а верстах в двадцати . . . — неохотно поправил меня работник.

— Ехали они с ярмарки, она с женихом, — да запоздали. А тут — шахтеры кругом. Его «забили», а над нею — снасильни-

чали и хребет сломали ей, — ноги-то ее вовсе отнялись из-за этого. Убитый человек . . .

Набивая трубку табаком, он рассказывал о насилии и убийстве так просто, как говорят о воровстве арбузов с бахчи.

Огонек спички осветил на секунду круглое лицо в серой щетине, сонные тупо-задумавшиеся глазки, утиный нос.

— Боятся они теперь, особо — русских, как мыши кошек. Богатым боязно жить. Да и этот, который шахтеров на убийство подкупил, тоже русский. Он сам хотел жениться на ней, ну, вот, и придумал. Человек суровый. Засудили его в Сибирь, а с ним еще двух. Старуха все ждет, — сбежит он из Сибири, и прирежет их. Продает мельницу-то, хотит за Дунай к себе ехать в румыны....

Было неприятно слушать его полусонные слова. Струны кобзы снова запели, к ним короткими восклицаниями присоединялся голос женщины.

— О чем она поет?

— Разное. До этого случая она сама складывала песни. Тут ее все царане почитали. Да и теперь . . . Хоша есть сукины сыны, — как давешний, — придут на тот бок реки и затянут, заведут ее любимые, ну, а она — не терпит этого, ей все мерещится, что жених зовет. И сейчас — закликает, затрепыхается. А им — забава. Дразнят, значит . . .

— Вы понимаете ее песни?

Он усмехнулся.

— А что ж! Я всякую песню по сотне раз слыхал. Известно, — девица, ну, и — поет о своем. Без ума живет, а свое помнит . . .

Нужно было долго просить его, чтобы он перевел слова песни, он согласился на это только тогда, когда я обещал подарить ему рубаху.

— Ну, вот, — начал он, прихмурив брови и вслушиваясь в тихое течение печальной мелодии, — ну, поет она так:

— Боже мой, Боже! страшная дорога ночью в степи, а я — сирота, как луна в небе. Будь что будет, устала я ждать счастья, Боже мой, Господи! . . . Сожгут луну зарницы, а меня тоска сожжет. Боже мой, — лукавая девица я! Буду счастливой, посею цветы на твоей земле . . .

Он, видимо, увлекался: вынул трубку изо-рта, вытянул шею и напряженно мигал, вслушиваясь . . .

— Кто скачет на белом коне, — не за мною ли счастье мое?

Над степью — луна, как золотой леток, в синем небе тихонько кружатся звезды, золотые пчелы, гудят струны, вздыхает негромкий, мягкий голос, и слова работника сами собою слагаются в странные стихи:

Темная дорога ночью среди степи, —
— Боже мой, о, Боже! — так страшна!
Я одна на свете, сиротой росла я,
Степь и солнце знают — я одна!

Красные зарницы жгут ночное небо, —
Страшно в синем небе маленькой луне!
Господи! На счастье, иль на злое горе
Сердце мое тоже все в огне?

Больше я не в силах ждать того, что будет . . .
Боже мой, как сладко дышат травы!
О, скорей бы зорю тьма ночная скрыла.
Боже, как лукавы — мысли у меня . . .

Буду я счастливой, — я цветы посею,
Много их посею, всюду, где хочу!
Боже мой, — прости мне! Я сказать не смею
То, на что надеюсь . . . нет, я промолчу . . .

Крепко знойным телом я к земле приникла,
Не видна и звездам в жаркой тьме ночной.
Кто там степью скачет на коне на белом?
Боже мой, о, Боже! Это — он, за мной?

Что ему скажу я, чем ему отвечу,
Если остановит он белого коня?
Господи, дай силу для приветной речи,
Ласковому слову научи меня!

Он промчался мимо встречу злым зарницам.
Боже мой, о, Боже! Почему?
Господи, пошли скорее серафима
Белой, вещей птицей вслед ему!

Антон заснул, открыв мохнатый рот. Ночная птица, козодой, металась в застывшей тишине над бесплодной степью, над черной сталью реки; посвистывали мягкие крылья, точно шелк, когда его гладит ветер. Ночная тоска маяла душу, возбуждая тревогу разных желаний, — хотелось петь, говорить, идти

куда-то, прикоснуться к живому, хотя бы собаку погладить или, поймав мышь, ласково сжать в горсти ее теплое, трепетное тело.

Я не шевелился, боясь испугать старуху, — сидя у ног больной, она все тихонько покачивалась, но вдруг, согнувшись пополам, стала неподвижна, точно в ней сломалось что-то. Непрерывно гудели басовые струны, время от времени, девушка подсказывала им непонятные слова. Одиночество, неисчерпаемое, как море, обняло степь, потопило ее, в сердце росла едкая жалость к земле, ко всему, что на ней. По синей тверди небес ослепительно черкнула серебряная звезда.

Дрожащим от напряжения голосом девушка вскричала знакомые слова:

— Оэ, Мара . . .

Это ударило меня в сердце такой острой тоскою, что я вскочил на ноги, подошел к больной и встал рядом, заглядывая в лицо ее. Она не испугалась, а только кивнула мне головою, не переставая петь; в ямах под ее бровями блестели глаза. В этом мерцающем блеске была неведомая, неиспытанная мною сила, точно магнит притягивал сердце мое, — если б степь была зрячей, она, наверное, смотрела бы на человека вот так же, — медленно, с тихой и почти сладкой болью высасывая его сердце.

Слова песни стали еще более убедительными, насытились щемящей грустью, били по душе мягкими ударами. Кружилась белая кисть правой руки, связывая меня невидимой, крепкой нитью, обессиленный, я все склонялся к плечу девушки, а когда она перестала играть, поправляя волосы, упавшие на глаза ей, я взял ее руку и поцеловал.

И это не испугало ее, — она даже улыбнулась полусонно, как-будто издали видя меня, потом брови ее низко опустились, и прямо в лицо мне она густо вздохнула:

— Оэ, Мара-а . . .

— Оо-б, — угрюмо запели струны на терцию ниже голоса.

Мучительно было слушать эту песню, а глаза девушки неотрывно смотрели в лицо мне, было в них что-то повелительное, следя за ними, я боялся мигнуть, и казалось, что в душу мою переливается темное безумие этих глаз.

Помню, мне хотелось сесть на землю у ног больной, зажмуриться и сидеть всю ночь, день, годы. Непонятная тяжесть наваливалась на меня, пригибая к земле; сердце билось медленно, сильными толчками, точно весь шероховатый шар земной вкатывался на спину мне. Покачиваясь от мягких толчков в такт песне, прижавшись плечом к плечу девушки, не отрывая глаз от ее лица, я, кажется, тоже что-то пел, говорил, а ее голос звучал все сильнее, растекаясь в ночной восприимчивой тишине. И дьявольское однообразие песни жутко сливалось в единый стон с пустотой нищей земли.

Вот и я тихо обезумел и уж навсегда останусь таким, буду ходить по земле, немой бродяга, слушать ее грустные песни, мучиться ими, не умея ответить ее стонам своей песней, не имея сил сказать свое слово.

Наконец, девушка замолчала, глубоко вздохнув; что-то горячее коснулось моей щеки: — это она гладила меня ладонью по лицу, как слепая.

Я покорно подчинялся ее ласке; чудилось, что больная что-то вспоминает, хотелось, чтоб она вспомнила, и я ждал, что вот еще немного — к ней вернется разум.

Тележка заскрипела, подвинулась назад; тотчас вскочила на ноги старуха, крикнула и метнулась ко мне, взмахивая руками, точно отгоняя птицу.

Девушка засмеялась.

— Да не бойтесь вы, — сказал я старухе, она снова крикнула, и прыгая предо мной, точно курица, стала звать:

— Антонэ, Антонэ . . .

Работника разбудил я сам. Он встал на ноги, грубо сказал что-то старухе, прервав ее гневное шипение, потом спросил меня обиженно:

— Что же мне — не спать из-за тебя?

И ткнул рукой в степь, добавив:

— Ступай, уходи . . .

Я пытался угомонить его гнев, но он взял палку и, тыкая ею в землю под ноги мне, решительно лез на меня, заставляя пятиться перед ним. Очень хотелось ударить его по тупой голове, — он уже дважды и больно ткнул палкой в ступню моей ноги, заставив меня танцовать.

— Слушай, — сказал я ему, когда он вытеснил меня из

шалаша, — чорт с тобой, я уйду. Только ты расскажи — что она пела?

Сначала я просил грубо, потом униженно, как нищий, он мычал, ругался, кривил пустое лицо, стараясь сделать его грозным, но, наконец, что-то рассмешило его в моих словах и, смеясь, он сказал:

— А ты тоже сумасшедший!

Девушка снова пела тихонько.

— Оэ, Мара . . .

На темном ее лице лежали медные полоски лунного света . . .

Антон, стоя против меня грудь с грудью, об'яснял, усмехаясь:

— Пришел под окно к девице разбойник и говорит; ой, Мара, значит — Марина, — скоро я умру, полюби меня. — Больше ничего! Уходи ты, сделай милость! Не хорошо беспокоить людей. Что еще? Я же сказал; принес он ей награбленное и просит — полюби, я хоть старик . . . вот, — кричат меня! Иди . . .

Я пошел берегом реки против течения; на плотине журчала вода, рассказывая серебряную сказку, надсадно звучали струны, плыла в безмолвии ночи суровая и жалобная песня.

— Ой, Мара!
К тебе под оконце
Пришел я недаром сегодня,
Взгляни на меня, мое солнце,
Я дам тебе, радость Господня,
Монисто и талеры, Мара!
О, Мара!
Пусть красные шрамы
Лицо мое старое режут, —
Верь — старые любят упрямо
И знают, как женщину нежить,
Поверь сердцу старому, Мара!
Ой, Мара!
Ты знаешь, — быть может,
Бог дал эту ночь мне последней.
А завтра меня уничтожит, —
Так пусть отслужу я обедню
Святой красоте твоей, Мара! . .
Ой, Мара!

Двое суток бродил я по степи вокруг мельницы, — нестерпимо хотелось послушать еще раз песни девушки. Подходил близко, смотрел издали на камышевую крышу, седую от дождей, на сухое колесо и реку, подмывающую камни, — на мельнице было тихо и мертво, и днем, и по ночам.

Уходил в степь верст за десять и дальше, потом — снова возвращался, видел, как по двору шагает Антон с трубкой в зубах, а у ворот в тени лежат собаки.

Ни старуху, ни девушку я не видал больше, точно они в землю ушли.

— Оэ, Мара! . . .

Вероятно — давно уже умерла девица . . .

Весельчак.

В зеленоватую воду моря брошена, — как желтый лоскут атласа, — маленькая, песчаная отмель; перед нею — на юг — безбрежная, стеклянная гладь, сзади нее — полоса ослепительно светлой воды, дальше — низенькие медные холмы берега, на холмах убогая поросль каких-то безымянных прутьев, а еще дальше, среди горячих песков, — грязные пятна строений рыбного завода.

День такой яркий, что даже отсюда, с отмели, видно как там, за версту, на холмах, сверкает серебряными искрами рыбья чешуя.

Жарко — точно в бане; чайки, разморенные зноем, похожи на куриц; они бродят по отмели, раскрыв клювы, лениво распустив кривые крылья, и лишь изредка хрипло вскрикивают, задыхаясь. Едва слышно шумит и плещется вода, облизывая отмель низенькими, в четверть аршина волнишками.

Тихо, точно после великого несчастия, тихо и пусто.

Изнывая от жары на влажном песке, растянулся, закрыв белесые глаза, сергачьский человек Баринов, он ворчит, дремотно поучая меня:

— В думах моих я все земли прошел, все моря переплыл; в думах моих я все грехи изведал . . .

Я слушаю и не верю ему, — он человек робкий, на людях ведет себя подхалимом, а когда говорит с приказчиком завода, то у него дрожат ноги, и голос ласково взвизгивает. Он мужчина ленивый, как буйвол, неустанно рассуждающий, и чрезвычайно волосат; его плоское, курносое лицо в шерстяной маске песочного цвета, из широких, точно у верблюда, ноздрей торчат рыжие шерстинки, из ушей — тоже, голая, медная от загара грудь заросла, как у медведя, даже на суставах пальцев растут

густые кустики волос. Ноги у него кривые, портновские, руки — длинны и толсты, как ноги; ему, должно-быть, очень удобно ходить на четвереньках.

Но это очень добродушный, очень смирный зверь; когда товарищи бьют его за лень и ротозейство, он, перекатываясь боченком под ногами у них, только просит, не сердясь и не жалуясь:

— Да будя, братцы, будя! Ну, побили, ну, и ладно . . .

Его лысая голова туго повязана красным; издали кажется, что череп его лишен кожи.

— А в жизни я — пустой человек, — справедливо говорит он, не интересуясь, слушаю ли я его. — Пустой, как бубен, ударят — отвечаю, не трогают — молчу . . .

Он как-будто бредит, я тоже в полусне. Над нами очень синее небо, вокруг — зеленоватое море, как-будто и под нами небо. А мы, на атласном куске отмели, висим в бездонной пустоте, точно на самолете-ковре.

Но ковер-самолет неподвижен. И в душе тоже все неподвижно.

Версты за полторы впереди такая же отмель, как наша; ее было бы не видно в массе расплавленного, горячо сверкающего стекла, но по ней ходит темная фигура, будто плавая в воздухе. Это — наш третий товарищ, какой-то восточный человек, перс или армянин из Персии, его зовут Изет. По-русски он почти не говорит, но прекрасно понимает все, что ему приказывают, — очень удобный человек.

Нас, троих, послали с завода на отмель, чтобы снять с нее оставленные утром снасти, но Баринову и мне лень было ехать так далеко по жаре, мы залегли на ближайшую к берегу мель, а Изету приказали ехать за снастью; послушный, как смирная лошадь, он поехал.

— Мне сорок пять годов минуло, — бредит Баринов, потягиваясь, — я столько всякой всячины видал, что иному губернатору и то хватит. А спроси меня — к чему все? Так я тебе этого не скажу. Томаша одна. А ты говоришь — народ . . .

Не на чем остановиться глазу в этой сверкающей пустоте; мозг растекается в ней, точно клок белой пены на теплой воде моря. И думать не о чем.

Баринов? То, что он говорит, я уже слышал от него и от других. Все эти размышления о жизни только мертвят ее, вызывая в сердце досаду и тоску.

Если, закрыв глаза, пролежать несколько минут неподвижно, то в каждом мускуле тела, в каждой точке его, начинаешь чувствовать неприятное расширение, таяние, и как-будто погружаешься в горячую, бездонную пропасть. Так, должно-быть, чувствует себя маленький кусочек крутого теста, брошенный в котел нагретой воды.

Надув седые щеки, противно кричит старая чайка, две подруги косятся на нее злыми глазами и, тяжело расправив крылья, медленно летят в море, — их отражения влачатся по воде, как два лоскута шелка.

Там, в воздухе, над водою возится толстый, круглый Изет, подталкивая к лодке бочку.

— У нас, на селе, был писарь Колобашкин, — рассказывает Баринов сам себе, — добрый человек, хоша заливной пьяница. Так он, бывало, говорил: надобно жить всем одинаково. Порите, говорит, мужики, друг друга чаще, когда все перепоретесь и будет вам друг дружку стыдно, начнете вы дружнее жить. Надо, говорит, всем в одном жить, хоть в стыде, лишь бы единодушно. А когда всякая крупинка сама по себе — каши не сваришь. Гляди-ка, кто идет?

Он смотрит на берег, приложив ко лбу мохнатую лапу, — вдоль берега ходит, качается у самой воды какой-то человек и гасит ногами искры рыбьей чешуи.

— Броду ищет. Крикни ему, правее бы шел, там гряда . . .

Я молчу, не хочется кричать; молчит и Баринов. Становится все жарче; теплый, крепко соленый воздух тяжел и влажен, трудно дышать. На губах — соль, хочется пить, а баклажка с простой водою в лодке. В море, у самой отмели, поблескивают серебряные сельди, они кажутся отражениями бескрылых птиц, плавающих в воздухе, невольно смотришь вверх, где, в синем зное, остановилось и плавится солнце.

Человек нашел путь к нам, — песчаную гриву, намытую весенними бурями; эта грива изогнулась, как французское S, ее нижний конец — островок, на котором мы лежим. В самом низком месте воды над нею — только под-мышки.

— Не наш, — говорит Баринов.

Я верю ему, зрение у него морское.

Человек вошел в воду и медленно двигается вперед, подняв

локти, уходя все глубже с каждым шагом, смешно расталкивая воду животом.

— Персюк, — решает Баринов.

Я вижу над водой темное, бритое лицо, серые, коротко подстриженные усы, белые зубы, обнаженные улыбкой. На голове человека круглая валяная шапка, похожая на глиняный горшок, на плече у него висят синие штаны. Куртка тоже синяя, а под нею белая рубаха, раскрытая на груди. Вода становится ниже, из нее выростают медные ноги, блестя на солнце.

— Здырясты! — еще издали кричит он, многократно кивая круглой головою.

— Веселый, — заметил Баринов, улыбаясь. — Персюки — все эдакие, веселый народ, добряк. Глупые довольно, глупее ребенка. Обмануть персюка — легче всего!

Человек вышел на мель, надел штаны, сдвинул шапку на затылок, обнаружив синий бритый лоб, и пошел к нам, вскрикивая:

— Здырясты, здырясты!

Он сухой, тощий, его черное лицо сплошь исписано мелкими морщинами, среди них весело сверкают в синеватых белках золотистые зрачки, глаза большие, миндалинами. Молодой он, должно-быть, был очень красив. Гибко подогнув длинные ноги, он ловко присел на корточки, спрашивая:

— Табака иесть?

Вынул из-за пазухи пахучий кисет, черную трубку и протянул Баринову.

Тот благосклонно принял угощение и, туго набивая трубку волокнистым, влажным табаком, заговорил:

— Зачем пришла перса?

Человек посмотрел, как Баринов тискает табак большим пальцем, усмехнулся и отнял у него трубку.

— Не будит кури!

Выковырял ком табаку и, снова набив трубку, подал Баринову.

— Так будит.

— Перса работа нанялась?

— Работа, — кивнул головою гость: — Работа будит — чик!

— Я говорю — веселый, — сказал Баринов, тоже усмехаясь.

А перс посмотрел в море, где Изет возился у лодки, и, протянув туда руку, спросил:

— Это — какой?

— Ваша, в роде тебя.

— Наша, — не то согласился, не то переспросил перс.

— Изет зовут.

Перс отрицательно мотнул головой.

— Ему зовут Хасан.

— Ну, как хошь.

— Дыруг моя . . .

— Друг? Так.

Баринов усердно и неумело курил, заглатывая целые облака дыма и выпуская их длинной, синей струею. Перс, улыбаясь, смотрел на него, тихонько напевал странную песню и зачем-то сгибал и разгибал правую руку. Тишина вокруг все уплотнялась.

— Сладкий табак, а крепок, — пробормотал Баринов, глядя на меня осовелыми глазами. — Индо в голову ударило . . .

Он опрокинулся на спину и закрыл глаза.

Несколько минут перс сидел неподвижно, точно уснув, только в его прищуренных глазах светились золотые искорки. Потом он сморщился, крепко вытер лицо свое ладонями, сложив их в пригоршни, посмотрел на ладони, точно в книгу, пошевелил губами и снова вытер лицо.

И вдруг, закинув голову, выгнув кадык, он завыл негромко, но очень высоким, почти женским голосом:

— Ай, яй, яй-ай-и!

— Эк тебя прорвало, — дремотно сказал Баринов, перевернувшись спиной к солнцу, а перс, обняв колени руками, покачивался и выл, наполняя тишину тонким воплем.

Там, на отмели, Изет, стоя по колени в воде, сталкивал лодку с песка, — когда перс завыл, он взмахнул рукою и, выпрямившись, стал из-под локтя смотреть в нашу сторону.

Перс толкнул меня плечом, говоря:

— Слышаит!

И оскалив зубы, весело добавил:

— Ему будет — чик!

— Что такое чик?

— Такой, — сказал перс, закатил глаза под лоб и всхрапнул, как лошадь.

Это было смешно.

Изет постоял, посмотрел, столкнул лодку, не торопясь, влез в нее с кормы, — стало видно, как лодка закачалась на гладкой воде, неотделимой от воздуха.

А перс, прищурив глаза, снова тихонько запел воющую песнь; пел он горлом, с неожиданными повышениями до визга, странно захлебываясь звуком, капризно прерывая его ленивое течение. Эта песня еще более усугубляла знойную тоску пустого дня; ничему не мешая, ничего не будя, звуки и слова, чуждые мне, плыли, как стая мелкой рыбы. Казалось, что песня давно уже звучит в тишине, всегда звучала в ней — мелодия ее была неуловима и ускользала из памяти, не поддаваясь усилиям схватить ее. В светлой пустоте дергалась лодка, точно неуклюжая рыба с тонкими длинными плавниками; Изет едва греб, медленно опуская и поднимая весла.

— Что ты поешь, о чем? — спросил я перса, когда мне надоело слушать его вой.

Он тотчас же замолчал, оскалил зубы и охотно начал рассказывать:

— Такой веселы пэсня — тасниф, наша зовут, тасниф!

Но слов у него не хватило, он закрыл глаза, закачался и снова начал вопить:

— Ай-яй-яй-ай-и!
Минэ нады иэхать Фарсиста-ан!

Прервал пение, подмигнул мне и заговорил:

— Нады, не нады, кто знайт? Алла знайт, человечка нэт знайт! Молодой баба остался дома, другой муж взял, — не взял, — кто знайт? Скажи, добрый Джин, который моя друг, жены новый муж? Так поем тасниф. Шайтан шутит — человечка плачит . . .

Баринов пошевелился и сказал осуждающим тоном:

— У них все песни про баб, больше ничего не знают, псы . . .

А перс все говорил, весело и бойко поблескивая глазами, путая незнакомые мне слова с изломанными русскими.

— Нады иэхать Фарсистан, — не нады иэхать? Буду пить вино, буду обмануть дыруга и все люди, — такой тасниф! Дома человечка — умны, дорога — глупы!

Он засмеялся, крепко потирая руки и вдруг, потемнев, заду-

мался, замер, глядя в сверкающее зеркало моря. И я задумался, слагая его смешные слова в незатейливую песню.

Я хочу делать хорошие дела . . .
Ах, надо ехать в Фарсистан!
Скажи, мой добрый Джин,
Сколько беды и зла
Готовит мне шайтан?

У меня молодая жена . . .
Люблю ее мягкие колени!
А мне надо ехать в Фарсистан!
Скажи, добрый Джин,
С кем жена мне изменит?

У меня есть два друга, —
Скучно мне без них станет!
Мне, ведь, надо ехать в Фарсистан.
Скажи, добрый Джин, —
Который друг меня обманет?

Ах, я человек смирный,
А дорога мне не знакома . . .
Как тут ехать в Фарсистан?
Скажи, добрый Джин, —
Не умнее ли буду я дома?

А не послать ли к шайтану
Дела, друзей и жену?
Не надо ехать в Фарсистан!
Лучше я сам всех обману,
А потом — напьюсь пьяный . . .

Лодка подвинулась близко к мели, я вижу круглое, красное лицо угрюмого Изета, он сидит прямо, гребет, не сгибая спины. Перс гибко встал на ноги, пощупал рукою пазуху и легко пошел навстречу лодке.

— Ну, надо и нам садиться да ехать, — сказал Баринов, потягиваясь так, что у него захрустели сухожилия. — А то погодим, пускай дружки поговорят . . .

Изет выпрыгнул из лодки в воду и пошел на берег, изогнувшись, спрятав руки за спину, а перс вдруг присел на корточки. Тогда Изет, остановясь на секунду, поправил шапку, провел ладонью по лицу и, стряхнув с нее пот, тоже смешно подогнул колени.

— Эй, эй, дьяволы! — испуганно заорал Баринов, вскакивая на ноги и торопливо бросил мне:

— Драться хотят, негодяи! Эй, вы — нельзя! Они, ведь, ножами!

Да, в руках друзей, точно живые сельди, сверкали длинные, тонкие ножи. Присев на корточки, напоминая тетеревей на току, они переступали с ноги на ногу, подпрыгивали, а Баринов, оглядываясь, тревожно бормотал:

— Эх, палки нет — палкой бы их по башкам.

Вдруг перс быстро сунулся всем телом вперед, а Изет крякнул, размахнул руками и упал на спину.

— Куда? Зарежут! — крикнул Баринов, когда я побежал к лодке.

Стоя на коленях, перс совал левой рукою нож в песок — сунет, вытащит и, вытерев лезвие полою куртки, снова сунет.

— Что ты сделал? — спросил я.

Он ответил, оскалив зубы, гладя нож пальцами:

— Мы ему, собаку, давно искал.

По правой руке его из-под рукава стекали алые струйки крови, кровь тяжелыми каплями падала на песок и исчезала, оставляя за собою ржавые пятна.

Изет лежал на спине, спустив ноги в воду, плотно прижавшись щекою к влажному песку. Лицо у него побурело, тусклые глаза пристально смотрели на разжатый кулак откинутой руки и на нож около нее. Пальцы другой руки вцепились в песок, а толстые губы сердито надуты.

— Серсэ нашол, — сказал перс, подмигнув мне. — Чик!

Баринов осторожно, стороной, подобрался к лодке, влез в нее и закричал мне:

— Едем, чорт!

Когда я, столкнув лодку, сел на весла, он, перевалившись на корму, начал злобно орать.

— Погоди, свинья, вот мы, сейчас тебя, злодея . . .

Перс, стоя на коленях, весело кивал нам головой и вдруг звонко крикнул:

— Прочай!

Стянул с плеч куртку, рубаху и обнаружил длинную руку, красную по плечо — она так ярко загорелась на солнце, точно была выкована из металла цвета крови.

А все кругом — снова как сон. . .

Девушка и Смерть.

Сказка

I.

По деревне ехал царь с войны.
Едет — черной злобой сердце точит.
Слышит — за кустами бузины
Девушка хохочет.
Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:
— «Ты чего, — кричит он зло и грубо, —
«Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
«Одержал враг надо мной победу,
«Вся моя дружина перебита,
«В плен попала половина свиты,
«Я домой, за новой ратью еду,
«Я — твой царь, я в горе и обиде, —
«Каково мне глупый смех твой видеть».
Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:
— «Отойди, — я с милым говорю!
«Батюшка, ты, лучше, отойди».

Любишь, так уж тут не до царей, —
Некогда беседовать с царями!
Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком Божьем храме.

Царь затрясся весь от дикой злости,
Приказал своей покорной свите:
— «Ну-те-ко, в тюрьму девчонку бросьте, —
«Или, лучше, — сразу удавите!»
Исказив угодливые рожи,
Бросились к девице, словно черти,
Конюхи царевы и вельможи, —
Предали девицу в руки Смерти.

II.

Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе, —
Ведь весной любви и жизни зерна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возиться с тухлым мясом,
Истреблять в нем разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом —
Хочется пожить побесполезней.
Все, пред неизбежной с нею встречей,
Ощущают только страх нелепый, —
Надоел ей ужас человечий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной и недужной,
Делает она его умело, —
Люди же считают Смерть ненужной,
Ну, конечно, ей обидно это,
Злит ее людское наше стадо,
И озлясь сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.
Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

III.

Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.
Смерть бормочет, — жертву пожалела:

— «Ишь ты, ведь, какая молодая!
«Что ты нагрубила там царю?
«Я тебя за это уморю!»
— «Не сердись, — ответила девица, —
«За што на меня тебе сердиться?
«Целовал меня впервые милый
«Под кустом зеленой бузины, —
«До царя ли мне в ту пору было?
«Ну, а царь, на грех, бежит с войны.
«Я и говорю ему, царю,
«Отойди, мол, батюшка, отсюда!
«Хорошо, как-будто, говорю,
«А — гляди-ко, вышло-то как худо!
«Что ж?! От Смерти некуда деваться,
«Видно, я умру, не долюбя.
«Смертушка! Душой прошу тебя —
«Дай ты мне еще поцеловаться!»
Странны были Смерти речи эти, —
Смерть об этом никогда не просят!
Думает: «Чем буду жить на свете,
Если люди целоваться бросят?»
И на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
— «Ну, ступай, целуйся, да — скорее!
«Ночь — твоя, а на заре — убью!»
И на камень села, — ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастия рыдает,
Смерть ворчит: «Иди, скорей, иди же!»

IV.

Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы ее родитель, Каин,
С правнуком своим — Искариотом,
Дряхленькие оба, лезут в гору, —
Точно две змеи ползут тихонько.

— «Господи!» — угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
— «Господи!» — взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою, в облаке румяном
Возлежит Господь, — читает книгу;
Звездами написана та книга,
Млечный путь — один ее листочек.
На верху горы стоит Архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
— «Прочь идите! Вас Господь не примет!»
— «Михаиле! — жалуется Каин, —
«Знаю я — велик мой грех пред миром!
«Я родил убийцу светлой Жизни,
«Я отец проклятой, подлой Смерти!»
— «Михаиле! — говорит Иуда, —
«Знаю, что я Каина грешнее,
«Потому что предал подлой Смерти
«Светлое, как солнце, Божье сердце!»
И взывают оба они, в голос:
— «Михаиле! Пусть Господь хоть слово
«Скажет нам, хоть только пожалеет —
«Ведь прощенья мы уже не молим!»
Тихо отвечает им Архангел:
— «Трижды говорил Ему я это,
«Дважды ничего Он не сказал мне,
«В третий раз, качнув главою, молвил:
— «Знай, — доколе Смерть живое губит,
«Каину с Иудой нет прощенья.
«Пусть их тот простит, чья сила может
«Побороть навеки силу Смерти».
Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завыли, зарыдали
И, обнявшись, оба покатились
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти.
И плюют на Каина с Иудой
Синими, болотными огнями.

V.

Смерть проснулась около полудня,
Смотрит, — а девица не пришла!
Смерть бормочет сонно: «Ишь, ты, блудня!
Видно ночь-то коротка была!»
Сорвала подсолнух за плетнем,
Нюхает, любуется, как солнце
Золотит живым своим огнем
Лист осины в желтые червонцы.
И на солнце глядя, вдруг запела
Тихо и гнусаво, как умела:
— «Беспощадною рукой
Люди ближнего убьют
И хоронят. И поют:
«Со святыми упокой!»
Не пойму я ничего! —
Деспот бьет людей и гонит,
А издохнет — и его
С той же песенкой хоронят!
Честный помер или вор —
С одинаковой тоской
Распевает грустный хор:
«Со святыми упокой!»
Дурака, скота иль хама
Я убью моей рукой,
Но для всех поют упрямо:
«Со святыми упокой!»

VI.

Спела песню — начинает злиться,
Уж прошло гораздо больше суток,
А — не возвращается девица.
Это — плохо. Смерти — не до шуток.
Становясь все злее и жесточе,
Смерть обула лапти и онучи
И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идет, грозней осенней тучи.

Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней.
Как земля гола весною ранней,
Грудь ее обнажена бесстыдно,
И на коже шелковистой, ланьей,
Звезды поцелуев ярко видны.
Два соска, как звезды, красят грудь,
И — как звезды — кротко смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный путь,
На тропу синеволосой ночи.
Под глазами голубые тени,
Точно рана — губы влажно алы.
Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.
Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в ее черепе пустом.
«Ты чего же это, словно Ева,
«Спряталась от Бога за кустом?»
Точно небом — лунно-звездным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей девица смело:
— «Погоди-ко, не ругай меня!
«Не шуми, не испугай беднягу,
«Острою косою не звени!
«Я сейчас приду, в могилу лягу,
«А его — подольше сохрани!
«Виновата, не пришла я к сроку,
«Думала — до Смерти не далеко,
«Дай еще парнишку обниму:
«Больно хорошо со мной ему!
«Да и он — хорош! Ты погляди,
«Вон какие он оставил знаки
«На щеках моих и на груди,
«Вишь, цветут, как огненные маки!»
Смерть стыдясь тихонько засмеялась:
— «Да, ты, будто, с солнцем целовалась,
«Но, — ведь у меня ты не одна, —

«Тысячи я убивать должна!
«Я, ведь, честно времени служу,
«Дела — много, а уж я — стара,
«Каждою минутой дорожу,
«Собирайся, девушка, пора!»

Девушка — свое:

— «Обнимет милый,
«Ни земли, ни неба больше нет.
«И душа полна нездешней силой,
«И горит в душе нездешний свет.
«Нету больше страха пред Судьбой,
«И ни Бога, ни людей не надо!
«Как дитя — собою радость рада,
«И любовь любуется собой».

Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит — не прервать ей этой песни!
Краше солнца — нету в мире Бога,
Нет огня — огня любви чудесней!

VII.

Смерть молчит, а девушкины речи
Зависти огнем ей кости плавят,
В жар и холод властно ее мечут,
Что же сердце Смерти миру явит?

Смерть — не мать, но — женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильней;
В темном сердце Смерти есть ростки
Жалости и гнева и тоски.

Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!

— «Что ж, — сказала Смерть, — пусть будет чудо!
«Разрешаю я тебе — живи!
«Только я с тобою рядом буду,
«Вечно буду около Любви!»

С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За Любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сестрою,
И везде — на свадьбе и на тризне
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье Жизни.

Баллада о графине Эллен де Курси,

украшенная различными сентенциями, среди которых есть весьма забавные.

Известно ли Вам, о, мой друг, что в Бретани
Нет лучше — хоть камни спроси! —
Нет лучше средь Божьих созданий
Графини Эллен де Курси?

Все, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны,
Для этого нам добрым Богом
Глаза и уши даны.

Из замка она выплывает, как лебедь,
К под'емному мосту идет.
Солнце смеется в небе.
Нищий стоит у ворот.

Но если случится — излишне
Остер и зорок глаз,
Тогда это значит — Всевышний
Хочет помучить нас.

Влюбленные очи поднять не дерзая,
За ней юный паж по следам,
А также собака борзая,
Любимица доброй madame.

Мы знаем — нередко собака
Любимого друга честней,
И приятно любить собаку —
Никто не ревнует к ней!

Скажу вам, что нищий был молод и строен
И — был он слеп, как поэт.
Но — разве слепой не достоин
Внимания дамы, — нет?

Слепой завидует зрячим.
О, если б он знал, сколько мы
В душе нашей тайно прячем
Тяжелой и страшной тьмы!

Вздрогнуло сердце графини, в котором
Любовь обитала всегда.
Бретонка окинула нищего взором:
«Достоин внимания, да!»

У всех есть мысли сердца,
У льва, у тебя, у змеи.
Но — кто эти мысли знает?
И — знаешь ли ты свои?

И вот говорит она нищему: — «Слушай!
«С тобою — графиня Эллен.
«Мне жаль твою темную душу.
«Чем я облегчу ее плен?»

Когда ты почувствуешь в сердце
Избыток меда иль яда,
Отдай его ближним скорее —
Зачем тебе лишнее надо?

— «Madame!» — отвечает ей нищий покорно, —
«Моя дорогая madame!
«Все дни моей жизни черной
«За ваш поцелуй я отдам!»

О правде красивой тоскуя,
Так жадно душой ее ждешь,
Что любишь безумно, как правду,
Тобой же рожденную ложь.

«Мой маленький, ты отвернись немного» —
Сказала графиня пажу. —
«Для славы доброго Бога
«Я скромность мою не щажу!»

Как все — и женщина тоже
Игрушка в Божьих руках!
Подумаем лучше о детях,
О ласточках, о мотыльках.

Слепой обнимает стан гордой графини,
Устами прижался к устам,
Туманится взор ее синий,
Сгибается тонкий стан.

Друзья! Да здравствует счастье!
Что ж, — пусть его жизнь — только миг!
Но мудрости в счастье больше,
Чем в сотни толстых книг!

Тут гордость графини вдруг страсть одолела.
Румяней вечерней зари,
Бретонка пажу повелела:
«Этьен, о, дитя, не смотри!»

Враги наши — чорт и случай —
Всегда побеждают нас,
И так ты себя не мучай —
Греха неизбежен час!

Потом, поднимаясь с земли утомленно,
«Убей!» — приказала пажу.
И радостно мальчик влюбленный
Дал волю руке и ножу.

Кто пьет из единой чаши
Любовь и ревность вместе, —
Тот неизбежно выпьет
Красный напиток мести.

Вот, влажные губы платком отирая,
Графиня сказала Христу:
— «Тебе, повелитель рая,
Дала я мою чистоту!»

О том, куда ветер дует,
Нам честно былинка скажет,
Но то, чего женщина хочет —
Сам Бог не знает даже!

А мальчика нежно и кротко спросила:
— «Неправда ли, как я добра?
«О чем же ты плачешь, милый?
«Идем, нам домой пора!»

Любовь возникает как пламя,
И мы, сгорая в нем,
Чудесно становимся сами
Прекрасным и ярким огнем.

Он ей не ответил, он только беретом
Смахнул капли слез со щек,
Но тяжкого вздоха при этом
Этьен удержать не мог.

Мы щедро жизнь одаряем!
Ведь каждый в нее принес
Немножко веселого смеха
И полное сердце слез.

Нахмурила черные брови Бретонка
И, злые сдержав слова,
Сбросила с моста ребенка
В зеленую воду рва.

Если мы строго осудим
Всех, кто достоин кары, —
Мы счастливей не будем,
Но — опустеет мир старый!

И вновь свои гордые, синие очи
Эллен в небеса подняла.
— «Будь мне судьею, Отче,
«Будь добр, как я была!»

Мы знаем — грехи красоток
Не больше, как милые шутки.
А Бог — так добр и кроток,
А Он такой мягкий и чуткий!

Ночью графиня, позвав аббата,
Рассказала грехи свои.
И были с души ее сняты
Грехи за пятнадцать луи.

Все, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны,
Для этого нам добрым Богом
Глаза и уши даны.

Все это для мира осталось бы тайной,
Не знал бы об этом свет,
Но — в лепту попало случайно
Девять фальшивых монет.

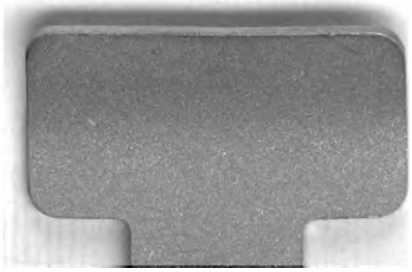
Но если бывает — излишне
Остер и зорок глаз,
Тогда это значит — Всевышний
Хочет помучить нас.

И вот, раздавая их бедным вилланам,
Монах позлословить рад —
Нескромность его и дала нам
Одну из прекрасных баллад.

Мучительны сердца скорби,
И часто помочь ему нечем, —
Тогда мы забавной шуткой
Боль сердца успешно лечим!

Оглавление.

	Стр.
Рождение человека	5
Ледоход	15
Губин	37
Нилушка	58
Кладбище	81
На пароходе	96
Женщина	116
В ущелье	145
Калинин	173
Едут	196
Покойник	200
Ералаш	214
Вечер у Шамова	227
Вечер у Панашкина	237
Вечер у Сухомяткина	247
Светло-серое с голубым	259
Книга	264
Как сложили песню	274
Птичий грех	278
Гривенник	283
Счастье	289
Герой	292
Клоун	297
Зрители	302
Тимка	313
Легкий человек	331
«Страсти-Мордасти»	345
На Чангуле	361
Весельчак	376
Девушка и Смерть. Сказка	384
Баллада о графине Эллен де Курси	392

Типография Шпамера в Лейпциге

783114